

ПАМЯТИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Ивановъ-Разумникъ

О СМЫСЛѢ ЖИЗНИ

Θ. Сологубъ, Л. Андреевъ, Л. Шестовъ



ImWerdenVerlag
München 2006

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловіе ко 2-му изданію	2
Вопросъ о смыслѣ жизни и рѣшенія его.(Вмѣсто введенія).	3
Федоръ Сологубъ.	10
Леонидъ Андреевъ	43
Левъ Шестовъ.	77
Имманентный субъективизмъ.(Вмѣсто заключенія).	119

Предисловіе ко 2-му изданію

Въ настоящемъ изданіи, кроме многочисленныхъ мелкихъ поправокъ, вставокъ и сокращеній, дополнена глава о Л. Андреевѣ. Все остальное не подверглось какимъ-либо значительнымъ измененіямъ.

Очень ценя письменное обращеніе ко мне многихъ читателей по вопросамъ, затронутымъ въ этой и другихъ моихъ книгахъ, я, къ сожаленію, не имею возможности отвечать каждому непосредственно. Въ статье «Еще о смыслѣ жизни», помещенной въ книге «Литература и общественность», читатели найдутъ, быть можетъ, ответы на некоторые вопросы, затронутые въ настоящей книге лишь мимоходомъ.

Ивановъ-Разумникъ.

Ивановъ-Разумникъ

О СМЫСЛѣ ЖИЗНИ

Ф. Сологубъ, Л. Андреевъ, Л. Шестовъ.

2-ое изданіе

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
1910.

«— И вы можете принимать эти страшные результаты *свиръпъшой имманенціи* и въ вашей душѣ ничего не возмущается?

— Могу, потому что выводы разума независимы отъ того, хочу я ихъ или нѣтъ...»

(Герценъ, «Былое и Думы», гл. XXX).

Вопросъ о смыслѣ жизни и рѣшенія его. (Вмѣсто введенія).

I.

Для чего человѣкъ живеть? Въ чемъ смыслъ существованія каждого отдельного человѣка и всего человѣчества? Есть ли вообще этотъ смыслъ, или же исторія жизни человѣка и жизни человѣчества равно безсмысленны? Всемірная исторія не есть ли только «діаволовъ водевиль», въ которомъ всѣ мы жалкія маріонетки? Можетъ ли быть объяснено — и если можетъ, то какъ — «міровое зло», возмущающее нась своей явной безсмысленностью? И являются ли такимъ объясненіемъ, а значитъ отчасти и оправданіемъ міра, тѣ теоріи прогресса, которая пользуются въ настоящее время наибольшей распространенностью? Если нѣтъ, то чѣмъ и какъ живеть еще современный человѣкъ со своей изъявленной совѣстю? Чѣмъ оправдываетъ онъ, чѣмъ онъ можетъ оправдать окружающее его «безуміе и ужасъ»? А «оправдано» должно быть все окружающее,

Міръ долженъ быть оправданъ весь,
Чтобъ можно было жить...

Однимъ словомъ — въ чемъ смыслъ, цѣль и оправданіе отдельной жизни человѣка? Въ чемъ смыслъ, цѣль и оправданіе общей жизни человѣчества, всемірной человѣческой исторіи?

Этотъ рядъ вопросовъ, старыхъ и вѣчно-юныхъ какъ міръ, неотъемлемо присущъ человѣческому сознанію. Нѣтъ и не было человѣка, который бы не рѣшилъ для себя такъ или иначе эти вопросы; и если не у каждого это рѣшеніе лежитъ въ полѣ яснаго сознанія, то за порогомъ сознанія оно лежитъ несомнѣнно у каждого. Нѣтъ и не было религіи, системы, теоріи, міровоззрѣнія, которая бы не пытались дать общебязательное рѣшеніе этихъ вопросовъ; и если такого общаго рѣшенія до сихъ поръ еще нѣтъ (и никогда не будетъ), то это показываетъ только, что такое рѣшеніе не можетъ быть сведено къ логическимъ и этическимъ нормамъ. Вопросы эти — метафизического по-

рядка, и поскольку метафизика не есть наука и невозможна, какъ наука, постольку же невозможно, къ счастью, и «научное» рѣшеніе этихъ вопросовъ. Наукъ и смежнымъ съ нею философскимъ дисциплинамъ, въ родъ теоріи познанія, здѣсь нечего дѣлать; здѣсь область философіи въ широкомъ смыслѣ, область интуитивного творчества, область совмѣстной работы Шекспира и Лейбница, Гете и Фихте, Достоевскаго и Вл. Соловьева; здѣсь область взаимодѣйствія спекулятивной мысли и художественного со-зданія, здѣсь соприкасается творческая интуиція художника и философа. И если великимъ художникомъ въ этой области можетъ считаться, напримѣръ, Фихте со своей системой этическаго пантегиазма, то геніальнымъ философомъ является и Достоевскій, создавшій Ивана Карамазова, впервые въ русской литературѣ такъ резко, ребромъ поставившаго тѣ «проклятые вопросы», которые мы повторили выше.

Не съ Карамазова, конечно, это началось и не имъ кончилось: еще за сорокъ лѣтъ до Ивана Карамазова Бѣлинскій бросалъ вызовъ «Молоху, пожирающему жизнь», и весьма непочтительно возвращалъ Егору Федоровичу (Гегелю) билетъ на право входа во вселенную гармонію, требуя отчета о каждомъ изъ братій по крови; и черезъ тридцать лѣтъ послѣ Ивана Карамазова мы имѣемъ передъ собою то рѣшеніе карамазовскихъ вопросовъ, съ которымъ мы познакомимся, изучая творчество Леонида Андреева, Федора Сологуба, Льва Шестова. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что эти три писателя могутъ сказать про себя: «всѣ мы вышли изъ Ивана Карамазова», подобно тому какъ Достоевскій въ свое время утверждалъ, что вся русская «гуманистическая» литература вышла изъ «Шинели». Иванъ Карамазовъ настолько резко и непримирамо поставилъ свои жгучіе вопросы, что рѣшеніе ихъ отнынѣ навсегда будетъ связано съ его именемъ.

Этотъ рядъ карамазовскихъ вопросовъ является той общей осью вращенія, которая проходитъ черезъ центры творчества Л. Андреева, Ф. Сологуба и Л. Шестова: вотъ та точка зреенія, къ которой мы придемъ и съ которой будемъ изучать творчество этихъ трехъ столь различныхъ и столь близкихъ другъ другу писателей. Соединеніе этихъ трехъ именъ не случайно и объясняется именно тѣмъ, что во всей современной русской литературѣ только эти три писателя поставили во главу угла своего художественного и философского творчества вопросъ о смыслѣ жизни. Конечно, вопросъ этотъ не отведенъ въ монопольное владѣніе Сологуба, Андреева и Шестова; его пытаются решать такъ или иначе разные второстепенные и третьюстепенные «таланты» нашей современной литературы; его касаются мимоходомъ и такие крупные выдающіеся таланты, какъ Валерій Брюсовъ (въ своей драмѣ «Земля» и во многихъ стихотвореніяхъ), его категорически решаетъ Мережковскій и родственная ему группа писателей. Но только три писателя, изученіе которыхъ является цѣлью настоящей книги, кладутъ этотъ вопросъ о смыслѣ жизни въ основу всего своего миропониманія, являясь въ то же самое время одними изъ наиболѣе выдающихся представителей современного русского художественно-философского творчества.

Эта точка зреенія — обоснованіе которой явится результатомъ настоящей книги — ясно показываетъ, что разборъ названныхъ писателей отнюдь не будетъ обычнаго критического характера: пусть читатель не ждетъ найти въ дальнѣйшемъ эстетическую, психологическую или соціологическую критику произведеній этихъ авторовъ; онъ найдетъ только критику философско-этическую, цѣль которой не психологическая или эстетический анализъ (это только попутное средство), но раскрытие того, что составляетъ «душу живу» каждого произведенія, определеніе «философіи» автора, «паѳоса» его творчества, говоря словами романтиковъ тридцатыхъ годовъ. Это стоить выше всякаго утилитарного или эстетического критерія и это, думается намъ, единственная цѣль, достойная критики, достойная литературы.

II.

Прежде чѣмъ перейти къ знакомству съ художественно-философскимъ творчествомъ ј. Сологуба, Л. Андреева и Л. Шестова, вернемся на минуту къ Ивану Карамазову и къ тѣмъ міровымъ вопросамъ — въ томъ числѣ и вопросу о смыслѣ жизни, — которые были имъ такъ геніально поставлены и на которые такъ безнадежно плоско отвѣчали всѣ наши «теоріи прогресса». Вѣдь всякая теорія прогресса есть въ конечномъ счетѣ отвѣтъ на вопросъ о смыслѣ жизни; съ главнѣйшими изъ этихъ отвѣтовъ намъ и слѣдуетъ прежде всего познакомиться.

Иванъ Карамазовъ пришелъ со своими міровыми вопросами въ русскую литературу и слишкомъ рано и слишкомъ поздно. Онъ опоздалъ на тридцать-сорокъ лѣтъ, такъ какъ вопросы эти были мучительно близки только сверстникамъ Бѣлинского и Герцена; послѣ нихъ, въ эпоху шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ, эти вопросы были сведены на нѣть, признаны слишкомъ простыми и легкими. Да и не до нихъ было. На первый планъ выступила общественная, практическая, созидательная и разрушительная работа; Иванъ Карамазовъ со своими запросами былъ неумѣстенъ въ эпоху судебныхъ реформъ и дарвинизма, земскихъ учрежденій и соціологии, всеобщей эмансираціи и народовольческаго террора. Но, приїдя слишкомъ поздно, Иванъ Карамазовъ пришелъ и слишкомъ рано. Кто былъ его единственнымъ слушателемъ? Алеша, этотъ сююкающій младенецъ, по ядовитой характеристицѣ Михайловскаго и Л. Шестова... Потомъ пришли восьмидесятые годы со своимъ однобокимъ эстетизмомъ и идеалами «трансцендентального чиновничества»; пришло толстовство, для котораго всѣ проклятые вопросы были уже решены безапелляціонно и безповоротно. Потомъ пришелъ марксизмъ съ разъ навсегда готовыми решениями всѣхъ вопросовъ, съ идеаломъ своего Zukunftstaat'a, стремленіе къ достиженію котораго упраздняетъ всѣ карамазовскіе вопросы... И только во второй половинѣ девяностыхъ годовъ карамазовскіе вопросы вновь воскресли, вновь нашли свой откликъ въ русской литературѣ, вновь были поставлены съ прежней страстью и силой.

Оставимъ въ сторонѣ и эстетизмъ и трансцендентальное чиновничество съ ихъ решеніемъ карамазовскихъ вопросовъ; вспомнимъ только, какъ решались и, главное, какъ ставились эти вопросы до и послѣ Ивана Карамазова той частью интеллигенціи, которая составляла большинство русскаго культурнаго общества.

Взгляды этого большинства вполнѣ опредѣляются формулой: *позитивная теорія прогресса*, и подъ эту формулу одинаково подходятъ и семидесятникъ-народникъ, и восьмидесятникъ-толстовецъ, и девятидесятникъ-марксистъ, какъ ни различны и даже ни противоположны они въ остальныхъ частяхъ своего міровоззрѣнія. Чтобы не возбуждать лишнихъ споровъ, не будемъ говорить о толстовствѣ, хотя и несомнѣнно, что толстовское «царство божіе на землѣ» является вполнѣ раціоналистическимъ построениемъ и раціоналистической теоріей прогресса; ограничимся только народничествомъ и марксизмомъ, позитивное построение теоріи прогресса которыхъ врядъ ли кто будетъ оспаривать. Сущность этой теоріи прогресса общеизвѣстна; ея основная и характернѣйшая черта заключается въ томъ, что цѣль исторического процесса признается имманентной — цѣлью этой являются грядущія человѣческія поколѣнія. Мы боимся, мы умираемъ за счастье нашихъ далекихъ потомковъ, мы страдаемъ и гибнемъ для достижения золотого вѣка на землѣ: въ этомъ отвѣтъ на всѣ карамазовскіе вопросы, въ этомъ смыслѣ, цѣль и оправданіе и отдѣльной человѣческой жизни и всемірной человѣческой исторіи. Цѣль всемірной исторіи — «la grande conception d'Humanit », говоря словами О. Конта; смыслъ всемірной исторіи — постепенное приближеніе этого Человѣчества къ идеалу, будь то толстовское Добро или марксистскій Zukunftstaat; оправданіе всемірной исторіи — грядущее счастье этого Человѣчества, хотя бы въ далекомъ будущемъ. Мы смертны — но человѣчество бессмертно; мы несчастны — но

человѣчество будетъ счастливо; мы страдаемъ и гибнемъ — но «страданія наши перейдутъ въ радость для тѣхъ, кто будетъ жить послѣ насы, счастье и миръ настанутъ на землѣ»... (Чеховъ, «Три сестры»).

Такъ отвѣчаетъ на вопросы о смыслѣ жизни позитивная теорія прогресса, такъ отвѣчала на нихъ почти вся русская интеллигенція восьмидесятыхъ и девяностыхъ годовъ, такъ отвѣтила и русская художественная литература этой эпохи въ лицѣ Чехова и Горькаго. Чеховъ искалъ спасенія отъ карамазовскихъ вопросовъ въ своей «вѣрѣ въ прогрессъ»; какъ утопающій за соломинку, онъ хватался за мысль, что «черезъ двѣсти-триста лѣтъ настанетъ новая, счастливая жизнь», что «черезъ триста-четыреста лѣтъ вся земля обратится въ цвѣтущій садъ», что «черезъ двѣсти-триста лѣтъ жизнь на землѣ будетъ невообразимо прекрасной, изумительной»... Отвѣтъ ли это на вопросы о смыслѣ жизни, мы скоро увидимъ. М. Горькій даетъ на эти вопросы такой же отвѣтъ: цѣль для него — въ будущемъ, мы живемъ для грядущихъ поколѣній, для лучшаго будущаго, для «лучшаго человѣка»... «Всякъ думаетъ, что для себя проживаетъ, ань выходитъ, что для лучшаго! По сту лѣтъ... а, можетъ, и больше для лучшаго человѣка живутъ»... («На днѣ»). И когда-нибудь этотъ сверхъ-человѣкъ, эти лучшіе люди найдутъ «гармонію между собой и міромъ», создадутъ эту гармонію въ самихъ себѣ, озарять «весь мрачный хаосъ жизни на этой изстрадавшейся землѣ» и сметуть съ нея «всю злую грязь — въ могилу прошлаго»... («Человѣкъ»). Все это является только преломленіемъ въ художественномъ творчествѣ Чехова и Горькаго той общепринятой позитивной теоріи прогресса, основныя положенія которой достигли крайней степени развитія въ марксистскомъ ученіи о государствѣ будущаго, *Zukunftstaat'e*, какъ о такой формѣ общежитія, которое установить на вѣчныя времена на землѣ миръ и въ человѣцѣхъ благоволеніе...

III.

Въ теченіе долгаго времени такой отвѣтъ на вопросы о смыслѣ жизни считался единственно возможнымъ и неопровергимымъ. Но мало-по-малу стали слышаться и единичные голоса протesta, впослѣдствіи объединившіеся въ хорѣ отщепенцевъ марксизма, въ томъ критическомъ теченіи, которое въ концѣ девяностыхъ и началѣ девяностыхъ годовъ пришло «отъ марксизма къ идеализму». Идеализмъ рѣзко возсталъ противъ позитивной теоріи прогресса, противъ «великой концепціи Человѣчества», являющагося цѣлью прогресса, противъ всей этой шигалевщины, считающей людей средствомъ для блага немногихъ избранныхъ; и надо признать, что эта борьба идеализма съ позитивной теоріей прогресса не могла не быть побѣдоносной: слишкомъ слабы были опорные пункты этой теоріи, слишкомъ много было въ ней мѣсть *minoris resistentiae*. На эти мѣста и обрушила свои удары идеалистическая критика. Одинъ примѣръ: человѣкъ смертенъ, но человѣчество бессмертно, слышали мы отъ позитивной теоріи прогресса. «...Но что же такое это человѣчество и отличается ли оно своими свойствами отъ человѣка? — слышимъ мы возраженія одного изъ представителей идеалистического теченія (въ сборникѣ «Проблемы идеализма»). — Нѣть, оно ничѣмъ отъ него не отличается, оно представляетъ просто большое неопределенное количество людей, со всѣми людскими свойствами, и такъ же мало получаетъ новыхъ качествъ въ своей природѣ, какъ куча камней или зерна по сравненію съ каждымъ отдѣльнымъ камнемъ или зерномъ. То, что позитивизмъ называетъ человѣчествомъ, есть повтореніе на неопределенномъ пространствѣ и времени и неопределенное количество разъ насы самихъ со всей нашей слабостью и ограниченностью. Имѣеть наша жизнь абсолютный смыслъ, цѣну и задачу, ее имѣеть и человѣчество; но если жизнь каждого человѣка, отдѣльно взятая, является безмыслицей, абсолютной случайностью, то такъ же безмысленны и судьбы человѣчества. Не вѣруя въ абсолютный смыслъ жизни личности

и думая найти его въ жизни цѣлаго собранія намъ подобныхъ, мы, какъ испуганныя дѣти, прячемся другъ за друга; логическую абстракцію хотимъ выдать за высшее существо....» (С. Булгаковъ, «Основныя проблемы теоріи прогресса»). Какъ бы ни относиться къ крайнему номинализму такого взгляда, но во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что возраженіе это попадаетъ въ одно изъ больныхъ мѣсть позитивной теоріи прогресса: отсылать отъ Понтія къ Пилату, отъ человѣка къ человѣчеству — значить только обнаружить свое бессиліе въ рѣшеніи вопросовъ о смыслѣ жизни.

Еще безнадежнѣе положеніе вѣрюющихъ въ позитивную теорію прогресса въ томъ случаѣ, когда они пытаются на вопросъ о цѣли человѣческой жизни или цѣли всемірной исторіи отвѣтить ссылкой на будущее: «цѣль въ будущемъ», «мы живемъ и работаемъ для блага грядущихъ поколѣній»... Сознаніе этого должно приносить намъ, якобы, высшее нравственное удовлетвореніе: вѣдь «черезъ двѣсти-триста лѣтъ» будетъ рай на землѣ, а все міровое зло будетъ сметено съ нея «въ могилу прошлаго»... Мы знаемъ, какъ настойчиво пытался загипнотизировать себя Чеховъ этой трогательной вѣрой въ то, что наши страданія перейдутъ въ радость грядущихъ поколѣній, что счастье и миръ настанутъ на землѣ; но ему никогда не удалось довести до успѣшнаго конца этотъ добросовѣтный самообманъ. Грустныя, тоскливыя ноты остались до конца доминирующими въ творчествѣ Чехова, такъ какъ никогда не могъ онъ заглушить въ себѣ протеста живой личности противъ бездушной теоріи. Счастье и миръ настанутъ на землѣ, а изъ меня лопухъ расти будетъ; ну, а дальше? — спрашивается себя каждый изъ насъ словами Базарова, спрашивалъ себя, несомнѣнно, и Чеховъ. И такъ говорить въ насъ не эгоизмъ, а тотъ глубочайшій этическій индивидуализмъ, который признаетъ въ каждой человѣческой личности — цѣль, который не можетъ удовлетвориться миромъ и счастьемъ немногихъ за счетъ страданій и гибели большинства; въ каждомъ изъ насъ протестуетъ Иванъ Карамазовъ: «не для того же я страдалъ, чтобы собой, злодѣйствами и страданіями моими унавозить кому-то будущую гармонію»...

И передъ лицомъ такого протesta стушевывается всякая вѣра въ прогрессъ, эта растянутая на сотни и тысячи лѣтъ шигалевщина, это признаніе современныхъ поколѣній только средствомъ для поколѣній грядущихъ, это оправданіе безмысленности нашего существованія осмысленностью существованія нашихъ потомковъ. «Народы представляли бы нѣчто жалкое, если бъ они свою жизнь считали только одной ступенью неизвѣстному будущему; они были бы похожи на носильщиковъ, которымъ одна тяжесть ноши и трудъ пути, а руно несомое другимъ» — это говорилъ Герценъ въ началѣ сороковыхъ годовъ. И еще: «...для кого мы работаемъ? Кто этотъ Молохъ, который, по мѣрѣ приближенія къ нему тружениковъ, вмѣсто награды, пятится назадъ и въ утѣшеніе изнуреннымъ и обреченнымъ на гибель толпамъ, которая ему кричать *morituri te salutant*, только и умѣеть отвѣтить на смѣшной, что послѣ ихъ смерти будетъ прекрасно на землѣ?»... («Съ того берега»). Герценъ ясно видѣлъ то, чего не соznавалъ Чеховъ: утѣшеніе, что «черезъ двѣсти-триста лѣтъ» на землѣ будетъ рай — не утѣшеніе, а на смѣшной; пусть черезъ двѣсти-триста лѣтъ вся злая грязь будетъ сметена съ лица земли «въ могилу прошлаго», какъ утѣшаетъ насъ М. Горькій — что же это, какъ не злая на смѣшной надъ современнымъ живымъ человѣкомъ, изнуреннымъ и обреченнымъ на гибель черезъ пять — десять — двадцать лѣтъ? И если, по крылатому выражению того же М. Горькаго, въ каретѣ прошлаго далеко не уѣдешь, то грядущія похороны мірового зла въ «могилѣ прошлаго» не являются ли попыткой утѣшить насъ «каретой будущаго»? Вѣдь и въ каретѣ будущаго далеко не уѣдешь...

IV.

Сторонники позитивной теоріи прогресса пытаются уврачевать настоящую боль картиной далекаго будущаго, иллюзіей безболѣзеннаго и мирнаго житія въ буду-

щемъ земномъ раѣ; но человѣческое сознаніе, не затемненное догматическими предпосылками, не мирится съ такимъ признаніемъ реального человѣка средствомъ для сверхъ-человѣка будущаго, что и выразилъ геніально въ русской литературѣ Иванъ Карамазовъ, а задолго до него — Герценъ. Представители идеалистического теченія конца XIX вѣка въ своей борьбѣ съ позитивной теоріей прогресса только повторяли тѣ аргументы, которые за полѣ-вѣка до того были исчерпывающимъ образомъ развиты авторомъ «Съ того берега» и позднѣе — авторомъ «Легенды о Великомъ Инквизиторѣ». Чѣмъ однако нео-идеалисты замѣнили эту еще разъ разбитую ими теорію? — Теоріей до извѣстной степени противоположной и которая можетъ быть обозначена нами какъ мистическая теория прогресса. Согласно этой теоріи, цѣль исторического процесса является трансцендентной — эта цѣль есть Богъ. Міромъ и исторіей править «абсолютный разумъ», онъ же является мощнымъ объективнымъ выражениемъ добра, т.-е. уже Добра съ прописной буквы. Зло же является имманентнымъ исторіи, что не мѣшаетъ намъ призывать «трансцендентную раціональность всего сущаго» (см. указанную выше статью С. Булгакова). Мы боремся, страдаемъ и умираемъ не за счастье будущихъ поколѣній, не для достиженія золотого вѣка на землѣ, а для достиженія нѣкоторой трансцендентной намъ великой цѣли, великаго идеала — осуществленія нѣкоего премірнаго плана Создателя міра. А потому абсолютный смыслъ и значеніе имѣеть и жизнь человѣка и жизнь человѣчества. «Что значитъ найти смыслъ исторіи? Это значитъ, прежде всего, признать, что исторія есть раскрытие и выполненіе одного творческаго и разумнаго плана, что въ историческомъ процессѣ выражена міровая провиденціальная мысль. Поэтому все, что только было и будетъ въ исторіи, необходимо для раскрытия этого плана, для цѣлей разума»... (*ibid.*). Все, что только было и будетъ въ исторіи — значитъ, и всѣ возмущавшія Бѣлинскаго жертвы условій жизни и исторіи, всѣ жертвы случайностей, суевѣрія, инквизиции, Филиппа II и проч., и проч., все это необходимыя ступени для раскрытия плана и цѣлей верховнаго Разума, являющагося въ то же время и абсолютнымъ Добромъ...

Такова эта мистическая теорія прогресса. Нельзя не прійти къ заключенію, что въ ней не меныше пунктовъ *minoris resistentiae*, чѣмъ въ уже знакомой намъ позитивной теоріи. Одинъ изъ самыхъ слабыхъ пунктовъ сразу бросается въ глаза — это какъ-разъ тотъ пунктъ, въ который бьють всѣ карамазовскіе вопросы: чѣмъ могутъ быть оправданы человѣческія страданія не съ нумenalной, а съ феномenalной точки зрѣнія? И болѣе того: какъ примирить «существованіе зла и страданія съ признаніемъ разумнаго, благого и мощнаго начала» (*ibid.*), какъ примирить Абсолютный Разумъ и Добро съ безвинной человѣческой мукой, благія божественные предначертанія съ гибеллю и страданіями людей? «Нельзя отрицать, что это едва ли не самый трудный вопросъ всего теистического міровоззрѣнія», — признается тотъ же С. Булгаковъ, типичный представитель мистической теоріи прогресса. Какъ же отвѣтить онъ на этотъ «едва ли не самый трудный вопросъ»? Слѣдуя за Вл. Соловьевымъ, онъ даетъ на этотъ вопросъ слѣдующіе три отвѣта. *Первый*: человѣку предоставлена Богомъ свобода выбора добра и зла; съ лишкомъ сто лѣтъ тому назадъ Шиллеръ заявлялъ, что «Богъ попускаетъ злу свирѣствовать въ мірѣ, чтобы не уничтожить восхитительное явленіе свободы»... Этотъ старый, изѣденный молью отвѣтъ не удовлетворилъ бы Ивана Карамазова. Свобода выбора — очень хорошо, отвѣтилъ бы Иванъ Карамазовъ, а за него отвѣчаемъ мы: но вотъ передъ нами ребенокъ, затравленный собаками звѣря-помѣщика (вы помните этотъ потрясающій разсказъ въ «Братья Карамазовыхъ»?); вотъ смерть въ мученіяхъ отъ безмысленной случайности; вотъ упалъ кирпичъ съ домового карниза — и «молодое, полное жизни, надеждъ на будущее, веселое, прекрасное, радостное существо вдругъ обращается навсегда въ негоднаго калѣку» (съ этими словами Л. Шестова мы еще встрѣтились); вотъ Шешковскій пытаетъ въ застѣнкѣ Радищева и т. д., и т. д. Гдѣ здѣсь свобода выбора добра и зла? Она есть у звѣря-помѣщика, но гдѣ она у

затравленного собаками ребенка? А вѣдь весь вопросъ именно въ этихъ неповинныхъ страданіяхъ. Возмездіе? Но гдѣ, въ чёмъ и кому возмездіе въ случаѣ съ камнемъ, изуродавшимъ человѣка? Да и никакое возмездіе не можетъ уравновѣсить предсмертной тоски разрываемаго писами ребенка... На все это намъ даютъ слѣдующій второй отвѣтъ: проблему зла невозможно индивидуализировать. Взятые въ отдѣльности, частные случаи неизбѣжнаго зла являются совершенно ирраціональными. Но и это не отвѣтъ на мучительные вопросы Ивана Карамазова, это лишь отказъ отъ отвѣта. Только въ томъ случаѣ этотъ отвѣтъ имѣлъ бы нѣкоторое значеніе, если бы предварительно уже была установлена и доказана разумность зла не въ частныхъ случаяхъ, а въ общемъ; но это какъ-разъ то, что мы подвергли выше сомнѣнію и на что сторонники мистической теоріи прогресса не дали намъ еще удовлетворительного отвѣта. Тогда мы слышимъ отъ нихъ *третій* отвѣтъ: всеблагость Бога и міровое зло примиримы лишь на почвѣ трансцендентнаго сознанія... Иными словами это значитъ, что когда мы воскреснемъ изъ мертвыхъ и узримъ воочію вселенскую гармонію, то тогда только мы поймемъ смыслъ безвинной человѣческой муки и воскликнемъ «правь Ты, Господи!..» «И самъ я, пожалуй, воскликну со всѣми, — говоритъ Иванъ Карамазовъ, — ...но я не хочу тогда восклицать... (и) отъ высшей гармоніи совершенно отказываюсь. Не стоить она слезинки хотя бы одного только... замученнаго ребенка»... Это во-первыхъ: примиреніе Ормузда и Аримана на трансцендентной почвѣ — это уже дѣло религіозной вѣры, ни для кого изъ насъ въ этомъ направленіи необязательной. Сторонники мистической теоріи прогресса религіозно вѣрятъ, что «въ мірѣ царить разумъ и потому событий абсолютно ирраціональныхъ нѣть» и что въ этомъ случаѣ религіозное сознаніе велитъ «идти противъ эмпирической очевидности, отрицать ее во имя высшаго знанія»... (слова того же С. Булгакова). Блажень, кто вѣруетъ; но мы предпочитаемъ оставаться при эмпирической очевидности и не жертвовать ею трансцендентной неочевидности. А такъ какъ вся мистическая теорія прогресса построена на почвѣ вѣры, то мы и предоставляемъ ее въ полное владѣніе вѣрующихъ, да благо имъ будетъ...

V.

Итакъ, отвѣтъ на вопросы о смыслѣ жизни въ обоихъ случаяхъ оказался мало удовлетворительнымъ, въ обоихъ случаяхъ основаннымъ на религіозной вѣрѣ: мистическая теорія прогресса требуетъ слѣпой вѣры во всеблагого Бога, позитивная теорія прогресса покоится на догматической вѣрѣ во вселаженное Человѣчество. Но кромѣ того обѣ эти теоріи недостаточно выдвигаютъ на первый планъ ту живую, страдающую человѣческую личность, отъ имени которой Иванъ Карамазовъставилъ свои гнетущіе вопросы и которая для насъ дороже всего въ мірѣ; обѣ эти теоріи построены на почвѣ универсализма и считаютъ невозможнымъ индивидуализировать поставленныя человѣческимъ сознаніемъ проблемы. Возможны однако и другіе отвѣты, возможна и другая постановка самихъ вопросовъ; и въ русской художественной и философской литературѣ послѣдняго десятилѣтія мы какъ-разъ встрѣчаемся съ тремя глубоко интересными попытками еще и еще разъ отвѣтить на неотъемлемые человѣческому сознанію этическіе запросы. Художественное творчество Ф. Сологуба и Л. Андреева и философское творчество Л. Шестова взаимно дополняютъ другъ друга въ этомъ отношеніи, тѣмъ болѣе, что художественное творчество двухъ первыхъ настолько же является философскимъ, насколько философское творчество послѣдняго является художественнымъ. И всѣ троє они стоять передъ вопросомъ о смыслѣ жизни, и всѣ троє мучительно ищутъ они отвѣта, то сближаясь другъ съ другомъ, то расходясь въ этихъ своихъ поискахъ въ разныя стороны. Мы прослѣдимъ за творчествомъ этихъ писателей, наиболѣе ярко и цѣльно переломившихъ въ своемъ художественномъ сознаніи тѣ тяжелыя проблемы, которыя мучали

и Бѣлинского, и Герцена, и Достоевского и разрѣшить которыя одинаково не смогла и позитивная и мистическая теорія прогресса.

Такъ взглянемъ мы на творчество Л. Андреева, Ф. Сологуба и Л. Шестова. Мы увидимъ, что карамазовскіе вопросы отравили ихъ душу своимъ ядомъ, что каждый изъ нихъ пытался спастись противоядіемъ, у каждого изъ нихъ различнымъ и мѣнявшимся съ течениемъ времени; мы увидимъ откуда они всѣ троє вышли и къ чему пришли или приходятъ; мы попробуемъ подвести нѣкоторый общій итогъ ихъ нравственнымъ и идеиннымъ скитаніямъ и постараемся сами прійти къ нѣкоторому опредѣленному выводу, къ одному изъ возможныхъ отвѣтовъ на вѣчные вопросы о смыслѣ жизни. Мы убѣдимся тогда въ тѣсной преемственной связи русской художественно-философской мысли всего XIX-го столѣтія, мы убѣдимся, что трагическія проблемы, мучившія Бѣлинского и Герцена и съ потрясающей силой поставленныя Достоевскимъ, вновь не отвязно стоять передъ нашимъ сознаніемъ, вновь преломляются въ художественномъ и философскомъ творчествѣ талантливѣйшихъ изъ современныхъ писателей — Льва Шестова, Федора Сологуба и Леонида Андреева. Познакомившись съ ними, мы вернемся назадъ — къ русской литературѣ минувшаго вѣка и къ рѣшенію въ ней вопроса о смыслѣ жизни; въ результатѣ всего этого читателю станетъ яснымъ нашъ отвѣтъ на поставленные выше вопросы. Отвѣтъ этотъ — скажемъ заранѣе — заключается въ одинаковомъ отрицаніи и позитивной и мистической теоріи прогресса и въ указаніи третьаго возможного пути, пути имманентнаго субъективизма. Намѣтить въ общихъ чертахъ эту систему міровоззрѣнія — такова въ конечномъ счетѣ задача и цѣль этой книги.

Все это выяснится попутно съ изученіемъ художественно-философского творчества Сологуба, Андреева, и Шестова. Къ нимъ мы теперь и переходимъ.

Федоръ Сологубъ.

I.

Остановимся прежде всего на чисто-фактическомъ перечнѣ главныхъ произведеній Ф. Сологуба, мало известныхъ въ широкой публикѣ. И это очень жаль, такъ какъ талантъ этого писателя заслуживаетъ болѣе внимательного отношенія; вплоть до «Мелкаго Бѣса» къ таланту Сологуба относились — а большинство относится и до сей поры — не такъ, какъ онъ того заслуживаетъ. А между тѣмъ сильный и своеобразный талантъ этого писателя, скрывающагося подъ псевдонимомъ «Федоръ Сологубъ», проявился уже съ самаго начала его литературной дѣятельности — съ первой книги его стиховъ, вышедшей еще въ 1895-мъ году. Годъ спустя вышла вторая книга его стиховъ, вмѣстѣ со сборникомъ его разсказовъ, подъ общимъ заглавиемъ «Тѣни»; въ 1903 г. вышелъ большой томъ его стиховъ (книги третья и четвертая, кн.—ство «Скорпіонъ»); въ 1906 и 1907 гг. вышли небольшими брошюрами книги пятая и шестая его стихотвореній; недавно вышли седьмая книга стиховъ (переводы изъ Верлена) и восьмая («Пламенныій Кругъ»).

Мы имѣемъ въ рядѣ перечисленныхъ книгъ около пятисотъ стихотвореній; за пятнадцать лѣтъ это не такъ много, но болѣе чѣмъ достаточно для того, чтобы опредѣлился «удѣльный вѣсъ» поэзіи. Въ этомъ отношеніи не можетъ быть двухъ мнѣній: Ф. Сологубъ дѣйствительно «Божію милостью поэтъ», одинъ изъ первыхъ послѣ Бальмонта и Брюсова за все послѣднее десятилѣтие. Тоскливая и болыя, но великолѣпная поэзія Ф. Сологуба займетъ въ исторіи русской литературы узкое, но

высокое мѣсто; своеобразное и нѣсколько однообразное поэтическое творчество его всегда будетъ находить звучащія ему въ униссонъ родственныя души. Но художественное творчество ї. Сологуба далеко выходитъ за предѣлы чистой лирики; повѣсти и романы ї. Сологуба замѣчательны не менѣе его стихотвореній. Надо замѣтить, что далеко не вся проза ї. Сологуба собрана въ его книгахъ; многое и чрезвычайно характерное остается разбросаннымъ по разнымъ сборникамъ и журналамъ (особенно въ «Золотомъ Рунѣ», въ «Перевалѣ», въ «Вѣсахъ»): таковы всѣ критико-философскія статьи ї. Сологуба, крайне любопытныя для выясненія его литературной физіономії. Зато его беллетристика собрана имъ почти вся. Уже въ 1896-мъ году вышелъ упомянутый выше сборникъ его разсказовъ (и стиховъ) — «Тѣни». Почти въ то же время вышелъ его романъ «Тяжелые сны», не обратившій на себя тогда ничьего вниманія, а теперь заслоненный отъ насъ вторымъ романомъ ї. Сологуба — «Мелкимъ Бѣсомъ» (1907 г.), этимъ, безспорно, лучшимъ произведеніемъ ї. Сологуба. Въ 1904-мъ году вышелъ сборникъ разсказовъ ї. Сологуба «Жало Смерти», а въ 1905 и 1906 гг. вышли его «Сказки» и «Политическія сказочки» (кн.—ства Грифъ и Шиповникъ); наконецъ, уже въ 1907 г. вышелъ сборникъ его разсказовъ «Истлѣвающія личины» и мистерія «Литургія Мнѣ», въ 1908 г. — его трагедія «Побѣда смерти» и сборникъ разсказовъ «Книга Разлуки», и въ началѣ 1909 г. — новеллы и легенды «Книга очарованій». Вотъ и всѣ семнадцать вышедшихъ до сихъ поръ брошюрокъ, книжекъ и томовъ его произведеній; и что бы ни даль намъ еще ї. Сологубъ въ будущемъ, но его прошлое уже достаточно ясно и опредѣленно: оно можетъ поэтому подлежать нашему изученію. Изученіе это покажетъ намъ, что дѣйствительно ось творчества ї. Сологуба проходитъ черезъ тѣ проклятые вопросы, которые были формулированы выше. Чтобы убѣдиться въ этомъ, намъ необходимо пройти шагъ за шагомъ по вершинамъ творчества ї. Сологуба.

II.

Уже въ первой книжкѣ стиховъ ї. Сологуба намѣчаются тѣ мотивы, которые впослѣдствіи стали преобладающими въ творчествѣ этого автора и съ которыми мы еще познакомимся; лучшимъ эпиграфомъ къ книжкѣ было бы взятое изъ нея же двустишіе:

Эти больныя томленья —
Передъ бѣдою!

И бѣда пришла «тихими стопами» въ образѣ того страха передъ жизнью, того страха жизни, который впервые проявился въ русской литературѣ у Лермонтова и достигъ апогея своего художественного развитія у Чехова. Страхъ этотъ психологически объясняется безсилиемъ, неумѣniемъ или невозможностью осмыслить жизнь, а жизнь безмысленная — страшна, страшнѣе самой смерти.

Бѣда пришла «тихими стопами». Мы находимъ сначала у ї. Сологуба легкое недоумѣніе, тихую грусть о смыслѣ жизни:

Грустно грежу, скорбь лелѣю,
Паутину жизни рву,
И дознаться не умѣю,
Для чего и чѣмъ живу...

Въ такомъ настроеніи духа поэтъ переносится «поперемѣнно отъ безнадежности къ желаньюмъ», въ поискахъ за той истиной, которая, несмотря ни на что, остается для него скрытой; самъ онъ выражаетъ это, говоря про себя:

Блуждаешь пѣсня странная,
Безумная моя.
Есть тайна несказанная,
Ее найду ли я?

Какой тайны жаждеть поэть — это мы еще увидимъ; но во всякомъ случаѣ поиски эти оставались тщетными, а больныя томленья поэта передъ бѣдою становились все болѣе и болѣе острыми. И если иногда онъ еще готовъ въ минуту примиреня оправдать свою жизнь («Благословляю, жизнь моя, твои печали»...), то отъ большинства стиховъ его первой книги все больше и больше начинаетъ вѣять холодомъ отчаянья. Смѣна явленій вѣнчанаго міра не даетъ ему отвѣта на его запросы, а приводить только къ полнѣйшей растерянности: «явленья меня обступили и взоръ мой лучи ослѣпили...» Куда уйти отъ этихъ «предметовъ предметнаго міра» (по позднѣйшему выраженію самого же Ф. Сологуба), въ чемъ найти имъ смыслъ, цѣль, оправданіе въ ихъ неразрывной связи съ внутренней жизнью человѣка? Въ жизни Ф. Сологубъ не находить отвѣта и ищетъ его въ смерти:

Мы устали преслѣдоватъ цѣли,
На работу затрачивать силы, —
Мы созрѣли
Для могилы.

Отдадимся могилѣ безъ спора,
Какъ малютки своей колыбели,
Мы истлѣнемъ въ ней скоро,
И безъ цѣли...

Иными словами: жизнь безмысленна настолько же, какъ и могильное тлѣнье; если же въ ней и есть какой-либо смыслъ, то мы бессильны его отыскать, мы устали преслѣдоватъ цѣли.

Къ такому взгляду отчаянья пришелъ Ф. Сологубъ въ первой книгѣ своихъ стиховъ — больныя томленья разрѣшились бѣдою. Весь дальнѣйшій періодъ творчества Ф. Сологуба отмѣченъ этимъ знакомъ отчаянья, сопровождаемаго страхомъ жизни, и въ то же время попытками уяснить себѣ суть жизни, смыслъ жизни: мы находимъ эти мотивы и въ томикѣ разсказовъ и стиховъ, появившемся въ 1896 году подъ заглавиемъ «Тѣни», и въ вышедшемъ годомъ позже романѣ «Тяжелые сны», и въ стихахъ послѣдующаго сборника («Собраніе стиховъ», кн. III и IV), и въ романѣ «Мелкій Бѣсь», писавшемся съ 1892 года, хотя вышедшемъ въ свѣтъ пятнадцатью годами позже... То мы слышимъ, что наша жизнь есть діаволовъ водевиль, что

Вся жизнь, весь міръ — игра безъ цѣли:
Не надо жить;

то передъ нами уже не категорическое рѣшеніе, а снова рядъ тоскливыхъ вопросовъ:

Быть, звенять ручьи,
Тучи воду пьютъ, —
Какъ же дни мои,
Для чего цвѣтутъ?

Я возникъ изъ почвы дикой,
Я расцвѣль въ недобрый часъ.

Для кого пылалъ костеръ великий,
Для чего угасъ?

И любопытно отмѣтить, что поэта одинаково не удовлетворяет ни субъективное оправданіе жизни, ни вѣра въ ея объективную цѣлесообразность. Съ одной стороны ему хочется найти общій смыслъ и въ жизни міра и въ жизни человѣка, одно субъективное оправданіе жизни его не удовлетворяет; устами Нюты Ермолиной, героини романа «Тяжелые сны», онъ грустить о томъ, что природа равнодушна къ человѣку: «...все къ намъ безучастно и не для насть: и вѣтеръ, и звѣри, и птицы, которые для чего-то развиваются всю эту страшную энергію. Ненужныя струи, покорныя вѣчнымъ законамъ, стремятся безцѣльно — и на берегахъ вѣчно-движущейся силы, бессильные, какъ дѣти, тоскуютъ люди»... Съ другой стороны ї. Сологубъ не устаетъ высмеивать вѣру въ тотъ антропоцентризмъ, который отразился и въ словахъ Нюты Ермолиной («ненужныя струи» рѣки...); онъ ядовито иллюстрируетъ эту точку зрѣнія въ своихъ прелестныхъ сказахъ и сказочкахъ. «Шель человѣкъ и плонулы трижды. Онъ ушелъ, плевки остались. И сказалъ одинъ плевокъ: — Мы здѣсь, а человѣка нѣть. И другой сказалъ: — Онъ ушелъ. И третій: — Онъ только затѣмъ и приходилъ, чтобы насть посадить здѣсь. Мы — цѣль жизни человѣка. Онъ ушелъ, а мы остались» («Три плевка»: ср. со сказкой «Путешественникъ камень»). И въ то же время у ї. Сологуба нѣть вѣры въ объективную цѣлесообразность жизни, для него «безнадежностью великой безпощадный вѣть свѣтъ»; подобно Герцену, онъ не вѣритъ въ цѣль прогресса, въ того Молоха, который «по мѣрѣ приближенія къ нему тружениковъ вмѣсто награды пятится назадъ»:

Въ путяхъ томительной печали
Стремится вѣчно родъ людской
Въ недосягаемыя дали
Къ какой-то цѣли роковой.

И создаетъ неутомимо
Судьба препрѣгады передъ нимъ,
И все далекъ отъ пилигрима
Его святой Ерусалимъ.

А между тѣмъ безъ «святого Ерусалима» ї. Сологубъ обойтись не можетъ; и вотъ почему онъ одно время, подобно Чехову, приходить къ своеобразной «вѣрѣ въ прогрессъ», утѣшаются шигалевщиной, утверждаетъ, что цѣль — въ будущемъ. Въ этой вѣрѣ онъ искалъ прибѣжища отъ того холоднаго отчаянья, которое сказалось въ первомъ сборникѣ его стиховъ и продиктовало ему лучшій разсказъ его второй книги — «Тѣни». Двѣнадцатилѣтній мальчикъ Володя увлекается дѣтской игрой — складывая разными способами руки, онъ получаетъ на освѣщенной стѣнѣ силуэты, изображающіе разныя фигуры; но забава эта скоро становится трагической. «...Не изъ однихъ же пальцевъ можно складывать тѣни, — приходитъ ему въ голову: — изъ всего можно, только надо приноровиться»... Это становится его idée fixe, а тѣни получаютъ какое-то самостоятельное, реальное значеніе... Вездѣ тѣни, повсюду тѣни. Чтобы отвлечь Володю отъ царства тѣней и царства стѣнъ, мать идетъ съ нимъ на улицу, но «...и на улицѣ были повсюду тѣни, вечернія, таинственныя, неуловимыя»... Уйти отъ нихъ, скрыться — некуда; вся наша жизнь окружена стѣнами. (Мы еще увидимъ, какъ эту же тему развиваетъ Л. Андреевъ въ разсказѣ «Стѣна» и въ другихъ своихъ произведеніяхъ). И на угрозу карцеромъ, которымъ хотятъ излѣчить его болѣзнь, Володя угрюмо отвѣчаетъ: «и тамъ есть стѣна... вездѣ стѣна»... Стѣна и тѣнь — вотъ и вся человѣческая жизнь; болѣе того — вотъ и вся жизнь человѣчества. Этой идеи не выдерживаетъ и мать Володи. «...

Она повѣряетъ свою душу, вспоминаетъ свою жизнь — и видить ея пустоту, ненужность, безцѣльность... Одно только безсмысленное мельканіе тѣней, сливающихся въ густѣющихъ сумеркахъ. «Зачѣмъ я жила? — спрашиваетъ она себя: — для сына? Но для чего? Чтобы и онъ сталъ добычею тѣней, маніакомъ съ узкимъ горизонтомъ, прикованный къ иллюзіямъ, къ безсмысленнымъ отраженіямъ на безжизненной стѣнѣ? И онъ тоже войдетъ въ жизнь и дасть жизнь ряду существованій, призрачныхъ и ненужныхъ, какъ сонъ»... И бѣжать отъ этихъ тѣней жизни и отъ этой жизни тѣней — некуда, такъ какъ «и тамъ будетъ стѣна... вездѣ стѣна»... Трагедія кончена: жизнь тѣней побѣдила тѣни жизни. «Въ Володиной комнатѣ на полу горитъ лампа. За нею у стѣны на полу сидятъ мама и Володя. Они смотрятъ на стѣну и дѣлаютъ руками странныя движения... По стѣнѣ бѣгутъ и зыбаются тѣни. Володя и мама понимаютъ ихъ. Они улыбаются грустно и говорятъ другъ другу что-то томительное и невозможное. Лица ихъ мирны и грэзы ихъ ясны — ихъ радость безнадежно печальна и дикорадостна ихъ печаль. Въ глазахъ яхъ свѣтится безуміе, блаженное безуміе»... Это — выходъ. Блаженное безуміе — это лучшее и выше жизни, состоящей изъ безсмысленного мельканія тѣней и безсмысленного отраженія ихъ на безжизненной стѣнѣ. Почти одновременно съ Ф. Сологубомъ этой же темѣ посвятилъ одинъ изъ лучшихъ своихъ разсказовъ и Чеховъ («Черный Монахъ»); апология «блаженного безумія» характерна въ устахъ людей, ищущихъ и не находящихъ смысла жизни. Жизнь, это — зловонный звѣринецъ, а мы — навѣки заключенные въ его стѣнахъ звѣри, говорить намъ поэть даже въ послѣдней книгѣ своихъ стиховъ («Пламенный Кругъ»):

Мы — плѣненные звѣри,
Голосимъ, какъ умѣемъ.
Глухо заперты двери,
Мы открыть ихъ не смѣемъ...

И если это удивительное по силѣ чувства стихотвореніе (трудно было удержаться отъ искушенія переписать его цѣликомъ) дѣйствительно рисуетъ намъ человѣческую жизнь, если міръ только зловонный звѣринецъ, а мы — заперты въ клѣткахъ звѣри, то какъ же не пожелать себѣ и всѣмъ «блаженного безумія», спасающаго насъ отъ этой звѣриной жизни? Но этотъ порожденный отчаяніемъ отвѣтъ на вопросъ о смыслѣ жизни — не выходъ, а тупикъ, тоже своего рода «стѣна»; недаромъ и Чеховъ послѣ «Чернаго Монаха» такъ настойчиво искалъ другого выхода и, какъ казалось ему, нашелъ его въ своей вѣрѣ въ земной рай черезъ двѣсти-триста лѣтъ. И Ф. Сологубъ ищетъ выхода, ищетъ свой «святой Ерусалимъ» на землѣ или на небѣ; отсюда его временная шигалевщина, его попытка утвержденія цѣли въ будущемъ.

III.

Рядъ подобныхъ мотивовъ мы находимъ во второй книгѣ стиховъ Ф. Сологуба, помѣщенной непосредственно вслѣдъ за разсказомъ «Тѣни», а также и въ III и IV кн. стиховъ. На небѣ или на землѣ ждеть этого будущаго Ф. Сологубъ, Іерусалимъ духовный или тѣлесный привлекаетъ его къ себѣ — это для насъ пока безразлично; но во всякомъ случаѣ очевидно, что не въ Zukunftstaat вѣрюетъ нашъ авторъ. Земная жизнь для него — какой-то внѣшній эпизодъ, какое-то нелѣпое недоразумѣніе; онъ покоряется ей, какъ чему-то неизбѣжному: «бытія моего не хочу, житія моего не прерву»...; жизнью занять онъ «минутно, равнодушно и попутно»... Его мечты и надежды — въ будущемъ:

И промечтаю до конца,
И мирно улыбаясь жизни,

Уйду къ невѣдомой отчизнѣ,
Въ чертоги мудраго отца...

И позднѣе онъ повторяетъ почти тѣми же словами:

Въ твоей таинственной отчизнѣ,
Въ краю святымъ,
Гдѣ ты покоился до жизни
Господнимъ сномъ,
Гдѣ умираютъ злые шумы
Земныхъ тревогъ, —
Исполнивъ творческія думы,
Почесть Богъ.
И ты взойдешь, какъ дымъ кадильный,
Въ его покой,
Оставивъ тлѣть въ землѣ могильной
Твой прахъ земной.

Это періодъ вѣры въ божественныя предначертанія, попытка увѣрить себя, что «...знаю, что въ иномъ еще живу»; это попытка увѣрить себя въ трансцендентномъ смыслѣ нашей жизни, утѣшить себя мыслью объ иллюзорности нашихъ земныхъ страданій; это — искусственное взбадриваніе себя, это — самоутѣшеніе:

...до конца пребуду терпѣливымъ:
Что было прахомъ и страданьемъ лживымъ,
Что сквозь мои томленія пройдетъ, —
Во мнѣ святынѣ вѣчной пріобщится,
И въ ликованыи нѣжно истончится,
Божественной природой оживеть.

Вѣра эта принимала у Т. Сологуба и болѣе конкретныя формы, особенно ярко выраженные въ циклѣ стихотвореній «Звѣзда Маиръ». Въ звѣздныхъ пространствахъ есть далекое солнце Маиръ, освѣщающее своими лучами землю Ойле — воть Zukunftstaat Федора Сологуба! «На Ойле далекой и прекрасной вся любовь и вся душа моя» — заявляетъ поэтъ и видить на Ойле «вѣчный міръ блаженства и покоя, вѣчный міръ свершившейся мечты»... Это «блаженный край вѣчной красоты», въ которомъ осуществлено все то, «чего намъ здѣсь недоставало, все, о чёмъ тужила грѣшная земля»... Въ этотъ Zukunftstaat современемъ прійдетъ и Т. Сологубъ:

Мой прахъ истлѣть понемногу,
Истлѣть онъ въ сырой землѣ,
А я межъ звѣздъ найду дорогу
Къ иной странѣ, къ моей Ойле.
Я все земное позабуду,
И тамъ я буду не чужой, —
Довѣрюсь я иному чуду,
Какъ обычайности земной.

Эти мотивы можно встрѣтить еще въ нѣсколькихъ стихотвореніяхъ Т. Сологуба (см., напримѣръ, «Въ мерцаныи звѣздъ нисходить на меня...» и «Звѣзды, привѣтствуйте брата!»); и они крайне любопытны для уясненія без силія этой вѣры въ будущее раскрыть смыслъ настоящаго. Конечно, блаженъ, кто вѣруетъ въ Ойле или въ Zukunftstaat; но это самоутѣшеніе не есть объясненіе смысла нашей земной жизни. Пусть мой далекій потомокъ найдетъ земной рай въ марксистскомъ Zukunftstaat'e, пусть самъ я, вмѣстѣ съ Т. Сологубомъ, найду за могилой такую Ойле, идѣже нѣсть печаль и возды-

ханіе: развѣ это отвѣтъ на карамазовскіе вопросы? Я буду блаженствовать на Ойле, но каковъ же былъ смыслъ моихъ страданій на землѣ? И что мнѣ въ томъ, что на Ойле не будетъ страдать ребенокъ, если здѣсь, на землѣ, его затравили собаками? Т. Сологубъ, какъ и всѣ другіе вѣрующіе, не отвѣчаетъ на этотъ вопросъ; иногда онъ даже рѣзко ставить его передъ собой, но отвѣтомъ ему служить молчаніе. Таково его стихотвореніе «Ангельские лики»; читатели не посѣтуютъ, если мы приведемъ его цѣликомъ.

Ангельские лики,
Свѣтлое хваленье,
Дымъ благоуханій, —
У Творца-Владыки
Вѣчное забвенье
Всѣхъ земныхъ страданій.

Ангель вопрошаетъ:
— Блѣдный отрокъ, ты откуда?
Рано дни тебѣ наскучили.
Отрокъ отвѣчаетъ:
— На землѣ мнѣ было худо.
Мать съ отцомъ меня замучили.

У Творца-Владыки
Вѣчное забвенье
Всѣхъ земныхъ страданій,
Ангельские лики,
Свѣтлое хваленье,
Дымъ благоуханій.

— Цѣлый день брали, —
Ночью руки мнѣ связали
На чердакъ свели раздѣтаго,
Долго палкой били,
Долго розгами терзали, —
Вотъ и умеръ я отъ этого.

Ангельские лики,
Свѣтлое хваленье,
Дымъ благоуханій, —
У Творца-Владыки
Вѣчное забвенье
Всѣхъ земныхъ страданій.

Здѣсь поставленъ вопросъ, но отвѣта нѣть, если не считать отвѣтомъ ссылку на вѣчное забвеніе всѣхъ земныхъ страданій. Да отвѣтъ ли это, полно? — можно спросить словами Гейне. Вѣдь дѣло вовсе не въ забвѣни, а именно въ страданіяхъ! И по сравненію съ ними все это свѣтлое хваленье, весь этотъ дымъ благоуханій, вся эта гармонія — «не стоитъ она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который билъ себя кулакомъ въ грудь и молился въ зловонной конурѣ своей неискупленными слезками своими къ «Боженкѣ»! Не стоитъ, потому что слезки остались неискупленными. Онѣ должны быть искуплены, иначе не можетъ быть и гармоніи. Но чѣмъ, чѣмъ ты искупишь ихъ? Развѣ это возможно?» (Иванъ Карамазовъ). Нѣть, это невозможно. Никакія Ойле, никакіе дымы благоуханій не искупятъ этого мгновенія безвинной человѣческой муки; слишкомъ дорого оцѣнена такая гармонія — и самъ Т. Сологубъ еще во второй книгѣ своихъ стиховъ ясно высказалъ, что это единственно возможный отвѣтъ на вопросъ. Въ одномъ изъ стихотвореній

этого второго сборника мы опять встрѣчаемъ сопоставленіе ангельскихъ ликовъ съ человѣческимъ горемъ.

Въ райскихъ обителяхъ — блескъ и сиянье:
Праведныхъ женъ и мужей одѣянье
Все въ драгоценныхъ камняхъ.
Эти алмазы и эти рубины
Скованы въ небѣ изъ дольной кручины, —
Слезы и кровь въ ихъ огняхъ.
Ангель хранитель!
Куешь ты прилежно
Слезы и кровь, —
Ахъ, отдохни ты порой безмятежно,
Царскій вѣнецъ не всегда мнѣ готовъ.
Меньше алмазовъ въ обителяхъ рая,
Ангель, повѣрь, мнѣ не стыдъ:
Бѣдную душу недоля земная
Каждою лишней слезою томить.

Здѣсь мы имѣемъ передъ собою хотя и не почтительнѣйшее возвращеніе билета Господу Богу на право входа въ міровую гармонію, но во всякомъ случаѣ уже проблески сознанія, что не по карману намъ платить за входъ въ эту гармонію, за всѣ эти алмазы и рубины человѣческихъ слезъ и человѣческой крови. Отсюда только одинъ шагъ до возвращенія къ старому признанію человѣческой жизни діаволовымъ водевилемъ, къ совершенному разрыву съ Богомъ. «...На самомъ дѣлѣ ничего нѣтъ, обманъ одинъ. Погодуй самъ, если бы все это было въ самомъ дѣлѣ, такъ развѣ люди умирали бы? Развѣ можно было бы умереть? Все здѣсь уходитъ, исчезаетъ, какъ привидѣніе», — такъ въ сологубовскомъ разсказѣ «Жало смерти» одинъ мальчикъ подговариваетъ другого къ самоубийству. Все обманъ, реальны только страданія и обиды, къ которымъ привыкнуть нельзя. «Ваня говорилъ, а Коля смотрѣлъ на него довѣрчивыми, покорными глазами. И обиды, о которыхъ говорилъ Ваня, больно мучили его, больнѣе, чѣмъ если бы это были его собственныя обиды. И не все ли равно, чьи обиды!..» Да, все равно чьи обиды: вотъ почему мы и страдаемъ мучительно и за затравленного псами ребенка, и за того «блѣднаго отрока», котораго «мать съ отцомъ замучили», и за Ваню, и за Колю; вотъ почему мы остаемся вполнѣ равнодушны къ дыму благоуханій и ангельскимъ ликамъ. ИѲ. Сологубъ самъ, наконецъ, отказывается объяснять и оправдывать человѣческую жизнь дымомъ благоуханій и божественнымъ соизволеніемъ; онъ стоитъ за спиной Вани и подсказываетъ ему свои слова отрицанія. «...Колѣ захотѣлось вдругъ возразить ему такъ, чтобы это было послѣднее и сильное слово. Вѣчно-радостное и успокоительное чувство осѣнило его. Онъ поднялъ на Ваню повеселѣлые глаза и сказалъ нѣжно-звѣнящимъ голосомъ: — А Богъ? — Ваня повернулся къ нему, усмѣхнулся, и Колѣ опять стало страшно. Прозрачные Ванины глаза зажглись недѣтскою злобою. Онъ сказалъ тихо и угрюмо: — А Бога нѣтъ. А и есть — нуженъ ты ему очень. Упадешь нечаянно въ воду, Богъ и не подумаетъ спасти. — Коля, блѣдный, слушалъ его въ ужасѣ... Бога нѣтъ. Ойле нѣтъ. Нѣтъ и не надо ничего за предѣлами человѣческой жизни, — говоритьѲ. Сологубъ устами Вани, и повторяетъ неоднократно отъ себя:

Я воскресенья не хочу,
И мнѣ совсѣмъ не надо рая, —
Не опечалюсь, умирая,
И никуда я не взлечу...

Никуда — значитъ и мечта объ Ойле перестала уже тешить поэта...

IV.

Коля и Ваня — это двѣ стороны души одного Θ. Сологуба. Борьба шуйцы съ десницей — очень это истрепанная, съ легкой руки Михайловского, фраза; однако и само явленіе, характеризуемое ею, старо, какъ человѣчество. Повторяется оно и у Θ. Сологуба. «Красивое мѣстечко», нѣжно-звенящимъ голоскомъ говорить Коля. «Что красиваго?» хмуро возражаетъ Ваня. Коля видитъ за рѣкой красивый обрывъ; въ лѣсу такъ славно пахнетъ смолой; бѣлка такъ ловко карабкается на сосну; передъ ними лежитъ такой красивый лугъ... Но вода подмоетъ, обрывъ обвалился, — слышимъ мы отвѣты Вани: — въ лѣсу пахнетъ «шкапидаромъ»; подъ кустомъ лежитъ дохлая ворона, а на лугу коровы нагадили... Коля — это тотъ Θ. Сологубъ, который самъ говорить о себѣ: «и промечтаю до конца, и мирно улыбаясь жизни уйду... въ чертоги мудраго отца»; это тотъ Θ. Сологубъ, который нѣжно-звенящимъ голосомъ мечтаетъ вслухъ о «блаженномъ краѣ вѣчной красоты», объ Ойле, освещаемой лучами Маира, объ ангельскихъ лицахъ и дымѣ благоуханій; Ваня — это тотъ Θ. Сологубъ, который самъ не знаетъ, «для чего и чѣмъ живеть», который усталъ преслѣдоватъ цѣли, который созрѣлъ для могилы и для котораго «вся жизнь, весь міръ — игра безъ цѣли: не надо жить!...» Въ Θ. Сологубѣ Коля пробуетъ иногда протестовать, старается сказать нѣжно-звенящимъ голосомъ «послѣднее и сильное слово:... — А Богъ?...» Но побѣждаетъ въ немъ всегда Ваня со своимъ негодующимъ отрицаніемъ: «А Бога нѣть. А есть — нужень ты ему очень»... И Ваня не можетъ не побѣдить, такъ какъ Коля, со своими мечтами объ Ойле, безсиленъ оправдать ту жизнь, слезы и кровь которой понятны только послѣ своего превращенія въ алмазы и рубины райскихъ обителей... Но алмазы и рубины эти — поистинѣ камни, которые намъ хотятъ подать вмѣсто хлѣба...

Ваня побѣдилъ. Это значитъ, что попытка Θ. Сологубаувѣровать въ «Святой Ерусалимъ», увидѣть цѣль и смыслъ существованія въ будущемъ или даже въ мірѣ трансцендентнаго — закончилась неудачей и возвращеніемъ къ прежнему холодному отчаянью. На этой почвѣ возникъ тотъ страхъ жизни, который окрасилъ собою почти все творчество Θ. Сологуба и сдѣлалъ послѣдняго ближайшимъ въ этомъ отношеніи преемникомъ Чехова. Въ жизни нѣть смысла, въ жизни нѣть цѣли, а значитъ жизнь страшна, какъ бы ни была она подчасъ прекрасна; жизнь страшна, потому что она заперта въ безсмысленныхъ стѣнахъ, потому что вся она — только безсмысленное мельканіе тѣней по стѣнѣ. Еще въ первой книгѣ своихъ стиховъ Θ. Сологубъ почувствовалъ этотъ страхъ жизни, прибѣжищемъ отъ котораго можетъ быть только смерть (см. его стихотворенія «Печалью безсонной», «Навѣкъ налаженъ въ рамкахъ тѣсныхъ», «Я ждалъ, что вспыхнетъ впереди» и др.); во второй книгѣ стиховъ и разсказовъ этому чувству посвящены рядъ стихотвореній и разсказъ «Къ звѣздамъ». Звѣзды для Сережи въ этомъ разсказѣ — то же, чѣмъ для Володи были тѣни: къ нимъ онъ бѣжитъ отъ тусклой, сѣрой, безсмысленной жизни, отъ тѣсныхъ стѣнъ, гдѣ онъ тоскуетъ среди удобной и дорогой мебели, гдѣ все прилично и надобливо. Ему обидна чужая боль, какъ Колѣ были больны чужія обиды («и не все ли равно, чьи обиды!»); въ сновидѣніяхъ онъ переносится въ другой чудный міръ, гдѣ летаютъ мудрыя птицы и проходятъ мудрые, невиданные на землѣ звѣри, гдѣ все такъ ясно и осмысленно; на яву его терзаетъ пошлость жизни, отъ которой ему становится страшно. Страшно все обыденное, дѣйствительность страшна, какъ страшенье тотъ домъ, въ которомъ живеть Сережа: «Сережа почувствовалъ, что страшно туда идти, страшно даже смотрѣть туда»... Выхода нѣть: есть только безуміе и смерть. Первое было удѣломъ Володи («Тѣни»), вторая избавляетъ Сережу отъ страшной обыденной жизни. И во второй книгѣ стиховъ, которая идетъ непосредственно вслѣдъ за этимъ разсказомъ, Θ. Сологубъ много разъ варьируетъ эту же тему — «какъ не нуженъ мнѣ міръ и постыль», «какъ мнѣ трудно идти»,

«какъ мнѣ страшно»...; остается ждать только смерти избавительницы и надѣяться на то, что «мы потонемъ во тьмѣ безотвѣтной»; поэту «блестящими лучами улыбается смерть», для него «есть блаженство одно: сномъ безгрезнымъ забыться навсегда — умереть»..., ибо «неизбѣжная могила не обманетъ лишь одна» (см. еще позднѣйшія стихотворенія: «Вѣсти обѣ отчизнѣ», «О, владычица смерть» и др.). Смысла же жизни нѣтъ — ни до смерти, ни послѣ смерти. «Если и до звѣздъ вознесется трепетъ моей души и въ далекихъ мірахъ зажжетъ неутоляемую жажду и восторгъ бытія — мнѣто что? (такъ спрашиваетъ у своей «смерти» герой одного изъ позднѣйшихъ сологубовскихъ разсказовъ: «Смерть по объявлению»). Истлѣвая, истлѣю здѣсь, въ страшной могилѣ, куда меня зароютъ зачѣмъ-то равнодушные люди. Что же мнѣ въ краснорѣчіи твоихъ обѣщаній, что мнѣ? что мнѣ? скажи. Сказала, улыбаясь кротко:

— Во блаженномъ успеніи вѣчный покой.

Повторилъ тихо:

— Вѣчный покой. И это — утѣшеніе?

— Утѣшаю, чѣмъ могу, — сказала она, улыбаясь все тою же неподвижною, кроткою улыбкою»...

Такъ же утѣшаетъ самъ себя, утѣшаетъ всѣхъ нась и Федоръ Сологубъ. Конечно, онъ не могъ не видѣть, что отвѣтить словомъ *смерть* на вопросы о *смыслѣ жизни* — значить не отвѣтить на нихъ совершенно; но какъ отвѣтить иначе и что дѣлать — онъ не знаетъ.

«Если бы я зналъ! — говорить онъ устами героя романа «Тяжелые сны», учителя Логина: — а то я какъ-то запутался въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ и себѣ. Свѣтота у меня нѣтъ.... Мнѣ жизнь страшна»... «А чѣмъ страшна жизнь?» — спрашиваетъ его Нюта, и слышитъ въ отвѣтъ: «мертва она слишкомъ! Не столько живемъ, сколько играемъ. Живые люди гибнутъ, а мертвцы хоронятъ своихъ мертвцевъ»... Жизнь страшна, такъ какъ нѣть свѣтота, который освѣщалъ бы ея тьму; а безъ этого свѣтота Коля не въ силахъ противостоять Ванѣ и противиться великому искушенію смерти; красота жизни блекнетъ передъ нелѣпостью жизни. И однако красота эта настолько велика, что ею иногда въ Ф. Сологубѣ Коля побѣждаетъ Ваню. Непосредственно за «Жаломъ Смерти» слѣдуетъ прелестный и нѣжный разсказъ «Землѣ земное», въ которомъ Саша и преодолѣваетъ смерть и не кончаетъ безуміемъ. Кстати замѣтить, во всѣхъ этихъ разсказахъ Ф. Сологуба главныя дѣйствующія лица — дѣти; авторъ точно намѣренно ограничиваетъ этимъ кругомъ область своего художественного творчества, подобно тому какъ Иванъ Карамазовъ этимъ же кругомъ очерчивалъ свои этические вопросы. И причина — та же самая. Нелѣпость, безсмыленность жизни, ея зло, ея ужасъ должны ярче быть видны на дѣтяхъ, которыя еще, говоря словами Карамазова, яблока не съѣли и пока ни въ чемъ не виноваты. Ни въ чемъ не виноватъ и Саша — и однако не-понятный страхъ жизни уже сдавливаетъ его сердце: «почему — онъ не зналъ, не могъ понять, и все чаще томился»... Это неосознанное чувство онъ не можетъ, онъ не умѣеть перевести въ сознаніе; отсюда его поиски «страшнаго» въ мірѣ духовномъ и тѣлесномъ. Онъ ждѣтъ страха, идя ночью на кладбище: «Саша медленно щель по дорогѣ вдоль рѣки, озирался вокругъ и ждалъ, когда будетъ страшное... Онъ ждалъ страха, да уже и хотѣлъ его, что дальше, то сильнѣе, и напрасно: страха не было»... Онъ чувствуетъ, что окружающая его реальность «страшнѣе» всякихъ призраковъ. «Нетерпѣливое ожиданіе страха усиливалось... И гдѣ же страхъ? Саша проходилъ между крестами и могилами, между кустами и деревьями. Подъ землею, онъ зналъ, лежали, истлѣвая, покойники: что ни крестъ, то внизу, подъ могильною насыпью, трупъ, зловонный, отвратительный. Но гдѣ же страхъ?.. И почувствовалъ Саша, что эта нѣмая и загадочная природа была бы для него страшнѣе замогильныхъ призраковъ, если бы въ немъ былъ страхъ»... И здѣсь за Сашей опять стоить самъ Ф. Сологубъ, съ той только разницей, что вмѣсто условнаго «если бы», онъ прямо говорить: «мнѣ страшно»...

Твоихъ нѣмыхъ угрозъ, суровая природа,
Никакъ я не пойму.
Отъ чахлой жизни жду блаженного отхода
Къ покою твоему.
И каждый день меня къ могилѣ приближаетъ,
Я каждой ночи радъ, —
Но душу робкую безсмысленно пугаетъ
Твой неподвижный взглядъ.

Здѣсь уже нѣть никакихъ «если бы», здѣсь окружающая реальность пугаетъ поэта своею безсмысленностью. И хотя надъ Сашей эти страхи бессильны, но все же «тоска томила его»... Бессиленъ надъ нимъ и страхъ физическихъ мученій, которыхъ онъ такъ настойчиво добивался; испытавъ ихъ, онъ думаетъ: «проходить боль — и уже не страшно. Нестерпимая, но проходящая, да она и вовсе не страшна»... Такъ онъ «испыталъ и тѣлесныя мученія, но и въ нихъ не было побѣждающаго страха». Нѣть ничего страшнаго, не страшна и шишига лѣсная, круглая, толстая, вся слизкая, съ головой какъ у жабы; если бы такая шишига была и Саша ее увидѣлъ, то — «чего ужасаться! Да вотъ и эта стѣна страшнѣе шишиги», отвѣчаетъ Саша. Нѣть ничего страшнаго, не страшна и смерть-освободительница, ибо все одинаково безцѣльно, безсмысленно, никчѣмно. «Саша чувствовалъ, что все умретъ, что все равно-ненужно и что такъ это и должно быть. Покорная грусть овладѣла его мыслями. Онъ думалъ: «устанешь — спать хочешь, а жить устанешь — умереть захочешь. Вотъ и ольха устанетъ стоять, да и свалится». И явственно пробуждалось въ его душевной глубинѣ то истинно-земное, чѣмъ роднило его съ прахомъ и отъ чего страхъ не имѣлъ надъ нимъ власти...» Все умретъ, все равно-ненужно; «но неужели суждено человѣку не узнать здѣсь правды? Гдѣ-то есть правда, къ чему-то идетъ все, что есть въ мірѣ»... Но правда эта, говоря словами Ивана Карамазова — не отъ міра сего: не нашелъ этой правды никто, не найдетъ ее и Саша, ибо правда эта — миражъ, обманчивая тѣнь, ея нѣть въ мірѣ. Въ этомъ сознаніи — то жало смерти, которое погубило Володю, Сережу, Колю, Ваню и еще многихъ другихъ, цѣлую серію сологубовскихъ героевъ-дѣтей; Саша первый вырвалъ это жало, преодолѣлъ искушеніе смерти. «Весь дрожа, томимый таинственнымъ страхомъ, онъ всталъ и пошелъ... къ жизни земной пошель онъ, въ путь истомный и смертный». Преодолѣвъ мечту о смерти, онъ впервые испытываетъ неизвѣстный ему раньше томительный страхъ, страхъ передъ жизнью, въ которую ему теперь приходится вступать.

Откуда однако этотъ страхъ жизни? И чѣмъ же страшна жизнь? Окружающая насъ реальность, міръ явленій, всѣ эти «предметы предметного міра» — страшны для Ф. Сологуба своей отчужденностью отъ человѣка, своимъ объективнымъ безличиемъ, безразличиемъ ко всему человѣческому. Но этотъ внѣшній міръ далеко не такъ страшенъ, какъ міръ души человѣка, жизнь людей страшнѣе всего на свѣтѣ. Ужаснѣе всего то, что не только въ окружающей нѣмой природѣ, но и въ жизни людей нельзя найти осмысленности, правды и цѣли. У смерти есть свое оправданіе — она смерть-успокоительница, переносящая насъ въ царство чистаго отрицанія, въ царство безболія, безсознанія, отсутствія зла, отсутствія неповинной муки и горя; но въ чёмъ и гдѣ оправданіе жизни, съ ея горемъ, безсмысленными страданіями и неповинной мукой? Въ одной сказочкѣ Ф. Сологуба («Плѣненная смерть») нѣкій рыцарь взялъ въ плѣнъ однажды самое смерть и собирался ее истребить: «смерть, я тебѣ голову срубить хочу, много ты зла на свѣтѣ надѣлала». Но смерть молчить себѣ. Рыцарь и говоритъ: «вотъ даю тебѣ сроку, защищайся, коли можешь. Что ты скажешь въ свое оправданіе?». А смерть отвѣчаетъ: «я-то тебѣ пока ничего не скажу, а вотъ пусть жизнь поговорить за меня». И увидѣлъ рыцарь — стоитъ возлѣ него жизнь, бабища дебелая и румяная, но

безобразная. И стала она говорить такія скверныя и нечестивыя слова, что затрепеталъ храбрый и непобѣдимый рыцарь и поспѣшилъ отворить темницу. Пошла смерть, и опять умирали люди. Умеръ въ свой срокъ и рыцарь — и никому на землѣ никогда не сказалъ онъ того, что слышалъ отъ жизни, бабищи безобразной и нечестивой». Θ. Сологубъ тоже многое слышалъ отъ дебелой и румяной бабищи жизни, тоже затрепеталъ отъ ужаса — и то, что слышалъ, рассказалъ намъ въ своемъ романѣ «Мелкій Бѣсь», въ этомъ лучшемъ своемъ произведеніи.

V.

Романъ этотъ Θ. Сологубъ писалъ съ 1892-го года, закончилъ его въ 1902 г., но только въ 1905 г. онъ впервые былъ напечатанъ, хотя и не до конца, въ журналѣ «Вопросы Жизни» и только въ 1907 г. онъ вышелъ отдѣльнымъ изданіемъ, вскорѣ повтореннымъ *).

Несмотря на недавнее его появленіе, крылатое слово «передоновщина» сразу вошло въ обиходъ русской жизни и литературы — ибо это именно то слово, которое Θ. Сологубъ услышалъ отъ безобразной и нечестивой бабищи жизни. Не надо только понимать это слово такъ узко, какъ поняли его многіе читатели и критики. Видѣть въ «Мелкомъ Бѣсь» сатиру на провинціальную жизнь, видѣть въ Передоновѣ развитіе чеховскаго человѣка въ футлярѣ — значитъ совершенно не понимать внутренняго смысла сологубовскаго романа. Это все равно, что считать Чехова только сатирикомъ провинціальныхъ нравовъ эпохи восьмидесятыхъ годовъ, этой эпохи общественнаго мѣщанства... И въ томъ и въ другомъ случаѣ въ этихъ утвержденіяхъ есть доля истины: и Чеховъ и Θ. Сологубъ выросли на почвѣ восьмидесятыхъ годовъ, они неразрывно связаны съ нею, они непонятны безъ нея. Всѣ мы, и великіе и малые люди, не съ неба сваливаемся на землю, а изъ земли растемъ къ небесамъ, по выражению Михайловскаго; на почве эпохи общественнаго мѣщанства выросли и Чеховъ и Θ. Сологубъ, и это многое объясняетъ намъ въ ихъ произведеніяхъ, если только мы не упремся лбомъ въ эту точку зрѣнія и не пожелаемъ ограничиться ею. Пора было бы, наконецъ, признать всѣмъ, что у Чехова, подобно тому какъ раньше у Лермонтова, отношеніе къ опредѣленной эпохѣ переносилось потомъ на всю жизнь въ ея цѣломъ, что отъ обличенія мѣщанства окружающей жизни они переходили къ ужасу передъ мѣщанствомъ жизни вообще. Мѣщанство самой жизни, какъ таковой — вотъ то общее, что роднитъ и Лермонтова и Чехова, что у первого было только намекомъ и что заняло всю ширь творчества второго; ближайшимъ преемникомъ Чехова является въ этомъ отношеніи Θ. Сологубъ. Не одна провинціальная жизнь какого-то захолустнаго городишкі, а вся жизнь въ ея цѣломъ есть сплошное мѣщанство, сплошная передоновщина; въ этомъ-то и состоить весь ужасъ жизни, этимъ и объясняется страхъ жизни.

Жизнь безсмысленна, безцѣльна, жизнь — сплошная передоновщина; человѣческая душа

... узка, темна и несвободна,
Какъ темный склепъ,
И тотъ, кто часъ провелъ въ ней неисходно, —
На вѣкъ ослѣпъ.

Торжествующая пошлость на все кладетъ свою печать; только одни дѣти до поры до времени свободны отъ этой передоновщины, которая однако современемъ и ихъ пожреть въ своей пасти. «Только дѣти, вѣчные, неустанные сосуды Божьей радости

*) Позволю себѣ замѣтить, что до выхода этого романа отдѣльнымъ изданіемъ, пишущимъ эти строки было отмѣчено еще въ 1906 г. (см. «Ист. русск. обществ. мысли», т. II, гл. IX), что въ романѣ этомъ мы имѣемъ типично чеховскій взглядъ на міръ и на жизнь, какъ на сплошное мѣщанство; эта же точка зрѣнія на творчество Θ. Сологуба развивается и въ настоящей работѣ.

надъ землею, были живы, и бѣжали, и играли, — но уже и на нихъ налагала косность, и какое-то безликое и незримое чудище, угнѣздясь за ихъ плечами, заглядывало порою глазами, полными угрозъ, на ихъ внезапно тупѣющія лица» («Мелкій Бѣсь», стр. 106). Мы знаемъ, что это за чудище: это — дебелая и румяная, но безобразная бабища жизнъ, столь же страшная въ своей обыденности, какъ и «румяный, равнодушно-сонный» Передоновъ, со своими «маленькими заплывшими глазами». Страшна же эта обыденность своимъ полнымъ безцѣльемъ; еще страшнѣе, когда эту безсмысленность жизни люди хотятъ побороть, вкладывая въ нее свой маленький смыслъ, ставя ей свои мизерныя цѣли. Послѣднее горше первого, такъ какъ пусть лучше жизнь будетъ совсѣмъ безцѣльна, чѣмъ цѣлью ея считать, говоря figurально, то инспекторское мѣсто, которое княгиня Волчанская якобы обѣщала Передонову. Независимо отъ намѣреній автора, это инспекторское мѣсто получаетъ въ романѣ такое символистическое и трагическое значеніе, что поистинѣ иногда становится «страшно, за человѣка страшно»...

Жизнь безцѣльна, но у Передонова есть цѣль: ему надо получить инспекторское мѣсто, которое сразу осмыслить все его существованіе... Не кажется ли вамъ, что мы уже что-то слышали объ «инспекторскомъ мѣстѣ», что мы знаемъ его подъ другими названіями? Да, совершенно справедливо: ибо что же такое это Zukunftstaat марксистовъ и эта земля Ойле самого Ф. Сологуба, какъ не то же самое «инспекторское мѣсто», охарактеризованное лишь *mit ein bischen anderen Worten?* Для объясненія настоящаго цѣль переносится въ будущее, иногда близкое («инспекторское мѣсто»), иногда далекое (Zukunftstaat «черезъ двѣсти-триста лѣтъ»), иногда бесконечное (земля Ойле); но вѣдь разница здѣсь лежитъ въ области чисто количественныхъ, а не качественныхъ отношеній. Земной рай черезъ двѣсти-триста лѣтъ настолько же бессиленъ осмыслить нашу настоящую жизнь, насколько инспекторское мѣсто не осмысливаетъ жизни Передонова; и то и другое — только самообманъ, самоублаженіе. Чеховская вѣра въ золотой вѣкъ на землѣ «черезъ двѣсти-триста лѣтъ» находить себѣ карающую Немезиду въ лицѣ Передонова. «Ты думаешьъ, — спрашиваетъ онъ барашкообразного Володина, — черезъ двѣсти или черезъ триста лѣтъ люди будутъ работать?

— А то какъ же? — отвѣчаетъ Володинъ. — Не поработаешь, такъ и хлѣбца не покушаешь. Хлѣбецъ за денежки даются, а денежки заработать надо.

— Я и не хочу хлѣбца.

— И булочки, и пирожковъ не будетъ, — хихикая, говорилъ Володинъ, — и водочки не на что купить будетъ, и наливочки сдѣлать будетъ не изъ чего.

— Нѣтъ, люди сами работать не будутъ, — сказалъ Передоновъ, — на все машины будутъ: повергнѣть ручкой, какъ аристонъ, и готово... Да и вертѣть долго скучно.

Володинъ призадумался, склонилъ голову, выпятилъ губы.

— Да, — сказалъ онъ задумчиво, — это очень хорошо будетъ. Только настѣ тогдѣ уже не будетъ.

Передоновъ посмотрѣлъ на него злобно и проворчалъ:

— Это тебя не будетъ, а я доживу.

— Дай вамъ Богъ, — весело сказалъ Володинъ, — двѣсти лѣтъ прожить, да триста на карачкахъ проползть» (*ibid.*, стр. 334 — 335).

Случайное ли это совпаденіе или намѣренная пародія на вѣру Чехова, этого мы здѣсь касаться не будемъ; достаточно указать на то, что не техническому прогрессу рѣшилъ вопросы о смыслѣ жизни. Чеховъ угѣшался тѣмъ, что хотя «я не дождусь, издохну, но зато чьи-нибудь правнуки дождутся»; онъ старался убѣдить себя, что въ этой мысли — достаточное угѣшеніе. Передоновъ надѣется самъ дожить до этого времени, прожить двѣсти-триста лѣтъ. Конечно, на то онъ и Передоновъ; но, съ другой стороны, не менѣе очевидно, что только такая сумасшедшая вѣра и могла бы придать смыслъ всѣмъ этимъ инспекторскимъ мѣстамъ и Zukunftstaat'амъ; только одна она и могла бы подвести фундаментъ подъ эту «шигалевщину во времени».

Передоновъ сходить съ ума, послѣ чего многіе читатели вздыхаютъ съ облегченiemъ: слава Богу! если Передоновъ — сумасшедшій, то, быть можетъ, и вся передоновщина есть сплошная патология. При этомъ они закрываютъ глаза на то обстоятельство, что остальныя дѣйствующія лица романа, всѣ вмѣстѣ и каждый въ отдѣльности, нисколько не менѣе страшны по своей духовной сущности, чѣмъ самъ Передоновъ. У каждого изъ нихъ есть своя цѣль, своего рода «инспекторское мѣсто», которой они тщетно пытаются осмыслить свое мѣщанское существованіе и побороть гнетущую безсмысленность жизни: глупая и грязная Варвара добивается женить на себѣ Передонова, его же и для этой же цѣли ловятъ Вершина, Марта, Рутиловы; предводитель дворянства Верига «мѣтить въ губернаторы» — все это своего рода «инспекторскія мѣста»... Да и вообще всѣ эти Володины, Преполовенскіе, Грушины, Тишковы, Кирилловы, Гудаевскіе — чѣмъ они менѣе страшны въ своей пошлости по сравненію съ Передоновымъ? А всѣ они живутъ и прозябаютъ, пребываютъ въ здравомъ умѣ и твердой памяти и до сего дня... Тѣмъ-то и страшна для Ѣ. Сологуба жизнь, что она — мѣщанство и передоновщина сама по себѣ, что такою ее дѣлаютъ люди, дѣлаетъ человѣчество, эта миллионоголовая гидра пошлости. Пугающее его мѣщанство онъ видитъ вездѣ и во всемъ. До чего фокусъ вниманія Ѣ. Сологуба направленъ на мѣщанство, можно видѣть хотя бы изъ его во многихъ отношеніяхъ любопытной статьи о «Грядущемъ Хамѣ» Д. Мережковскаго (напечатанной въ «Золотомъ Рунѣ» 1906-го г., въ № 4-мъ). Въ этой статьѣ Ѣ. Сологубъ съ одной стороны старается убѣдить читателей и себя, что онъ тоже «вѣритъ въ прогрессъ», въ будущую свободу человѣчества; а съ другой стороны онъ вполнѣ опредѣленно заявляетъ, что вся русская литература XIX вѣка была сплошнымъ мѣщанствомъ, ни болѣе, ни менѣе... «Пройти по вершинамъ этой литературы — это означаетъ осмотрѣть печальное зрѣлище великаго, созданнаго маленькими людьми. Можетъ быть, люди въ множествѣ никогда и нигдѣ не были такъ малы и такъ ничтожны, какъ въ Россіи XIX вѣка»... По мнѣнію Ѣ. Сологуба — и мнѣніе это въ высшей степени любопытно въ виду отмѣченной нами внутренней связи между Ѣ. Сологубомъ черезъ Чехова съ Лермонтовымъ — одинъ только Лермонтовъ выдѣляется изъ сѣрой, мѣщанской толпы представителей русской литературы, «русская литература только въ лицѣ Лермонтова представила чистый и обаятельный образъ доподлинно великаго поэта и воистину великаго человѣка»... Все остальное запятнано двоедушiemъ, холопствомъ, мѣщанствомъ, передоновщиной... Не правда ли, крайне любопытное мнѣніе? Любопытное, конечно, не со стороны своего объективного значенія — съ этой стороны къ Ѣ. Сологубу нельзя предъявлять въ данномъ вопросѣ никакихъ серьезныхъ требованій, — а исключительно съ точки зрѣнія характеристики воззрѣній самого Ѣ. Сологуба на жизнь. Если даже въ высочайшихъ представителяхъ русской интеллигентіи, въ этой соли земли русской, Ѣ. Сологубъ видитъ только ничтожество и плоскость, то гдѣ же и въ чёмъ искать спасенія отъ Передонова и присныхъ его? И много ли тогда утѣшенія въ томъ, что Передоновъ сошелъ съ ума? Передоновъ сошелъ съ ума, передоновщина осталась...

Вотъ откуда у Ѣ. Сологуба этотъ страхъ жизни, вотъ чѣмъ страшна жизнь. Жизнь — безсмысленна, жизнь — мѣщанство. А между тѣмъ цѣли, смысла, правды ищутъ всѣ, ищетъ и самъ Передоновъ. «Есть же и правда на свѣтѣ», — тоскливо думаетъ онъ, а авторъ прибавляетъ отъ себя: «да, вѣдь и Передоновъ стремился къ истинѣ, по общему закону всякой сознательной жизни, и это стремленіе томило его. Онъ и самъ не сознавалъ, что тоже, какъ и всѣ люди, стремится къ истинѣ, и потому смутно было его беспокойство. Онъ не могъ найти для себя истины и запутался, и погибалъ» (*ibid.*, стр. 311). Вмѣсто истины — ложь, вмѣсто реальности — бредъ, та «маленькая, сѣрая, юркая недотыкомка», которая, быть можетъ, ярче всего воплощаетъ въ себѣ сѣрое и ускользающее отъ ударовъ мѣщанство жизни. Для Передонова она-то и была той ложью, которую онъ принялъ за истину; она была для него несомнѣннѣе

и реальнѣе всей окружающей дѣйствительности. И не только для одного Передонова... Если несомнѣнно, что въ Хлестаковѣ и Чичиковѣ заключена часть души самого Гоголя, то еще безспорнѣе, что Передонова ј. Сологубъ нашелъ въ глубинѣ самого себя, какъ это давно уже отмѣчено критикой *). Окончательно ли преодолѣль въ себѣ этого «мелкаго бѣса» ј. Сологубъ — обѣ этомъ говорить еще рано; мы всегда имѣемъ предъ собою только прошлое писателя, а не его настоящее и будущее. А въ прошломъ «недотыкомка сѣрая» одинаково мучила и Передонова и ј. Сологуба. Передонова она «измаяла, истомила зыбкою своею пляскою. Хоть бы кто-нибудь избавилъ, словомъ какимъ или ударомъ наотмашь. Да нѣть здѣсь друзей, никто не придетъ спасать, надо самому исхитриться, пока не погубила его ехидная» (*ibid.*, стр. 307) И отъ самого ј. Сологуба мы слышали буквально тождественное признаніе еще въ четвертой книгѣ его стиховъ:

Недотыкомка сѣрая
Все вокругъ меня вѣтается да вертится...
Недотыкомка сѣрая
Истомила коварной улыбкою,
Истомила присядкою зыбкою, —
Помоги мнѣ таинственный другъ.

Недотыкомку сѣрую
Отгони ты волшебными чарами,
Или наотмашь, что ли, ударами,
Или словомъ завѣтнымъ какимъ.

Недотыкомку сѣрую
Хоть со мной умерти ты, ехидную...

Это — достаточно ясное совпаденіе... И не въ правѣ ли мы хотя бы по одному этому повторить о ј. Сологубѣ то самое, что онъ говорить о Передоновѣ: «онъ не могъ найти для себя истины и запутался, и погибалъ?»... Да, ј. Сологубъ не могъ найти для себя истины, не могъ найти выхода изъ поставленныхъ жизнью вопросовъ. А найти его необходимо, необходимо выйти изъ фатального круга признаній:

Я безлѣпицей измученъ
Житіе кляну мое...

И еще, и еще разъ начинаетъ писатель искать ощупью дорогу, преломляя въ свое мѣ творчествѣ новые лучи, посыпаемые жизнью. Одно время такимъ выходомъ ј. Сологубъ считалъ, какъ мы помнимъ, «блаженное безуміе»; но, во-первыхъ, это — не выходъ, а во-вторыхъ — «блаженное безуміе» не приходитъ къ человѣку по заказу: не угодно ли получить вместо него мрачное и ужасное безуміе Передонова... Другой выходъ — вѣра въ землю Ойле... Но и эта вѣра никогда не могла удовлетворить ј. Сологуба, смутно чувствовавшаго всѣ ея внутреннія противорѣчія... Теперь онъ ищетъ новый выходъ и хочетъ найти его въ той *красотѣ* человѣческой жизни (или, вѣрѣ, человѣческаго тѣла), въ той области прекраснаго, которую онъ склоненъ считать спасеніемъ отъ передоновщины. Вотъ почему въ «Мелкомъ Бѣсѣ» исторія самого Передонова и всей этой кишащей вокругъ него передоновщины идетъ чередуясь съ исторіей отношеній Саши и Людмилы, исторіей, на первый взглядъ какъ бы совершенно произвольно вставленной въ передо-

*) Въ предисловіи ко 2-му изд. «Мелкаго Бѣса» ј. Сологубъ протестуетъ противъ такого утвержденія критики: «нѣть, мои милые современники, это о васъ написанъ «Мелкій Бѣсъ», — говорить онъ. Да, конечно — это «о нась»; но вѣдь Гоголь тоже писалъ «о нась» своего Чичикова и Хлестакова, и въ то же время писалъ ихъ съ себя... Одно другому не мѣшаетъ; даже болѣе того — одно обуславливается другимъ.

новщину, а въ дѣйствительности тѣсно связанной съ нею. «Красота» — вотъ то «завѣтное слово», которымъ ї. Сологубъ хочетъ отогнать отъ себя сѣрую недотыкомку мѣщанства и побѣдить передоновщину жизни.

VI.

Еще въ первомъ сборниکѣ своихъ стиховъ ї. Сологубъ призывалъ эту ушедшую изъ міра красоту:

Гдѣ ты дѣлась, несказанная
Тайна жизни, красота?
Гдѣ твоя благоуханная,
Чистымъ свѣтомъ осіянная,
Радость взоровъ, нагота?

Весь этотъ сѣрий міръ передоновщины для ї. Сологуба «суроў и нелѣпъ: онъ — нѣмой и таинственный склепъ надъ могилой, гдѣ скрыта навѣкъ красота»... Надо разрушить этотъ склепъ, надо воскресить красоту и прежде всего — красоту человѣческаго тѣла. Мѣщанство въ своемъ отношеніи къ человѣческому тѣлу знаетъ только двѣ крайности: или откровенный развратъ, или лицемѣрную стыдливость, причемъ обѣ эти крайности превосходно уживаются рядомъ одна съ другою въ одно и то же время и въ одномъ и томъ же человѣкѣ. Съ одной стороны, современное мѣщанство покрываетъ человѣческое тѣло уродливыми одѣяніями, единственная задача которыхъ — обезформить человѣческое тѣло, придать ему видъ «приличный для общежитія»; съ другой стороны — нѣть той сексуальной извращенности, которую не просмаковало бы мѣщанство, для котораго человѣческое тѣло служить не предметомъ восхищенія, а предметомъ вожделѣнія. Наготы, «осіянной чистымъ свѣтомъ», мѣщанинъ не знаетъ и не переносить; для него она всегда только объектъ грязныхъ мыслей и побужденій. И вотъ почему «капустный кочанъ» негодуетъ на наготу лиліи и гордится тѣмъ, что «вотъ я выучилъ людей одѣваться, ужъ могу себѣ чести приписать: на голышку-кочерыжку первую покрышку, рубашку, на рубашку стяжку, на стяжку подъ-одежку, на нее застежку, на застежку одежку, на одежку застежку, на застежку пряжку, на пряжку опять рубашку, одежку, застежку, рубашку, пряжку, съ боковъ покрышку, сверху покрышку, снизу покрышку, не видать кочерыжку. Тепло и прилично»... (такъ иронизируетъ ї. Сологубъ въ своей сказочкѣ «Одежды лиліи и капустныя одежки»). И если подъ капустными одеждами мѣщанинъ пытается лицемѣрно похоронить наготу, то это нисколько ему не мѣшаетъ смотрѣть на человѣческое тѣло только какъ на объектъ грязныхъ вожделѣній. Какая ужъ тутъ «чистымъ свѣтомъ осіянная, радость взоровъ, нагота», если при одной мысли о наготѣ Передонова охватываются только грязно-эротическія мысли, «паскудныя дѣтища его скучного воображенія» («Мелкій Бѣсь», стр. 49 — 50), если извращенность его чувства доходитъ до того, что онъ замираетъ «отъ дикаго сладострастія» при мысли о возможности связи съ дряхлой старухой, «чуть тепленьюкой», отъ которой «трупцемъ попахиваетъ» (*ibid.*, стр. 313)... И по прямой линіи отъ Передонова идутъ всѣ эти quasi-эстеты нашихъ дней, всѣ эти глашатаи не красоты, а похоти; между ними и ї. Сологубомъ — дистанція громаднаго размѣра *). Для ї. Сологуба человѣческое тѣло — воплощеніе красоты, «чистымъ свѣтомъ осіянной»; а для всѣхъ этихъ «пьяныхъ и грязныхъ людышекъ (повторимъ мы въ переносномъ смыслѣ слова ї. Сологуба) это восхитительное тѣло является только

*) За послѣднее время въ творчествѣ ї. Сологуба стали усиливаться и «уранисто-садистическая» черты (если, воспользоваться выражениемъ г-жи З. Гиппіусъ, см. «Вѣсы» 1908 г., н. 2, стр. 73); возможно поэтому, что въ дальнѣйшемъ его творчествѣ эпизодъ Саши съ Людмилой будетъ развить имъ съ точки зрѣнія, не имѣющей ничего общаго съ «осіянной чистымъ свѣтомъ наготой»... Этимъ ї. Сологубъ покажетъ намъ, какъ ему трудно убить въ себѣ Передонова...

источникомъ низкаго соблазна. Такъ это и часто бываетъ, и воистину въ нашемъ вѣкѣ надлежить красотѣ быть попранной и поруганной» (*ibid.*, стр. 68).

Взмѣнъ такого отношенія къ красотѣ человѣческаго тѣла *Ѳ. Сологубъ* рисуетъ намъ наготу «осіянную чистымъ свѣтомъ», и это не мѣшало бы понять всѣмъ блюстителямъ строгой нравственности, столь возмущеннымъ эпизодомъ съ Людмилой и Сашей въ «Мелкомъ Бѣсѣ» и готовымъ счесть этотъ эпизодъ просто вкрапленнымъ въ романъ порнографическимъ элементомъ. Думать такъ — значитъ не понимать ни этого романа, ни всего творчества *Ѳ. Сологуба*. Людмила и Саша для *Ѳ. Сологуба* — не только не эпизодъ, а одинъ изъ центральныхъ пунктовъ романа, такъ какъ именно въ «красотѣ» *Ѳ. Сологубъ* хочетъ найти выходъ изъ передоновщины. Мрачную, сѣрую, безмысленную жизнь онъ хочетъ осмыслить культомъ тѣла, чистымъ эстетическимъ наслажденіемъ, «радостью взорвъ». Насколько это удается или неудается ему — мы скоро увидимъ; теперь же достаточно подчеркнуть, что именно въ этомъ заключенъ весь смыслъ эпизода съ «язычницей» Людмилой, влюбившейся въ подростка-гимназиста Сашу, который отвѣчаетъ ей такою же любовью, еще не осознавшей своей физиологической подпочвы. «Сколько прелести въ мірѣ! — думаетъ Людмила: — люди «закрываютъ отъ себя столько красоты; зачѣмъ?..» «Точно стыдно имѣть тѣло, что даже мальчишки прячутъ его», — думаетъ она другой разъ... И, къ ужасу стыдливыхъ критиковъ — идеиные предки которыхъ ужасались во время оно неприличію «Графа Нулина», — она раздѣваетъ Сашу и цѣлуєтъ его «плечи...» Да зачѣмъ тебѣ это, Людмилочка? — спрашиваетъ Саша.

« — Зачемъ? — страстно заговорила Людмила. — Люблю красоту. Язычница я, грѣшница. Мнѣ бы въ древнихъ Аѳинахъ родиться. Люблю цветы, духи, яркія одежды, голое тело. Говорятъ, есть душа. Не знаю, не видѣла. Да и на что она мнѣ? Пусть умру совсѣмъ, какъ русалка, какъ тучка подъ солнцемъ растаю. Я тѣло люблю — сильное, ловкое, голое, которое можетъ наслаждаться.

— Да и страдать вѣдь можетъ, — тихо сказалъ Саша.

— И страдать, и это хорошо, — страстно шепнула Людмила. — Сладко и когда больно, только бы тѣло чувствовать, только бы видѣть наготу и красоту тѣлесную»... (*ibid.*, стр. 320 — 322).

Вотъ отвѣтъ *Ѳ. Сологуба* на карамазовскіе вопросы. Оказывается, что «красота» не только открываетъ выходъ изъ передоновщины, но и оправдываетъ ирраціональное по своей сущности зло; вопросъ о людскихъ страданіяхъ покрывается идеей красоты страждущаго тѣла... Но въ томъ-то и бѣда, что именно только «вопросъ» покрываются «идеей», а вовсе не страданія тѣла — красотой его; въ этомъ пунктѣ напрасна попытка устраниТЬ съ дороги карамазовскіе вопросы повтореніемъ излюбленнаго Достоевскимъ мотива: «сладко и когда больно»... И если даже «сладко» и «больно» относятся не къ двумъ различнымъ субъектамъ, созерцающему и страдающему, а къ одному и тому же, какъ мы скоро услышимъ отъ сологубовской Нюты Ермолиной, то все же на такомъ общемъ мѣстѣ далеко не уѣдешь. И при чемъ «тѣлесная красота» въ случаѣ хотя бы съ тѣмъ мальчикомъ, котораго «мать съ отцомъ замучили: долго палкой били, долго розгами терзали»? Вся красота всего міра — стоить ли она одной слезинки этого замученного ребенка? Со стороны глядя — быть можетъ; «страдать — и это хорошо» — но только когда страдаетъ другой... Вотъ и Людмила любить не только одно «голое тѣло, которое можетъ наслаждаться», но любить и «Его... знаешь... Распятаго... Знаешь, приснится иногда — Онъ на крестѣ, и на тѣлѣ кровавыя капельки» (*ibid.*, стр. 323), подобно тому какъ и Лиза (въ «Братьяхъ Карамазовыхъ») хотѣла бы сидѣть противъ распятаго на крестѣ и, глядя на его крестныя муки, ъсть «ананасный компотъ»... Но одно дѣло — ъсть ананасный компотъ, а другое дѣло — быть распятымъ самому; оправдывать страданія одного человѣка эстетическими переживаніями другого человѣка — значитъ ставить въ причинную или телеологическую зависимость

два явленія, связанныя исключительно своей одновременностью и ничѣмъ больше. Я поставилъ палку въ уголъ и въ тотъ же моментъ полилъ дождь — отсюда знаменитое умозаключеніе: *baculus in angulo, ergo pluit...* Пусть ананасный компотъ одновременъ съ крестными муками, но значить ли это, что «компотъ» оправдываетъ эти муки? И какія эстетическая переживанія могутъ оправдать человѣческую муку, если ее не оправдываетъ даже всемирная гармонія, даже будущее райское блаженство?

Нѣтъ, красота не «оправдываетъ» жизни, не уравновѣшиваетъ человѣческія страданія; довольно и того, что она, быть можетъ, открываетъ выходъ изъ передоновщины; съ этой послѣдней точки зрењія особенно интересны всѣ сцены между Людмилой и Сашей, особенно въ ихъ сопоставленіи съ аналогичными сценами между другими лицами романа. Такое сопоставленіе все время дѣлаетъ самъ Т. Сологубъ, подчеркивая разницу между чистымъ свѣтомъ осіянной наготой и грязнымъ мѣщанскимъ отношеніемъ къ ней; это особенно слѣдовало бы имѣть въ виду тѣмъ читателямъ, которые возмущаются порнографичностью этого романа Т. Сологуба. Безпрестанно предлагается онъ читателю сравнивать отношеніе къ «тѣлесной красоте» съ одной стороны — Саши и Людмилы, съ другой — «пьяныхъ и грязныхъ людишекъ», Передонова и присныхъ его. «Воистину въ нашемъ вѣкѣ надлежить красотѣ быть попранной и поруганной» — говорить онъ про послѣднихъ; и попираютъ они красоту тѣла не только закутывая его въ капустныя одежки, но и открывая его грубо и цинично. Культь красоты, культь тѣла — это культь Т. Сологуба; но когда Грушина (въ «Мелкомъ Бѣсѣ») собирается на маскарадъ и одѣвается «головато», то авторъ замѣчаетъ отъ себя: «все такъ смѣло открытое у Грушиной было красиво — но какія противорѣчія! На кожѣ — блошины укусы, ухватки грубы, слова нестерпимой пошлости. Снова поруганная тѣлесная красота!» (*ibid.*, стр. 347). Еще болѣе намѣренно противопоставлены другъ другу главы XVII-ая и XVIII-ая романа: въ первой изъ нихъ обрисовываются «чистымъ свѣтомъ осіянныя» отношенія Саши и Людмилы, а во второй, непосредственно рядомъ — мимолетная и циничная связь Передонова и Гудаевской; и если блюстители мѣщанской нравственности, по всей вѣроятности, склонны будутъ снисходительно отнестись къ этой связи и строго осудить странныя отношенія Саши и Людмилы, то Т. Сологубъ, наоборотъ, осуждаетъ первую и пытается идеализировать вторую. Удается ли это ему? Или, иными словами: дѣйствительно ли найденъ выходъ изъ передоновщины? окончательно ли побѣжденъ страхъ жизни? отогнана ли сѣрая недотыкомка мѣщанства завѣтнымъ словомъ «красота»?

И да, и нѣтъ. Мы увидимъ ниже, что въ своей попыткѣ выхода Т. Сологубъ несомнѣнно стоялъ на вѣрномъ пути въ томъ отношеніи, что онъ пересталъ искать цѣли и смысла жизни въ мірѣ трансцендентнаго — на землѣ Ойле или въ царствѣ блаженного безумія; онъ ищетъ его въ мірѣ имманентнаго — и не черезъ двѣсти-триста лѣтъ, а немедленно, сейчасть же, въ настоящій моментъ. И въ этомъ онъ правъ. Правъ ли онъ однако, когда весь смыслъ даннаго момента, всю полноту переживаній онъ хочетъ заключить въ рамки одного слова «красота»? Конечно нѣтъ, и по многимъ причинамъ. Начать съ того, что весь эпизодъ Саши съ Людмилой, какъ выходъ изъ передоновщины — неубѣдителенъ. Саша и Людмила — это еще дѣти, тѣ самыя дѣти, которыхъ Т. Сологубъ называетъ сосудами Божьей радости надъ землею и которыхъ пока еще свободны отъ гнетущаго вліянія передоновщины; но вѣдь этому «еще» и «пока» долженъ прійти конецъ. Безобразная бабища жизнь уже стоитъ за ихъ плечами, заглядывая въ ихъ лица глазами, полными угрозъ... Угрозы эти заключаются въ томъ, что физіологическая подпочва отношеній Саши и Людмилы сдѣлается скоро для первого настолько же ясной, насколько и для второй; это подчеркиваетъ и самъ Т. Сологубъ (*ibid.*, стр. 327 — 328). А когда Людмила дѣйствительно «приготовишку родить», какъ слишкомъ преждевременно увѣряетъ всѣхъ Передоновъ, то въ чёмъ же тогда будетъ выходъ изъ передоновщины? Этотъ фактъ опять вдвигаетъ автора въ об-

ласть обыденного, и ему приходится изобрѣтать новые варианты «осіянной чистымъ свѣтомъ красоты» для избавленія отъ передоновщины. Такъ, напримѣръ, въ разсказѣ Т. Сологуба «Красота» (въ сборникѣ «Жало Смерти») мы снова встрѣчаемся съ попыткой оправдать жизнь красотою.

Мы снова встрѣчаемся здѣсь съ Людмилой, но уже безъ Саши; Елена — героиня этого разсказа — влюблена въ свое тѣло, наслаждается его красотою и повторяетъ сама надъ собою то, что Людмила продѣльвала надъ Сашей. Своимъ одиночествомъ она спасается отъ передоновщины — но ненадолго: вѣдь она живеть среди людей, она связана съ ними тысячию нитей. Закупорить окна и двери — еще не значить найти выходъ изъ передоновщины; Елена сознаетъ это. Людей она не любить, потому что «они не понимаютъ того, что одно достойно любви — не понимаютъ красоты. О красотѣ у нихъ пошлия мысли, такія пошлия, что становится стыдно, что родилась на этой землѣ. Не хочется жить здѣсь»... А такъ какъ земли Ойле все равно нѣть, то единственное, что остается — покончить съ собою, уйти въ небытіе. Такъ Елена и поступаетъ, и это — тоже своего рода выходъ изъ передоновщины; но этотъ выходъ показываетъ, что Т. Сологубъ убѣдился, что словомъ «красота» отъ сѣрой недотыкомки не зачураешься.

Попытка найти спасеніе отъ безсмысленной передоновщины въ кульѣ красоты человѣческаго тѣла оказалась полна невозможностями и противорѣчіями.

VII.

Несмотря на всѣ эти невозможности и противорѣчія, Т. Сологубъ крѣпко держится за красоту, какъ за избавленіе отъ мѣщанства жизни, какъ за спасеніе отъ страха; онъ только расширяетъ рамки и отъ красоты тѣла переходить къ красотѣ вообщѣ, красотѣ природы, красотѣ духа, красотѣ вымысла. Отъ мѣщанства жизни, отъ ея нелѣпости и безсмысленности онъ хочетъ спрятаться за стѣнами призрачнаго міра, за твореніемъ своей собственной фантазіи; въ этомъ — связь Т. Сологуба съ молодымъ русскимъ романтизмомъ, однимъ изъ крупныхъ представителей котораго онъ и является. Пусть жизнь безсмысленна, безцѣльна, пусть на землѣ царить передоновщина; не будемъ и искать смысла въ безсмысленномъ по существу, но уйдемъ отъ этого міра «за предѣлы предѣльнаго», въ создаваемый нашей фантазіей міръ четырехъ измѣреній — такъ говорить намъ поэтъ.

Не я воздвигъ ограду —
Не мнѣ ее разбить.
И что-жъ!
Найду отраду
За той оградой быть.
И что мнѣ помѣшаетъ
Воздвигнуть всѣ міры,
Которыхъ пожелаетъ
Законъ моей игры?
Я призрачную душу
До неба вознесу,
Воздвигну — и разрушу
Мгновенную красу.
Что бѣтся за стѣною —
Не все ли мнѣ равно!
Для смерти лишь открою
Потайное окно.

Такъ говорилъ Т. Сологубъ въ началѣ четвертой книги своихъ стиховъ; то же онъ повторяетъ и въ самое послѣднее время, въ своемъ романѣ «Творимая легенда»

(«Нави Чары»). «Беру кусокъ жизни, грубой и бѣдной, и творю изъ него сладостную легенду, ибо я — поэтъ. Коснѣй во тьмѣ тусклая, бытова, или бушуй яростнымъ пожаромъ — надъ тобою, жизнь, я, поэтъ, воздвигну творимую мною легенду объ очаровательномъ и прекрасномъ»... Это достаточно определено сказано и, какъ говорится, «въ комментаріяхъ не нуждается». Теперь становится ясно, какимъ образомъ Ф. Сологубъ собирается зачураться отъ передоновщины словомъ «красота»: онъ хочетъ жить въ мірѣ фантазіи, въ области «творимой легенды», онъ пытается запереться отъ міра дѣйствительности, оградиться отъ него стѣною красоты своего вымысла. Пусть жизнь человѣка и жизнь человѣчества равно безмысленны — «что бѣтся за стѣною — не все ли мнѣ равно!» Я, поэтъ, замкнусь въ башнѣ своего творчества и буду творить жизнь по собственному усмотрѣнію, ибо «что мнѣ помѣшаетъ воздвигнуть всѣ міры, которыхъ пожелаетъ законъ моей игры?» Конечно, что помѣшаетъ! но развѣ это отвѣтъ на вопросы о смыслѣ жизни? Ф. Сологубъ и не собирается дать на нихъ отвѣтъ: чувствуя свое бессиліе, онъ торопится уйти за стѣны творимой легенды...

Но если это не отвѣтъ, то во всякомъ случаѣ это исходъ, спасеніе отъ передоновщины. И въ сущности вѣдь это только повтореніе словъ, когда-то сказанныхъ Иваномъ Карамазовымъ: «я не Бога не принимаю, я міра имъ созданного, міра-то Божьяго не принимаю и не могу согласиться принять»... Ф. Сологубъ тоже не принимаетъ окружающаго его дѣйствительного міра, но зато хочетъ утѣшиться творчествомъ своего міра, создаваемаго художественнымъ произволомъ поэта, «закономъ игры» его воображенія; реалистическому міру передоновщины онъ хочетъ противопоставить романтическій міръ красоты. «Вся область поэтическаго творчества явственно дѣлится на двѣ части, тяготѣя къ одному или другому полюсу, — говорить Ф. Сологубъ въ одной изъ позднѣйшихъ своихъ статей «Демоны поэтовъ» (въ журналѣ «Перевалъ», 1907 г. №№ 7 и 12). — Одинъ полюсъ — лирическое забвеніе даннаго міра, отрицаніе его скучныхъ и скучныхъ двухъ береговъ, вѣчно текущей обыденности и вѣчно возвращающейся ежедневности, вѣчное стремленіе къ тому, чего нѣть. Мечтою строятся дивные чертоги несбыточнаго, и для предваренія того, чего нѣть, сожигается огнемъ сладкаго пѣснотворчества все, что есть, что дано, что явлено. Всему, чѣмъ радуетъ жизнь, сказано нѣть». Вѣчнымъ выразителемъ такого лирическаго отношенія къ міру является, по мнѣнію Ф. Сологуба, Донъ-Кихотъ, который изъ данной ему реальнымъ міромъ Альдонсы творить романтическій обликъ Дульцинеи Тобозской. «Донъ-Кихотъ зналъ, конечно, что Альдонса — только Альдонса, простая крестьянская дѣвица съ вульгарными привычками и узкимъ кругозоромъ ограниченного существа. Но на что же ему Альдонса? И что ему Альдонса? Альдонсы нѣть. Альдонсы не надо. Альдонса — нелѣпая случайность, мгновенный и мгновенно изживаемый капризъ пьяной Айсы»... И Ф. Сологубъ такъ относится къ окружающей дѣйствительности: на что она ему? ея нѣть, ея не надо; дѣйствительность — нелѣпая случайность, капризъ пьяной Судьбы... И это уже вполнѣ определенный отвѣтъ на вопросы о цѣли и смыслѣ нашей жизни, жизни человѣка, жизни человѣчества: ни смысла, ни цѣли — нѣть, все случайно, все безцѣльно.

Зачѣмъ же мы живемъ? и стоить ли въ такомъ случаѣ жить, играть какую-то безсмысленную роль въ «діаволовомъ водевилѣ»? не проще ли сразу оборвать нить жизни, которую съ насмѣшилой улыбкой прядетъ намъ «пьяная Айса»? и не достойнѣе ли человѣка самому задуть ту свѣчу, которую держить въ своихъ безстрастныхъ рукахъ «Нѣкто въ сѣромъ»? Мы еще увидимъ, какъ можно и какъ надо отвѣтить на такие вопросы; теперь же для насъ интересенъ только отвѣтъ самого Ф. Сологуба. Этотъ отвѣтъ намъ известенъ; Ф. Сологубъ скрывается отъ «пьяной Айсы» за стѣнами «творимой легенды», отъ вульгарной Альдонсы за поэтическимъ обликомъ Дульцинеи, отъ передоновщины міра за красотою вымысла; онъ живеть красотою творимаго имъ міра, а въ переживанияхъ творчества онъ черпаетъ силы для побѣды надъ страхомъ жизни... Къ окружаю-

щей жизни онъ безразличенъ — не все ли ему равно, «что бьется за стѣною»? — къ реальной, страдающей душѣ онъ глухъ. Но зато — «я призрачную душу до неба вознесу», я самъ — Айса своего міра и я живу лишь этимъ міромъ и для этого міра. Допустимъ, что это исходъ, но несомнѣнно во всякомъ случаѣ одно: это исходъ — вполнѣ индивидуальный, обособляющій поэта отъ всего міра людей, замыкающій его стѣной одиночества. Конечно, поэту никто и ничто не можетъ помѣшать «воздвигнуть тѣ міры, которыхъ пожелаетъ законъ его игры»; но вѣдь «законъ игры» ї. Сологуба является «закономъ» только для одного его, вотъ чего не надо забывать. Божьяго міра не пріемлю, а свой міръ созидаю — пусть такъ; но не будемъ забывать, что въ «божьемъ» мірѣ живутъ люди, а въ «своемъ» мірѣ живу одинъ «я». Окружая себя стѣной отъ внѣшняго міра, я тѣмъ самымъ обрекаю себя на искусть одиночества:

.....иди далеко,
Или создай пустынный край,
И тамъ безмолвно и одиноко
Живи, мечтай и умирай, —

слышимъ мы отъ поэта въ одномъ изъ позднѣйшихъ его стихотвореній (кн. «Пламенныій Кругъ»).

«Боюсь ли я одиночества? — спрашиваетъ самъ себя ї. Сологубъ въ одномъ изъ послѣднихъ произведеній («Томленіе къ инымъ бытіямъ», мистерія) и отвѣчаетъ: если бы вампиры и кошмары оставили меня, я не былъ бы одинокъ. Изъ тьмы небытія извелъ бы я къ свѣту истиннаго инобытія иные сны, иныхъ вампировъ извелъ бы я отъ небытія. Источающихъ мою кровь и пожирающихъ плоть мою. Ибо я не люблю жизни, бабищи румяной и дебелой»... Другими словами, одинъ «законъ своей игры» ї. Сологубъ замѣнилъ бы другимъ «закономъ своей игры» и утѣшался бы мыслью, что окруженный разными кошмарами своей фантазіи, разными «тихими мальчиками» и «навыками чарами» — онъ не одинокъ. Онъ можетъ этимъ утѣшаться, но намъ это никакъ не мѣшаетъ считать такое сожительство съ «вампирями» своей фантазіи — самымъ гнетущимъ одиночествомъ. Одиночество — къ этому сознательно шелъ и пришелъ ї. Сологубъ, подобно тому какъ за поль-вѣка до него въ такомъ же одиночествѣ искалъ рѣшенія проклятыхъ вопросовъ Лермонтовъ, духовную зависимость отъ котораго ї. Сологуба мы уже подчеркивали. Одиночество — это полный разрывъ съ мѣщанствомъ, это категорическій отказъ «принять» окружающей міръ, это начало всякой трагедіи; одиночество — это попытка рѣшенія карамазовскихъ вопросовъ «для одного себя»: отметаю весь безсмысленный міръ, отвергаю жизнь человѣчества, какъ діаволовъ водевиль — и остаюсь «наединѣ съ своей душой»... И загнанный страхомъ жизни и мѣщанствомъ въ одиночество, человѣкъ сперва вздыхаетъ полной грудью: на вершинахъ одиночества легко дышится послѣ затхлой атмосферы передоновщины; страхъ одиночества пока еще не даетъ себя чувствовать. «Быть съ людьми — какое бремя!» — восклицаетъ поэтъ; «свобода — только въ одиночествѣ», «я хочу... быть одинъ, всегда одинъ»... И ї. Сологубъ подбадриваетъ себя мыслью о «гордомъ одиночествѣ», не только не страшномъ, но даже желанномъ.

Я одинъ въ странѣ пустынной,

— слышимъ мы въ это время отъ ї. Сологуба, —

Но услады есть въ пути:
Улыбаюсь, забавляюсь,
Самъ собою вдохновляюсь,
И не скучно мнѣ итти...

Но это только до поры до времени. Скоро даеть себя знать ужась одиночества, ужась, бывшій удѣломъ Лермонтова и такъ геніально воплощенный имъ въ Демонъ, который на вершинахъ одиночества томится необходимостью «живть для себя, скучать собой» и всю жизнь «безъ раздѣленья и наслаждаться и страдать»... Тутъ уже и мысль о «гордомъ» одиночествѣ не спасаеть человѣка. «Гордое одиночество! — восклицаетъ по этому поводу Л. Шестовъ, которому въ этомъ вопросѣ и книги въ руки, какъ мы еще увидимъ: — гордое одиночество! Да развѣ современный человѣкъ можетъ быть гордымъ наединѣ съ собою? Предъ людьми, въ рѣчахъ, въ книгахъ — дѣло иное. Но когда никто его не видить и не слышитъ,... когда его покидаютъ люди, когда онъ остается наединѣ съ собой, онъ поневолѣ начинаетъ говорить себѣ правду, и, Боже мой, какая это ужасная правда!» Эта правда — ужась одиночества, эта правда — смутное признаніе того, что я такой же, какъ и всѣ, что никакого новаго міра я не воздвигну и что творимая мною легенда только дѣтская сказка, которой я хочу обмануть свое одиночество; эту правду сознаеть и самъ ї. Сологубъ: «Я живу въ темной пещерѣ», — говоритъ онъ: вотъ во чѣто превращается «міръ» ї. Сологуба! И далѣе (это стихотвореніе читатель найдеть въ книгѣ «Пламенный Кругъ»):

Въ моей пещерѣ тѣсно и сыро,
И нечѣмъ ее согрѣть.
Далекій отъ земного міра,
Я долженъ здѣсь умереть.

Послѣ такого сознанія уже никакія услады на пути не остановятъ на себѣ взора измученного человѣка, тутъ ему уже не до улыбокъ и не до забавъ. Говоря о Л. Андреевѣ и о Л. Шестовѣ, мы еще остановимся на томъ ужасѣ одиночества, который коснулся своимъ крыломъ и ї. Сологуба; послѣднему пришлось спасаться отъ одиночества такъ же, какъ раньше онъ пытался спастись отъ мѣщанства жизни. Но гдѣ найти спасеніе? И ї. Сологубъ поступилъ, какъ тотъ знаменитый жоржъ-зандовскій герой, который, чтобы спастись отъ дождя, бросился въ воду: чтобы спастись отъ ужаса одиночества, ї. Сологубъ съ головою бросился въ солипсизмъ.

VIII.

Одиночество не страшно, ибо я во всемъ и все во мнѣ. Внѣ моего «я» нѣть волевыхъ актовъ, нѣть ничего; міръ есть только моя воля, только мое представлениe. Къ этому циклу идей ї. Сологубъ съ самаго начала своего творчества подходилъ медленными, но вѣрными шагами. Еще въ первой книгѣ своихъ стиховъ онъ былъ близокъ по настроению къ солипсизму въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ неопределенно-пантеистического характера (см., напр., «Что вчера пробѣгало во мнѣ» и «По жестокимъ путямъ бытія»). Въ третьей книгѣ стиховъ онъ уже вполнѣ определенно излагаетъ свой символъ вѣры:

Я любуюсь людской красотою,
Но не знаю, что стало бы съ ней,
Вдохновенной и нѣжной такою,
Безъ дыханія жизни моей.
Обращаю къ природѣ я взоры
И склоняю внимательный слухъ, —
Только мой вопрошающій духъ
Оживляетъ нѣмые просторы.
И, всемирною жизнью дыша,
Я не знаю конца и предѣла:

Для природы моей я — душа,
И она мнѣ — послушное тѣло.

Дальше — больше. Весь отдѣль «Единая воля» (одиннадцать стихотвореній въ книгѣ «Пламенный Кругъ») проникнутъ такими настроениями; не мало ихъ и въ другихъ книгахъ ѡ. Сологуба. «Это Я своею волей жизнь къ сознанію вознесъ»; «Я — все во всемъ, и нѣть Иного»; «весь міръ — одно мое убранство, мои слѣды»; «Я самъ — творецъ, и самъ — свое творенье, безстрастенъ и одинъ»; «Я одинъ въ безбрежномъ мірѣ, Я обмань личинъ отвергъ»; «и надѣя тобою, мать-природа, мои законы Я воздвигъ», и т. д., и т. д. Вы видите разницу: раньше былъ «законъ моей игры», который, разумѣется, не имѣлъ никакого общаго значенія — и тогда одиночество отъ міра оказалось страшнымъ; теперь этотъ дѣтскій «законъ игры» обратился въ міровые законы — и поэту уже не страшно въ «гордомъ одиночествѣ»:

Я — Богъ таинственного міра,
Весь міръ въ однѣхъ моихъ мечтахъ...

Теперь ничто не страшно — даже міровое зло, даже людскія страданія, даже безсмыслица жизни; а если и страшно, то есть простое средство разъ навсегда покончить со всѣмъ этимъ зломъ: «міръ весь во мнѣ. Но страшно, что онъ таковъ, каковъ онъ есть — и какъ только его поймешь, такъ и увидишь, что онъ не долженъ быть, потому что онъ лежитъ въ порокѣ и во злѣ. Надо обречь его на казнь — и себя вмѣстѣ съ нимъ»... Съ этими словами Елена (изъ знакомаго уже намъ разсказа «Красота») убиваетъ себя, и хотя послѣ этого міровое зло остается какимъ было и раньше, но это не мѣшаетъ ѡ. Сологубу продолжать свое «самоутвержденіе» и послѣдовательно развивать философію солипсизма. Появляются такія произведенія ѡ. Сологуба, какъ «Литургія Мнѣ», «Я; книга совершенного самоутвержденія», «Человѣкъ человѣку — дьяволъ» и т. п. Солипсизмъ вполнѣ послѣдовательно приводить здѣсь поэта къ философіи абсолютнаго эгоизма; знакомые уже намъ мотивы его творчества находять здѣсь свое завершеніе. Такъ, напримѣръ, въ «Литургіи Мнѣ» (см. «Вѣсы», 1907 г., № 2) мы слышимъ знакомый мотивъ:

Законъ моей игры
Исполню до конца.
Я создаль всѣ міры,
Но самъ Я безъ вѣнца.
Бессиленъ Я и малъ.
Блаженная игра.
Кто тайну разгадалъ?..

Кто тайну разгадалъ? — Разумѣется, ѡ. Сологубъ; и «тайна» эта, какъ намъ извѣстно, заключается въ томъ, что «все — Я. И все, что есть, то — Я», что «въ каждомъ духѣ, въ каждомъ тѣлѣ, все — Я. И все лишь только Я», — какъ мы слышимъ отъ ѡ. Сологуба въ той же «Литургіи Мнѣ». Еще опредѣленіе и энергичнѣе исповѣдуется намъ свою вѣру ѡ. Сологубъ въ своей «книгѣ совершенного самоутвержденія» — «книга» эта умѣщается на четырехъ страницахъ — озаглавленной «Я» (см. «Золотое Руно», 1906 г. № 2). Большинству читателей эта «книга», по всей вѣроятности, совершенно неизвѣстна, а потому мы приведемъ изъ нея выдержки, тѣмъ болѣе, что въ нихъ выяснится определеніе міра ѡ. Сологубомъ съ точки зрѣнія его солипсизма. «Благословенно все и во всемъ, — провозглашаетъ нашъ авторъ, — въ неизмѣримости пространствъ и въ безпредѣльности временъ, и въ иныхъ обитаніяхъ, здѣсь и далече, и жизнь, и смерть, и расцвѣтаніе, и увяданіе, благословенны радость, и печаль, и всякое дыханіе, — ибо

все и во всемъ — Я, и только Я, и нѣтъ иного, и не было, и не будетъ»... Любопытно это «ибо» въ устахъ солипсиста: когда онъ къ человѣческимъ страданіямъ подходилъ отъ вѣнчаного міра — онъ ихъ проклиналъ, такъ какъ видѣлъ ихъ безмысленность; теперь, излучая все изъ своего «я», онъ все благословляетъ, ибо — все и во всемъ Я... Въ этомъ — первый актъ самоутвержденія и пріятія міра, какъ эманаціи «я». Дальше: «Я создалъ и создаю времена и пространства, и еще иныя, безчисленныя обители. Во временахъ явленія помѣстиль Я, и всѣ явленія — Мои... И всякая мечта Моя воплощена, ибо она — Моя. И нѣтъ вѣнчанія бытія, ни возможности бытія. Всякое помышленіе — во мнѣ, и всякое явленіе — отъ Меня и ко мнѣ, ибо все и во всемъ — Я, и только Я, и нѣтъ иного, и не было, и не будетъ»... Только непонятная скромность помѣщала нашему автору сказать еще опредѣленнѣе: все — Федоръ Сологубъ, всякое явленіе — отъ Федора Сологуба и къ Федору Сологубу, ибо все и во всемъ — Федоръ Сологубъ и только Федоръ Сологубъ, и нѣтъ иного, и не было, и не будетъ... Но странное дѣло: «все — Я» — это звучить гордо; а стоить только раскрыть скобки, какъ гордыя фразы начинаютъ звучать курьезно... Но если все есть Федоръ Сологубъ и Федоръ Сологубъ есть все, то слѣдовательно и всѣ мы — только состоянія сознанія Федора Сологуба? Казалось бы, что нашъ авторъ сперва даетъ именно такой отвѣтъ: вѣдь мы слышали отъ него — «я одинъ въ безбрежномъ мірѣ, я обманъ личинъ отвергъ»; и теперь въ своей «книгѣ» онъ повторяетъ — «раздѣленные и многообразные лики — всѣ они только личины Мои»... Но доходить по этому пути до крайнихъ выводовъ Ф. Сологубъ все же не рѣшается. Все есть — Я, попрежнему утверждаетъ онъ, но кромѣ того есть и «непостижимая Тайна Моя, Тайна о томъ, что не-Я»... «И если есть жизнь иная... о, безликая Тайна Моя! Ты — Моя, но Ты — не Я. Тайна Моя, Ты — Отрицаніе Мое»... Въ противоположности между Я и Ты Ф. Сологубъ ищетъ теперь объясненія всему злу, существующему въ мірѣ, всему мѣщанству, всей передоновщинѣ; этой идеѣ посвящена его статья «Человѣкъ человѣку — дьяволъ» (см. «Золотое Руно», 1907 г., № 1). Тутъ все дьяволъ мутить, расщепляя единое Я на миллионы различныхъ «ты»; при единомъ Я все такъ ясно, такъ понятно, а при тысячахъ тысячи «ты» — вся стройность мірониманія разсыпается и передъ нами снова безмысленная жизнь, требующая оправданія. Тутъ все дьяволъ мутить: Ф. Сологубъ совершенно убѣжденъ въ этомъ. Когда Ф. Сологубъ утверждаетъ, что Я во всемъ и все во мнѣ, то ему слышится смѣхъ мѣщанства: «глупыя сказки! Я — Иоаннъ, и жена моя — Марія. Вотъ тамъ родственники и друзья наши, Лазарь и Марія, и другая Марія, и третья. И Лука. И Клеопа. И другихъ такъ много. И все разные... Лука любить лукъ, а Клеопа — персики»... Вотъ это-то и есть козни дьявольскія: «узнаю старого, злого врага... Дьяволъ смѣется надо Мною, лѣпитъ злыя, искаженные хари, и отводить Мои глаза. — Вотъ, говорить онъ, Лука, а вотъ Клеопа, а гдѣ же ты? — Гдѣ же Я? Такъ... предо Мною раскрывается противоположность: необходимое единство Мое и злобное, случайное Мое разъединеніе... Дьяволъ прячется подъ уродливыми, слѣплеными имъ харями, и визжитъ, и хохочетъ, и гнусныя придумываетъ слова, издѣваясь надъ Моею вѣрою, надъ Моимъ откровеніемъ, надъ Моимъ страстнымъ зовомъ. Тысячеголосый вой подъемлетъ онъ вокругъ Меня, и дразнить Меня миллионами красныхъ языковъ, покрытыхъ бѣшеною слюною. Вопить подъ неисчислимостью уродливыхъ масокъ:

- Ты — глупый и смѣшной, Иванъ Иванычъ!
- Я лучше тебя.
- Я здѣсь самый главный, а не ты.
- У меня больше денегъ, чѣмъ у тебя.
- У меня есть любовница, очень дорогая.
- Можетъ быть, и ты хочешь быть такимъ же хорошимъ, какъ я? Ну, что же, состязайся.
- Жизнь — борьба.

Кривляются, орутъ. Ну вась къ черту!
Да они отъ черта и есть. Ихъ чортомъ не испугаешь. Развѣ вы не видите, какіе они плоскіе и сѣрые? Всѣ черти — плоскіе и сѣрые.
Всѣ люди — неужели всѣ? — плоски и сѣры. Люди — черти. Неужели и вправду черти?
Да, насколько они — не-Я.

Дьявольскую злобу питають они другъ къ другу. Они придумываютъ одинъ о другомъ страшныя, тяжелыя, черныя слова, которыя прожигаютъ душу до дыръ. Они куютъ цѣпи, тяжкія, какъ свинецъ смерти, и липкія, какъ мерзкая паутина злого паука. Они берутъ въ свои руки того, кто случайно слабъ, и бьютъ его долго и безпощадно... Дѣвушку поймаютъ на площади, оголять, нагайками бьютъ, животъ разорвутъ, до смерти замучать. Загонять людей въ домъ и сожгутъ. И пляшутъ вокругъ пожарища, внимая дикому вою сожигаемыхъ. Какая адская мука — горѣть живьемъ въ дьявольскомъ огнѣ земного мучительства! Кто же мучительствуетъ? Человѣкъ или Дьяволъ? Человѣкъ человѣку — Дьяволъ»...

Извиняюсь за длинную цитату, но она очень характерна. Если отвлечься отъ того горделиваго юродства, которое, вопреки всѣмъ намѣреніямъ автора, сквозить въ каждой строкѣ его «самоутвержденія» и часто дѣлаеть *Ѳ. Сологуба* дѣйствительно высоко-комичнымъ тамъ, гдѣ онъ хочетъ быть глубоко-трагичнымъ, то во всемъ вышеприведенномъ мы встрѣтимъ типичное рѣшеніе знакомыхъ уже намъ вопросовъ съ точки зрењія сологубовскаго солипсизма. Все зло міра — въ случайному и кажущемуся разъединеніи; надо преодолѣть очевидность множества и увѣровать въ непреложность своего единства съ міромъ; надо не разсуждать, а вѣрить. Надо вѣрить, что и Лука, и Клеопа, и всѣ миллионы людей — только «личины», только безвольные автоматы, и что только мое «я» истинно, нераздѣлимо и едино. Въ царствѣ этихъ личинъ — зло, насилие, страданіе; но все это только фатаморгана, козни дьявола. «Въ дьявольскомъ огнѣ земного мучительства» горятъ и страдаютъ марionетки, разыгравающія нелѣпый діаволовъ водевиль; но я, Иванъ Иванычъ, этого міра не принимаю, болѣе того — я не признаю его реально существующимъ. Существую только Я *).

Все и во всемъ — *Ѳедоръ Сологубъ* и только *Ѳедоръ Сологубъ*: мы не хотимъ утверждать, чтобы именно такова была скрытая мысль нашего автора. Весьма возможно, что для того и пестрить онъ такъ этими личными мѣстоименіями съ прописной буквы, чтобы подчеркнуть общее значеніе этого единичнаго «я»; возможно, что онъ желаетъ только внушить своимъ слушателямъ, какъ каждый изъ нихъ долженъ относиться къ своему «я»: совершенное самоутвержденіе — задача каждого и всѣхъ. Но если и таковъ взглядъ *Ѳ. Сологуба*, то онъ еще стущаетъ тѣ противорѣчія, изъ которыхъ соткано все творчество этого автора. Какъ? Каждый можетъ примѣнить къ себѣ это сологубовское Я? «Каждый» — а значитъ и Клеопа и Лука? Но вѣдь это именно то разъединеніе, то раздѣленіе, отъ котораго *Ѳ. Сологубъ* бѣжалъ къ солипсизму! Вѣдь это снова возвращеніе къ тому міру дѣйствительности, который можно не принять, но уже нельзя не признать! И опять съ прежней силой возникаютъ старые карамазовскіе вопросы, опять міровое зло является не фатаморганой, но реальнымъ фактомъ, отъ котораго не зачураешься никакими словами; не «личины», а реальные, живые люди «горятъ живьемъ на дьявольскомъ огнѣ земного мучительства»... Если же отъ этихъ выводовъ *Ѳ. Сологубъ* укроется на вершинахъ послѣдовательнаго солипсизма и объявитъ, что все есть *Ѳедоръ Сологубъ* и *Ѳедоръ Сологубъ* есть все, то и это не подвинетъ ни на одинъ шагъ рѣшеніе карамазовскихъ вопросовъ. «Благословенно все и во всемъ, — утѣшаетъ насъ *Ѳ. Сологубъ*, — ...ибо все и во всемъ — Я, и только Я, и нѣть иного, и не было, и не будетъ»... Очень благодарны, благодаримъ покорно, но отъ такого утѣшенія отказываемся, такъ какъ логика такого утѣшенія

^{*}) См. на эту же тему статью *Ѳ. Сологуба* «Театръ единой воли».

намъ кажется очень подозрительной... Благословенно все и во всемъ, ибо все и во всемъ — Я; но если это «все» включаетъ въ себя и міровое зло, съ которымъ не можетъ примириться Иванъ Карамазовъ, то не отвѣтить ли послѣдній обратной фразой: проклинаю все и во всемъ, проклинаю и самое Я. И если даже я, Иванъ Карамазовъ, только состояніе сознанія какого-то всеобъемлющаго Я (будь то Господь Богъ или Федоръ Сологубъ — безразлично), то и въ такомъ случаѣ я не принимаю окружающаго меня міра. Я проклинаю его.

Одно изъ двухъ: или послѣдовательнѣйшій солипсизмъ, или признаніе бытія другихъ людей. Солипсизмъ, послѣдовательно проведенный, является логически неопровергимымъ, какъ уже давно извѣстно; но онъ совершенно бессиленъ разрѣшить карамазовскіе вопросы. Если жизнь другихъ людей и объясняется, какъ состояніе моего сознанія, то зато вѣдь моя жизнь, жизнь единаго сознающаго, остается совершенно необъяснимой и неосмысленной; если страданія людей оказываются только тѣнью, видимостью, такъ какъ и людей-то этихъ не существуетъ, то зато вѣдь мои страданія, мои безвинныя муки остаются неоправданными! Мы видѣли однако, что такой точки зрења чистаго солипсизма Ф. Сологубъ не выдерживаетъ до конца: кромѣ «я» у него появляется и сознающее «ты», которое дѣлаетъ солипсизмъ Ф. Сологуба уязвимымъ даже логически. На вершинахъ чистаго солипсизма человѣка съ еще большей силой охватываетъ ужасъ одиночества; и поистинѣ искать отъ одиночества спасенія въ солипсизмѣ не болѣе цѣлесообразно, чѣмъ, укрываясь отъ проливного дождя, броситься въ воду.

IX

Но если не солипсизмъ, то — признаніе бытія другихъ людей: это вторая и послѣдняя возможность; признаніе бытія другихъ, а значитъ признаніе дѣйствительности всего того міра человѣческой муки, безсмысленной жизни, безцѣльной смѣни явлений, отъ которого такъ безрезультатно всегда убѣгалъ Ф. Сологубъ и отъ которого тщетно пытался зачураться всякими громкими словами. Мы видѣли, сколько выходовъ изъ этого жизненнаго тупика перепробовалъ Ф. Сологубъ — и все безрезультатно; остался одинъ, послѣдній выходъ — и его надо испробовать. Этотъ выходъ — не отверженіе, а принятіе міра во всей его сложности, исканіе цѣли не въ будущемъ и трансцендентномъ, а въ имманентномъ и настоящемъ. Вмѣсто того, чтобы убѣгать отъ жизни, искать выхода на разныхъ необитаемыхъ вершинахъ, надо остановиться и посмотретьъ жизни въ глаза; вмѣсто того, чтобы обольщать себя иллюзіями и вмѣсто Альдонсы видѣть Дульцинею, надо Альдонсу обращать въ Дульцинею; а кромѣ того — и Альдонса, по свидѣтельству Сервантеса, была молодой и хорошенъкой... И Ф. Сологубъ рѣшается испробовать такой выходъ; этимъ объясняются тѣ примирительные мотивы, которые мы находимъ въ его творчествѣ.

Кстати, небольшое отступленіе: надо замѣтить, что всѣ тѣ попытки Ф. Сологуба, о которыхъ мы говорили выше, вовсе не шли въ отмѣчавшемся нами порядкѣ и послѣдовательности: почти всѣ онѣ были у него одно-временны, хотя въ разныя времена та или иная и выступала на первый планъ. Это надо особенно подчеркнуть, такъ какъ это характерная для Ф. Сологуба черта, которой онъ рѣзко отличается, напримѣръ, и отъ Л. Шестова и отъ Л. Андреева. Развитіе міровоззрѣнія послѣднихъ можетъ быть условно представлено одной длинной и послѣдовательно развивающейся нитью; у Ф. Сологуба, наоборотъ, мы имѣемъ цѣлый рядъ отдѣльныхъ нитей, развивающихся одновременно и то переплетающихся, то расходящихся. Вотъ почему съ самыхъ первыхъ его произведеній намѣчаются тѣ мотивы, которые потомъ, въ одинъ изъ моментовъ его творчества, дѣлаются временно главенствующими; вотъ почему на предыдущихъ страницахъ намъ часто приходилось возвращаться къ истокамъ его творчества

и повторять: «еще въ первомъ сборникѣ стиховъ ї. Сологуба»..., «еще въ одномъ изъ первыхъ его произведеній»... и т. п.; воть почему, наконецъ, у ї. Сологуба такая масса противорѣчій, быстрой смѣны настроеній и взглядовъ. Въ этомъ отношеніи онъ, быть можетъ, наиболѣе перемѣнчивый и «текучій» изъ нашихъ поэтовъ, хотя критика и читатели чаще всего считаютъ его неизмѣннымъ и установившимся. Такое мнѣніе основано на аберраціи зрѣнія: элементы этихъ «текучихъ» взглядовъ ї. Сологуба можно встрѣтить у него такъ давно, что дѣйствительно создается иллюзія, будто одинъ ї. Сологубъ въ быстрой смѣнѣ нашихъ литературныхъ теченій «яко столпъ, невредимъ стоитъ»...

Мотивы «пріятія жизни», проявляющіеся у ї. Сологуба въ творчествѣ послѣдняго времени, тоже встрѣчались еще въ самомъ началѣ этого творчества; уже давно онъ стремился не отринуть міръ, а сказать ему «да», не измышлять Дульцинею, а взглянуть на Альдонсу. «Благословляю, жизнь моя, твои печали» — этотъ примирительный мотивъ идетъ въ творчествѣ ї. Сологуба отъ самыхъ первыхъ его произведеній. Его сердце

.....жаждеть воли
Ненавидѣть и любить,
Изнывать отъ горькой боли,
Преходящей жизнью жить;

поэтъ «доволенъ настоящимъ — полднемъ радостнымъ и тѣмой»; онъ увѣщаваетъ насъ любить жизнь, «дней тоской не отравляя, все вокругъ себя любя», онъ «съ міромъ тѣснѣ сплетаетъ печальную душу свою»... (изъ второй книги стиховъ). И мотивы эти проходятъ черезъ все творчество ї. Сологуба, рядомъ съ мотивами отрицанія міра, рядомъ съ настроеніями скорби и отчаянья; любовь къ жизни и ко всему земному такъ же присуща ї. Сологубу, какъ и другія уже знакомыя намъ настроения. Въ третьей и четвертой книгѣ стиховъ мы снова и неоднократно встрѣчаемся съ этими мотивами пріятія міра и жизни. Вольный вѣтеръ поетъ нашему автору «про блаженство бытія»; поэтъ чувствуетъ свою неразрывную связь съ землею и со всѣмъ земнымъ, ибо

Возставилъ Богъ меня изъ влажной глины,
Но отъ земли не отдѣлилъ.
Родная мнѣ — вершины и долины,
Какъ я себѣ, весь міръ мнѣ миль.

Онъ принимаетъ весь міръ въ его цѣломъ, не отвергая ничего, онъ торопится принять его, пока есть время:

Я люблю мою темную землю,
И въ предчувствіи вѣчной разлуки
Не одну только радость приемлю,
Но, смиренно, и тяжкія муки.
Ничего не отвергну въ созданьи...

Такъ говорилъ поэтъ еще на рубежѣ между девяностыми и девяностыми годами, до периода своего воинственного солипсизма и абсолютного самоутвержденія. Теперь, стоя въ концѣ этого периода, въ самое послѣднее время ї. Сологубъ снова выдвигаетъ впередъ этотъ мотивъ своего творчества, это пріятіе міра и жизни. Конечно, это не значитъ, чтобы поэтъ отказался творить легенду: романтическія черты творчества ї. Сологуба настолько опредѣлены, что онъ не погасить ихъ въ себѣ никакимъ пріятіемъ міра; никогда поэтъ не разстанется со своей Дульцинеей Тобозской... Но

въ то же время онъ не отвергаетъ, а принимаетъ и реалистическую Альдонсу, онъ не хочетъ ограничиться однимъ рѣзкимъ «нѣть», однимъ категорическимъ отрицаніемъ міра. «Я хочу быть покорнымъ до конца, — говорить Ѣ. Сологубъ въ знакомой уже намъ статьѣ «Демоны поэтовъ», — я влекусь нынѣ къ тому полюсу поэзіи, гдѣ вѣчное слышится да всякому высказыванію жизни. Не стану собирать въ одинъ плѣнительный образъ случайно-милыя черты, не скажу: — «нѣть, не козломъ пахнетъ твоя кожа, не лукомъ несетъ изъ твоего рта, ты свѣжа и благоуханна, какъ саронская лілія, и дыханіе твое слаше духа кашмирскихъ розъ, и сама ты Дульцинея, прекраснѣйшая изъ женщинъ». Но покорно признаю: «да, ты Альдонса». Подойти покорно къ явленіямъ жизни, сказать всему да, принять и утвердить до конца все являемое — дѣло великой трудности»... Это уже не тотъ Сологубъ, который утверждалъ когда-то: «я съ тѣмъ, что явлено, враждую»; теперь онъ, не отказываясь отъ міра своей фантазіи, въ то же время не отвергаетъ и окружающаго его міра. Всякое истинное творчество, по мнѣнію Ѣ. Сологуба, должно быть сочетаніемъ «да» и «нѣть», реализма и романтизма или, какъ ихъ называетъ Ѣ. Сологубъ, ироническихъ и лирическихъ моментовъ. «Лирика всегда говорить міру нѣть, лирика всегда обращена къ міру желанныхъ возможностей, а не къ тому міру, который непосредственно данъ»; «иронія», наоборотъ, всегда говорить міру да и всегда обращена лицомъ къ міру непосредственно даннаго; лирика рисуетъ намъ Дульцинею, иронія описываетъ Альдонсу. Сочетаніе этихъ элементовъ является признакомъ всякой истинной поэзіи; въ видѣ примѣра Ѣ. Сологубъ указываетъ на героиню своего романа «Тяжелые сны» — Нюту Ермолину, которая «приняла міръ кисейный и міръ пестрядинный» и стала «дульцинированной Альдонсой»... И Ѣ. Сологубъ тоже хочетъ принять оба эти міра. Онъ продолжаетъ говорить нѣть данному міру для того, «чтобы восхвалить міръ, котораго нѣть, который долженствуетъ быть, который Я хочу»; онъ не отвергаетъ Дульцинею, но въ то же самое время онъ не отвергаетъ и Альдонсу. Онъ стремится къ сочетанію обоихъ элементовъ. И если въ своей Нютѣ Ермолиной онъ хочетъ видѣть, по его же выраженію, «дульцинированную Альдонсу», то въ одномъ изъ послѣднихъ своихъ произведеній, въ трагедіи «Побѣда смерти», онъ выводить на сцену «альдонсированную Дульцинею»... Въ прологѣ къ этой трагедіи, озаглавленномъ «Змѣиноокая въ надменномъ чертогѣ», мы имѣемъ передъ собою въ качествѣ дѣйствующаго лица съ одной стороны «Альдонсу, именуемую королевою Ортрудою», а съ другой — «Дульцинею, именуемую Альдонсою»... Дульцинея эта носить воду, моеть полы и всѣ считаютъ ее крестьянской дѣвкой Альдонсой и бываютъ ею; а она все ждетъ поэта, который «увѣнчаетъ красоту и низвергнетъ безобразіе»... Донъ Кихотъ въ Альдонсѣ видѣлъ Дульцинею; здѣсь, наоборотъ, Дульцинею принимаютъ за Альдонсу... И поэтъ долженъ увѣнчать красоту, не видную подъ маской обыденности, онъ долженъ увѣнчать, воспѣть, полюбить «истинную красоту этого міра, очаровательницу Дульцинею во образѣ змѣиноокой Альдонсы»... *).

Ѳ. Сологубъ — типичный романтикъ, а потому не трудно предсказать, что всѣ его попытки примириться съ Альдонсой раньше или позже обречены на неудачу; но любопытно уже то, что нашъ авторъ видѣть теперь невозможность оставаться при одной Дульцинеѣ, при одномъ мірѣ своей фантазіи, — такъ или иначе, но этотъ міръ надо дополнить міромъ реального, пріятіемъ Альдонсы. Надо принять данный міръ. И Ѣ. Сологубъ уже не считаетъ свое «я» единственнымъ въ мірѣ; онъ уже не утверждаетъ, какъ прежде: «я обмань личинъ отвергъ», «раздѣленные и многообразные лики — всѣ они только личины Мои»... Наоборотъ, онъ признаетъ теперь эти «личины», признаетъ существованіе многообразныхъ «ты», которые казались ему раньше только насмѣшкой надъ нимъ дьявола; онъ преодолѣваетъ былое свое горделивое юродство и снова входить человѣкомъ въ человѣческій міръ:

*) Этотъ же циклъ идей мы находимъ въ любопытномъ предисловіи Ѣ. Сологуба къ его переводамъ изъ П. Верлена, въ его статьѣ «Мечта Донъ-Кихота» («Золотое Руно», 1908 г., н. 1) и др.

Преодолѣлъ я дикій холодъ
Земныхъ страданій и невзгодъ,
И снова непорочно молодъ,
Какъ въ первозданный майскій годъ.
Вернувшись къ ясному смиренью,
Чужіе лики вновь люблю,
И снова радуюсь твореню,
И все цвѣтущее хвалю, —

говорить намъ поэтъ въ одномъ изъ послѣднихъ своихъ стихотвореній (кн. «Пламенныій Кругъ»). И, какъ видимъ, это дѣйствительно возвратъ къ тому настроенію и тѣмъ мотивамъ, которые мы слышали отъ ѡ. Сологуба еще въ началѣ его творчества.

И съ этой точки зрењя «пріятія міра» ѡ. Сологубъ находить оправданіе и міру и жизни. Мы уже видѣли, въ чемъ хочетъ найти это оправданіе ѡ. Сологубъ — въ «красотѣ», и тогда уже отмѣтили ту долю правды, которая скрыта въ такомъ отвѣтѣ; возобновимъ теперь это въ памяти на отдѣльномъ примѣрѣ. «Люблю красоту, — страстно говорить Людмила: — ...люблю цвѣты, духи, яркія одежды, голое тѣло. Говорять, есть душа. Не знаю, не видѣла. Да и на что она мнѣ? Пусть умру совсѣмъ, какъ русалка, какъ тучка подъ солнцемъ растаю. Я тѣло люблю — сильное, ловкое, голое, которое можетъ наслаждаться»... Ошибочно, разумѣется, думать, что въ этомъ — вся правда: правда шире этого узкаго самоограниченія красотою; но въ этомъ несомнѣнно есть доля правды, заключающаяся въ томъ, что смысла жизни надо искать не въ будущемъ, не на землѣ Ойле, не въ Zukunftstaat'е, не черезъ двѣсти-триста лѣтъ, а въ переживаніяхъ каждого даннаго момента. Жизнь наша получаетъ непосредственный — но не объективный, а субъективный — смыслъ, если мы поймемъ, что не будущее осмысливаетъ нашу жизнь, а настоящее, что не на небѣ, а на землѣ можемъ мы найти свои идеалы. И самъ ѡ. Сологубъ готовъ признать это:

....небо далеко,
И даже — неба нѣть.
Пойми — и жить легко,
Вѣдь тутъ же, съ нами, свѣтъ.
Огнемъ горить эфиръ,
И ярки наши дни...

Правда, тутъ же ѡ. Сологубъ говоритъ о себѣ: «но онъ любилъ мечтать о пресвятой звѣздѣ, какой не отыскать нигдѣ, — увы! — нигдѣ!» (кн. «Пламенныій Кругъ»). Да, «онъ любилъ мечтать» — мы это знаемъ, мы это видѣли; онъ пробовалъ и пробуетъ то спрятаться за стѣнами «творимой легенды», то утѣшиться мыслью о звѣздѣ Ойле, которой «нигдѣ, — увы! — нигдѣ» не отыскать... И иногда ему надоѣдаетъ искать смыслъ жизни «за предѣлами предѣльнаго». Искать смыслъ и цѣль жизни человѣка и жизни человѣчества гдѣ-то впереди, возлагать надежды на бессмертіе духа или бессмертіе человѣчества, на далекое грядущее — дѣло религіозной вѣры. Блаженъ, кто вѣруетъ; ѡ. Сологубъ не вѣритъ. Его правда въ томъ, что онъ строить свое оправданіе жизни, видѣть смыслъ ея не въ будущемъ, а въ настоящемъ:

Живи и знай, что ты живешь мгновеньемъ,
Всегда иной,
Грядущимъ тайнамъ, прежнимъ откровеньямъ
Равно чужой.
И думы знойныя о тайной цѣли
Всебытія
Умрутъ, какъ звонъ расколотой свирѣли
На днѣ ручья...

Пусть это не совсѣмъ такъ, пусть и прежнія откровенія и грядущія тайны вовсе не чужды человѣку, хотя онъ и живеть мгновенемъ; но во всякомъ случаѣ здѣсь подпisyвается смертный приговоръ думамъ о тайной цѣли бытія. Такихъ цѣлей нѣть ни у человѣка, ни у человѣчества; каждый человѣкъ — объективное средство и субъективная самоцѣль. Всякій причинно-обусловленный рядъ можетъ быть рассматриваемъ нами, какъ рядъ цѣлесообразный, телеологически-обусловленный, если только звеномъ этого ряда является человѣкъ. Я живу во времени, а потому и являюсь слѣдствіемъ безконечной цѣпи причинъ, и въ свою очередь оказываюсь однимъ изъ промежуточныхъ причинныхъ условій для безконечной цѣпи грядущихъ слѣдствій; я слѣдствіе, но я и причина. *Sub specie* телеологии это значитъ, что я являюсь цѣлью безконечной цѣпи средствъ и въ свою очередь оказываюсь средствомъ для безконечной цѣпи грядущихъ цѣлей; я средство, но я и цѣль. Конечной цѣли нѣть и не можетъ быть, какъ нѣть и не можетъ быть начальной причины; каждое данное звено причинно-телеологического ряда, каждое «я» есть слѣдствіе и цѣль и въ то же время причина и средство; въ каждый данный моментъ «я» есть пунктъ пресъченія этихъ четырехъ элементовъ. Мы ищемъ цѣли въ опредѣленномъ пункѣ пути, а между тѣмъ не замѣчаемъ, что цѣлью является каждый данный моментъ, что цѣль не въ будущемъ, что цѣль — въ настоящемъ...

Вотъ та точка зрењія, — на развитіи ея мы еще подробно остановимся — съ которой и Θ . Сологубъ иногда принимаетъ міръ и осмысливаетъ существованіе. Не черезъ двѣсти-триста лѣтъ, не въ *Zukunftstaat*'e лежитъ цѣль человѣческой жизни, цѣль жизни каждого человѣка и всего человѣчества, а въ каждомъ данномъ моментѣ. И если въ каждый данный моментъ въ моемъ «я» пересъкаются цѣль, слѣдствіе, средство и причина, то мнѣ, для сознанія осмысленности своей жизни, остается только и въ каждый данный моментъ и въ ту сумму ихъ, которая зовется моей жизнью, вмѣстить рядъ наиболѣе полныхъ, широкихъ и глубокихъ переживаній. Цѣль — въ настоящемъ, и этимъ оправдывается жизнь; это сознаетъ Нюта Ермолина («Тяжелые сны»), за которой несомнѣнно стоитъ самъ Θ . Сологубъ — недаромъ же онъ эту Нюту торжественно именуетъ «Моею вѣчною Невѣстою»... А Нюта и является именно выразительницей мысли о цѣли въ настоящемъ, обѣ осмысленности жизни какъ таковой. «Я люблю радость, — говоритъ она, — ...и все въ жизни. Хорошо испытывать разное. Струи моэта и боль отъ лозины — во всемъ есть полнота ощущеній»... Этой полнотой ощущеній и осмысливается жизнь, какъ еще яснѣе высказываетъ Нюта въ своемъ разговорѣ съ Логинымъ. Послѣдній утверждаетъ, что жизнь въ одно и то же время и необходима и невозможна. «Невозможность жизни! — перебиваетъ Нюта: — живутъ же...

— Живутъ? Не думаю (отвѣчаетъ Логинъ). Умираютъ непрерывно — въ томъ и вся жизнь. Только хочешь схватиться за прекрасную минуту — и нѣтъ ея, умерла.

— Какая гордость! Зачѣмъ требовать отъ жизни того, чего въ ней нѣть и не можетъ быть? Сколько поколѣній прожило и умерло покорно.

— И увѣрены были, что такъ и надо, что у жизни есть смыслъ? А стоитъ доказать, что нѣть смысла въ жизни — и жизнь сдѣлается невозможной...

— Нѣть, я съ этимъ несогласна. У жизни есть смыслъ, да и пусть нѣть его — мы возьмемъ и нелѣпую жизнь и будемъ рады ей.

— А въ чёмъ смыслъ жизни?..

— Смыслъ жизни, — сказала наконецъ Нюта, — это только наше человѣческое понятіе. Мы сами создаемъ смыслъ и вкладываемъ его въ жизнь. Дѣло въ томъ, чтобы жизнь была полна — тогда въ ней есть и смыслъ и счастье»...

Логинъ не хочетъ принять такой жизни, которая не имѣть объективнаго смысла; однако и въ его уста авторъ вкладываетъ то убѣжденіе, что цѣли мы должны искать не въ будущемъ, а въ настоящемъ. «У насъ въ лѣсахъ — говорить ему Нюта — цвѣтеть

теперь много ландышей: бѣлые въ прозелень цвѣты, милые такие. А вамъ случалось видѣть ихъ ягоды?

— Нѣтъ, не доводилось.

— Да и мало кто ихъ видѣлъ.

— А вы видѣли?

— Я видѣла. Ярко-красныя ягоды. И никто-то, почти никто ихъ не видить: ребятишки жадные обрываютъ цвѣты и продаютъ.

— Здѣсь лучше цвѣть, чѣмъ плодъ, — сказалъ Логинъ: — красота цвѣтка — достигнутая цѣль жизни ландыша»...

Господа объективисты — мистики или общественники, безразлично — съ ужасомъ отшатнутся отъ подобнаго воззрѣнія и судорожно ухватятся за вѣру въ Бога или за вѣру въ человѣчество. Они ищутъ объективнаго смысла жизни и утверждаютъ, что, говоря фигурально, цѣль жизни ландыша именно плодъ, а цѣль жизни человѣка — потомство, человѣчество, душа, Богъ... Но въ Бога и душу надо вѣрить — и «блаженны вѣрующіе», а ссылка на человѣчество и потомство — вѣдь это отсыланіе отъ Понтия къ Пилату. Попытка найти объективный смыслъ жизни въ области вѣры — попытка съ негодными средствами; смыслъ жизни — исключительно субъективный и другимъ быть не можетъ. И тщетно стремленіе объективистовъ, не желающихъ принять субъективный смыслъ жизни, перенести объективный смыслъ за грани исторіи и за грани земной жизни: жизнь должна имѣть объясненіе въ самой себѣ, или такого объясненія вовсе нѣтъ. Недаромъ поэтому Ф. Сологубъ, въ своей трагедіи «Даръ мудрыхъ пчель», заставляетъ тѣни умершихъ искать смысла своей минувшей жизни въ ней самой, а не въ туманахъ Аида. Персефона тоскуетъ по живой жизни, и тѣни умершихъ вспоминаютъ обѣ этой жизни, какъ имѣвшей ясный субъективный смыслъ:

Персефона. О, живое вино человѣческой жизни, проливаемое въ изобилии!

Тѣни умершихъ. Мы страдали.

Персефона. О, живая снѣдь человѣческой плоти!

Тѣни умершихъ. Мы хотѣли.

Персефона. О, тѣло земное, пронизанное солнцемъ!

Тѣни умершихъ. Мы любили.

Персефона. Мойры, жестокія, какую ткань вы мнѣ ткете!

Тѣни умершихъ. Мы свершили весь нашъ путь. Не ждемъ ни радости, ни печали.

Мы страдали, мы хотѣли, мы любили — такъ говорять о себѣ тѣни умершихъ; не въ прошедшемъ, а въ настоящемъ времени повторяемъ о себѣ эти же слова мы, живые люди. Мы страдаемъ и наслаждаемся, мы любимъ и ненавидимъ, мы боремся и побѣждаемъ или погибаемъ; въ полнотѣ этихъ переживаній — весь смыслъ нашей жизни, другого не было, нѣтъ и не будетъ.

X.

Таковы первые блѣдные штрихи, первыя очертанія этой теоріи. Немедленно возникаетъ цѣлый рядъ сложныхъ и острыхъ вопросовъ, или, вѣрнѣе, всего одинъ вопросъ: какъ же отвѣчаетъ эта теорія на всѣ тѣ мучительныя проблемы, съ постановки которыхъ мы начали? А затѣмъ: каковы же ближайшіе выводы изъ этого положенія? Къ чему мы придемъ въ концѣ пути? А смыслъ жизни человѣчества? а всемирная исторія? а мировое зло? И если настоящее есть цѣль для каждого отдельного «я», то не придемъ ли мы какъ-разъ къ теоріи абсолютнаго эгоизма? И такъ далѣе, и такъ далѣе.

На всѣ эти вопросы мы найдемъ отвѣтъ попутно съ изученіемъ художественного и философского творчества Л. Андреева и Л. Шестова — тѣхъ двухъ писателей, кото-

рые, вмѣстѣ съ ї. Сологубомъ, наиболѣе сильно отзываются на вопросъ о смыслѣ и цѣли жизни, — вопросъ, составляющій главную ось творчества всѣхъ ихъ троихъ. Изученіе же ї. Сологуба доведено нами до конца и мы здѣсь съ нимъ простиемся, подведя только краткій итогъ тѣмъ результатамъ, къ которымъ мы пришли на предыдущихъ страницахъ.

Вся жизнь въ ея цѣломъ, жизнь, какъ таковая — сплошное мѣщанство: вотъ положеніе, проходящее черезъ все творчество ї. Сологуба и сближающее его прежде всего съ Чеховымъ, а черезъ него и съ Лермонтовымъ. Вся жизнь — сплошная передоновщина: вотъ впечатлѣніе, вынесенное ї. Сологубомъ отъ столкновенія съ «дебелой бабищей жизнью»... Если это такъ, то праздны и тщетны всѣ попытки найти общій смыслъ и жизни человѣка и жизни человѣчества; единственнымъ спасеніемъ изъ этого омута мѣщанства для захлебывающихся въ немъ отдѣльныхъ людей является либо «блаженное безуміе», либо избавительница смерть. Есть, впрочемъ, и иной выходъ; этотъ выходъ — одиночество, пытающееся найти себѣ метафизическое оправданіе въ солипсизмѣ и ищущее дорогу индивидуального спасенія въ культѣ красоты. Послѣднее ведеть въ свою очередь къ двумъ противоположнымъ результатамъ, которые могутъ быть охарактеризованы нами какъ романтизмъ и реализмъ поэта. Съ одной стороны ї. Сологубъ воздвигаетъ причудливые міры своей фантазіи, въ которыхъ онъ ищетъ смысла и спасенія отъ безсмысленности окружающего мѣщанства; съ другой стороны онъ начинаетъ цѣнить красоту не только въ своемъ вымышленномъ, но и въ дѣйствительномъ мірѣ. Оба эти міра онъ совмѣщаетъ: надо жить всей полнотой переживаній въ данномъ намъ мірѣ трехъ измѣреній и надо восполнять эти переживанія творчествомъ міра четырехъ измѣреній, полетомъ «за предѣлы предѣльного»... Въ общей полнотѣ переживаній и заключается единственный смыслъ жизни, поднявшейся надъ уровнемъ передоновщины; но смыслъ этотъ — исключительно субъективный, а объективнаго нѣть и быть не можетъ. Внѣ этого субъективнаго смысла жизнь человѣка и жизнь человѣчества только —

Безжизненный чертогъ,
Случайная дорога...
Не想要 жизни Богъ,
И жизнь не想要 Бога.

Не想要 жизни Богъ — ибо онъ не вложилъ въ жизнь человѣка и человѣчества того объективнаго смысла, котораго тщетно ищутъ въ ней и мистики и позитивисты; и жизнь не想要 Бога — ибо довольствуется она тѣмъ субъективнымъ смысломъ, который не нуждается ни въ санкціи Бога, ни въ санкціи Человѣчества... Объективнаго смысла человѣческой жизни нѣть, ибо жизнь эта — «капризъ пьяной Айсы»; объективнаго смысла исторіи человѣчества нѣть, ибо исторія эта — «Анекдотъ, рожденный Айсою» (см. «Перевалъ», 1907 г. № 1, статья ї. Сологуба); есть только субъективный смыслъ человѣческой жизни и заключается онъ въ полнотѣ переживаній, — а другого смысла не было, нѣть и не будетъ.

Такъ говорить намъ ї. Сологубъ. Хотѣлъ ли онъ сказать это — для насъ безразлично, но это сказалось во всемъ его творчествѣ; и въ этомъ его связь не только съ Чеховымъ и Лермонтовымъ, но и съ Достоевскимъ. И ї. Сологубъ, и Л. Андреевъ, и Л. Шестовъ — всѣ они вышли изъ Ивана Карамазова, какъ ни различны они по настроению, по взглядамъ, по значенію въ русской литературѣ. Значеніе ї. Сологуба въ исторіи русской литературы — не велико: онъ слишкомъ интимный, слишкомъ индивидуальный поэтъ, чтобы занять своимъ именемъ десятилетіе, создать эпоху, школу... Въ этомъ отношеніи онъ родствененъ Л. Шестову и совершенно противоположенъ Л. Андрееву: и ї. Сологубъ и Л. Шестовъ — писатели «для немногихъ», они никогда

не будуть пользоваться всеобщимъ признаніемъ. Это не порицаніе и не хвала: съ однай стороны художникомъ «для немногихъ» является такой глубокій и тонкій писатель, какъ Тютчевъ; а съ другой — писателемъ «для всѣхъ» оказывается такой тонкій и проникновенный художникъ, какъ Чеховъ. Тютчевъ — одинокая вершина въ исторіи русской литературы, Чеховъ — соединенная съ прошлымъ и будущимъ горная цѣпь; Тютчевъ связанъ внутренней связью съ отдѣльными великанами русской литературы (съ Пушкинымъ, съ Баратынскимъ), а Чеховъ, кромѣ того, еще со всей русской литературой и русской жизнью въ ея цѣломъ; Тютчевъ — глубочайший моментъ русской литературы, Чеховъ — цѣлая эпоха, одинаково и широкая и глубокая. Нѣть сомнѣнія, что имя Л. Андреева будетъ современемъ обозначать собою отдѣльную эпоху русской литературы: Чеховъ, М. Горькій, Л. Андреевъ — такова будетъ послѣдовательная цѣпь именъ, характеризующихъ русскую литературу конца XIX-го и начала XX-го вѣка; Ф. Сологубъ (равно какъ и Л. Шестовъ) въ эту цѣпь не войдетъ. Онъ слишкомъ индивидуальный, слишкомъ интимный писатель, онъ стоить въ русской литературѣ особнякомъ и особнякомъ будетъ изучаться историками литературы. Про Ф. Сологуба можно сказать словами Тэна объ одномъ изъ французскихъ писателей: онъ занимаетъ въ литературѣ высокое, но узкое мѣсто. Вѣрнѣе наоборотъ: Ф. Сологубъ занимаетъ въ нашей литературѣ узкое, но высокое мѣсто. Его «Мелкій Бѣсь» одинъ закрѣпляетъ за нимъ такое мѣсто въ литературѣ, если даже не говорить объ его стихахъ и о такихъ маленькихъ шедеврахъ, какъ многіе мелкие разсказы Ф. Сологуба — особенно тѣ, въ которыхъ на сцену выводятся дѣти (напр., «Въ плѣну», «Два готика», «Землѣ земное» и др.). Такое же узкое, но высокое мѣсто занимаетъ Ф. Сологубъ и своими стихами: въ исторіи русской поэзіи девяностые и девятысотые годы будутъ охарактеризованы именами К. Бальмонта и В. Брюсова, а Ф. Сологубъ со своей тонкой, интимной поэзіей и здѣсь займетъ обособленное мѣсто — узкое, но высокое. Это не мѣшаетъ ему быть тѣсно связаннымъ съ отдѣльными великанами русской литературы — съ Лермонтовымъ, съ Чеховымъ и съ Достоевскимъ; съ первыми двумя онъ связанъ своимъ отношеніемъ къ мѣщанству жизни, а съ послѣднимъ — своимъ отношеніемъ къ карамазовскимъ вопросамъ, которые своимъ ядомъ отравили его сердце.

Это — главное, это — существенное въ творчествѣ Ф. Сологуба. И по сравненію съ этимъ ничтожными и мелкими являются всѣ черты самовосхваленія, самообожанія и вообще того горделиваго юродства, которыя мы находимъ не у одного Ф. Сологуба, но и у многихъ родственныхъ ему современныхъ писателей. Многихъ читателей приводятъ въ негодованіе такие перлы, какъ, напримѣръ, предисловіе Ф. Сологуба къ его трагедіи «Побѣда смерти»... «Развѣ стихи его не прекрасны? — говорить въ третьемъ лицѣ о самомъ себѣ Ф. Сологубъ въ этомъ предисловіи: — развѣ проза его не благоуханна? развѣ не обладаетъ онъ чарами послушного ему слова?»... И читатель со смѣхомъ или негодованіемъ отодвигаетъ отъ себя книгу самоупивающагося автора... Но, конечно, поступать такъ, значитъ изъ-за деревьевъ не видѣть лѣса. Надо подняться выше подобного мелкаго самовосхваленія, надо обращать фокусъ своего вниманія не на эти мелкія авторскія причуды, всегда такъ или иначе объяснимыя нравами литературной кружковщины или условіями личной психики; надо «смотретьъ въ корень» творчества писателя, искать общей связующей нити этого творчества. И въ томъ же предисловіи, изъ которого многіе злорадно вырываются только-что приведенную фразу, есть другая, гораздо больше заслуживающая вниманія. «Всѣми словами, какія находить, онъ говорить объ одномъ и томъ же. Къ одному и тому же зоветъ онъ неутомимо», — говоритъ о себѣ самъ Ф. Сологубъ въ этомъ же предисловіи; и на эти слова надо обратить вниманіе, такъ какъ дѣйствительно они подчеркиваютъ то единство творчества Ф. Сологуба, о которомъ мы говорили на предыдущихъ страницахъ. Нити творчества Ф. Сологуба — многочисленны, сложны и идутъ переплетаясь; но направление этого пути — дѣйствительно едино. «Безуміе», «одиночество», «любовь», «кра-

сата», «смерть» — какъ бы ни отвѣчалъ еще Θ. Сологубъ на стоящіе передъ нашимъ сознаніемъ карамазовскіе вопросы, но несомнѣнно во всякомъ случаѣ, что «всѣми словами, какія находитьъ, Θ. Сологубъ говоритьъ объ одномъ и томъ же»... Онъ говоритьъ о смыслѣ жизни, о цѣли жизни, объ оправданіи жизни...

Что онъ говорить объ этомъ — мы знаемъ; какъ отвѣчаетъ онъ на эти вопросы — мы слышали. На творчествѣ Л. Андреева и Л. Шестова мы прослѣдимъ дальнѣйшее развитіе того рѣшенія вопроса о смыслѣ жизни, которое въ общихъ чертахъ было намѣчено нами въ творчествѣ Θ. Сологуба и которое должно въ концѣ концовъ сдѣлаться яснымъ не только въ общихъ чертахъ, но и во всѣхъ подробностяхъ.

Леонидъ Андреевъ

I.

Въ драмѣ Л. Андреева «Къ звѣздамъ» есть одно мѣсто, которое слѣдовало бы взять эпиграфомъ ко всему творчеству этого автора. Вотъ это мѣсто: «человѣкъ думаетъ только о своей жизни и о своей смерти — и отъ этого ему такъ страшно жить и такъ скучно, какъ блохѣ, заблудившейся въ склепѣ... Чтобы заполнить страшную пустоту, онъ много выдумываетъ, красиво и сильно; но и въ вымыслахъ онъ говорить только о своей смерти, только о своей жизни, и страхъ его растетъ. И становится онъ похожъ на содержателя музея изъ восковыхъ фигуръ. Днемъ онъ болтаетъ съ посѣтителями и береть съ нихъ деньги, а ночью — одинокій онъ бродить съ ужасомъ среди смертей, неживого, бездушнаго»... Этотъ содержатель музея восковыхъ фигуръ — самъ Л. Андреевъ. Всѣ главные его герои — это намѣренно сдѣланныя изъ воска фигуры, ибо въ каждомъ изъ нихъ есть та доля нарочитаго символизма, которая дѣлаетъ ихъ не столько живыми типами, сколько символами. И иногда Л. Андреевъ дѣйствительно «болтаетъ съ посѣтителями», скрывая гнетущіе вопросы подъ разными масками; но чаще — а за послѣдніе годы творчества постоянно — «одинокій онъ бродить съ ужасомъ среди смертей, неживого, бездушнаго», и «чтобы заполнить страшную пустоту, онъ много выдумываетъ, красиво и сильно, но и въ вымыслахъ онъ говорить только о своей смерти, только о своей жизни, и страхъ его растетъ»... Да, это дѣйствительно такъ; этими словами Л. Андреевъ самъ вскрываетъ лейтъ-мотивъ своего творчества.

Такимъ лейтъ-мотивомъ творчества Л. Андреева является, какъ уже неоднократно отмѣчалось критикой, *Смерть*. Л. Андреевъ — писатель однодумъ: такъ смотрѣть на него критика, такъ смотрѣть на него читающая публика, и это въ значительной мѣрѣ справедливо. Конечно, отсюда вовсе еще не слѣдуетъ, что Л. Андреевъ писатель однотонный, однообразный, упорно зудящій все одну и ту же ноту; наоборотъ, онъ хочетъ, онъ старается — и это въ значительной степени ему удается — быть разнообразнымъ, красочнымъ, неожиданнымъ, новымъ; отъ избытка старанія онъ иногда впадаетъ даже въ противоположную крайность, становится слишкомъ цвѣтистымъ, вымученно новымъ; онъ постоянно ищетъ все новыхъ и новыхъ эффектовъ, нетронутыхъ и неразработанныхъ гармоническихъ рисунковъ. Но при всемъ этомъ онъ безсиленъ измѣнить канву своего рисунка; при всемъ старательномъ разнообразіи своихъ мелодій онъ фатально проводить ихъ на фонѣ одного и того же «органныго пункта», выражаясь музыкальнымъ терминомъ. У Мусоргскаго есть одна небольшая пьеска «Il vecchio castello»: на протяженіи сотни тактовъ этой музыкальной картинки Мусоргскій даетъ рядъ гармоническихъ рисунковъ на одномъ и томъ же гнетущемъ фонѣ органнаго пункта — безпрерывнаго продолженія все одной и той же основной

ноты, сопровождающей мелодію и проходящей черезъ всю пьесу. Таково же и творчество Л. Андреева, причемъ «органнымъ пунктомъ» его творчества является Смерть. И иногда этотъ «органный пунктъ» заглушаетъ собою всѣ остальные мотивы творчества Л. Андреева, подобно тому, какъ въ «Царь Голодъ» въ ночь великаго бунта звукъ хриплага рога Смерти «на нѣкоторое время становится почти непрерывнымъ. Вотъ онъ заглушаетъ колоколь, вотъ заглушаетъ и заставляетъ молчать музыку, вотъ онъ наполняетъ залъ, хриплый, торжествующій, бѣшеный»... Такъ бываетъ иногда и въ произведеніяхъ Л. Андреева; всюду и всегда онъ — писатель однодумъ, и Смерть является единой думой, заполнившей все его творчество, все его міровоззрѣніе. Самъ о себѣ говорить Л. Андреевъ, характеризуя состояніе духа одного изъ своихъ героевъ, для котораго «всѣ слова значили одно: смерть. И всѣ мысли, какія были у Павла, значили одно: смерть. Изъ сада шелъ густой и сильный запахъ травы, деревьевъ и распустившагося жасмина, и запахъ этотъ значилъ все то же: смерть»... (III, 149 — 159. Ср. со слѣдующимъ мѣстомъ изъ «Разсказа о семи повѣщеныхъ»: «Было страшно произнести слово, какъ будто каждое слово въ языкѣ потеряло свое значеніе и значило только одно: смерть»...). Мыслю о смерти пронизанъ для Л. Андреева весь міръ, все бытіе; *sub specie mortis* смотрить онъ на все окружающее.

Мысль эта неразрывно и тѣсно связана у Л. Андреева съ той проблемой, разсмотрѣнію которой посвящена настоящая книга — съ проблемой о смыслѣ человѣческой жизни. Это та общая ось вращенія, которая проходитъ черезъ творчество и Ф. Сологуба, и Л. Андреева, и Л. Шестова; но отношеніе къ вопросу о смыслѣ жизни у каждого изъ нихъ совершенно своеобразно, каждый изъ нихъ подходитъ съ иной стороны къ этой проблемѣ. Мы видѣли, что Ф. Сологубъ въ ужасѣ останавливается передъ дебелой и румянной, но безобразной бабищей Жизнью, передъ ея безпросвѣтнымъ мѣщанствомъ, ея неизбѣжной передоновщиной; «если вся жизнь есть мѣщанство, то въ чёмъ же ея смыслъ?» — такъ спрашиваетъ Ф. Сологубъ — и не находить окончательного отвѣта. Отсюда его надежды на избавительницу смерть, которая одна можетъ побѣдить всю безмысленность передоновщины и все міровое зло:

О, владычица смерть, я ропталъ на тебя,
Что ты, злая, царишь, все земное губя;
И пришла ты ко мнѣ, и въ сіяніи дня
На людскіе пути повела ты меня.
Увидалъ я людей въ озарены твоемъ,
Омраченныхъ тоской, и безсильемъ, и зломъ,
И я понялъ, что зло подъ дыханьемъ твоимъ
Вмѣстѣ съ жизнью людей исчезаетъ какъ дымъ.

Такъ смотреть на жизнь и на смерть Ф. Сологубъ: если жизнь безмысленна, то смерть спасаетъ и избавляетъ отъ безмысленной жизни. Л. Андреевъ не стоитъ на такой точкѣ зрѣнія; для него смерть, прерывающая нить жизни, является наиболѣе безмысленнымъ изъ всего въ мірѣ. На вопросъ Ф. Сологуба: «если жизнь — мѣщанство, то въ чёмъ ея смыслъ?» — Л. Андреевъ отвѣчаетъ другимъ вопросомъ: «если есть смерть, то каковъ же смыслъ жизни?» Насколько безмысленна для Ф. Сологуба вся жизнь, настолько же безмысленна для Л. Андреева смерть; и если для Ф. Сологуба жизнь есть дебелая, румянная, но безобразная бабища, то для Л. Андреева «жизнь такъ прекрасна, что хотѣлось умереть — чтобы жить вѣчно» (III, 150), а смерть есть «мракъ пустоты и ужасъ Безконечнаго»... «Ужасъ Безконечнаго» — это очень характерно; Л. Андреевъ хочетъ отыскать смыслъ нашей земной, конечной жизни и не ищетъ решенія въ области нумenalнаго или за предѣлами трехъ измѣреній.

Л. Андреевъ не можетъ примириться съ нелѣпостью факта смерти; но это не мѣшаетъ ему и въ самой жизни видѣть много передоновщины, мѣщанства, безмыс-

лennости и зла. Въ то время какъ для Θ. Сологуба вся жизнь, весь мір въ своей сущности — сплошная передоновщина, для Л. Андреева прекрасная жизнь только запачкана этимъ мѣщанствомъ; для него это мѣщанство — только болѣзнь, только состояніе, а не свойство человѣка. И эту тусклую передоновщину жизни онъ безпощадно осуждаетъ, примыкая нѣкоторыми мотивами своего творчества къ Чехову, нѣкоторыми — къ Горькому. Но въ этой области Л. Андреевъ бываетъ только мимоходомъ, болышею частью въ своихъ мелкихъ разсказахъ начала девятисотыхъ годовъ. Одинъ изъ лучшихъ его рассказовъ этого рода — «Нѣть прощенія»; въ немъ проходить передъ нами одинъ день жизни типичаго представителя тусклаго мѣщанства. Жизнь этого учителя гимназіи, Митрофана Васильевича Крылова, — дешевая жизнь, какъ коночный билетъ съ надорваннымъ угломъ. Отъ дома до гимназіи и обратно: всѣ дни можно сочтать по билетамъ, а сама жизнь похожа на клубокъ, изъ котораго грязные пальцы вытягиваютъ бумажную ленту и отрываютъ по билету — по дню»... И эта учительская шкура была самому ему такъ скучна и противна, что онъ съ удовольствиемъ вошелъ въ роль шпиона, шутки ради пугая этимъ какую-то молоденьку курсистку. Но когда шутка эта зашла слишкомъ далеко, когда онъ испугался, что его дѣйствительно могутъ навсегда счесть за шпиона и когда онъ сталъ мучительно искать во всей своей жизни какой-нибудь яркій фактъ, какое-нибудь твердое убѣжденіе, неоспоримо доказывающее, что онъ не шпіонъ — то онъ не могъ найти такого факта, такого убѣжденія. «Пусть кто-нибудь, та же дѣвшка обвинить его въ шпіонствѣ — найдется въ его жизни что-нибудь опредѣленное, яркое, убѣдительное, чтобъ могъ бы онъ противопоставить этому гнусному обвиненію?»... ««Мои убѣжденія, — бормочетъ онъ, — мои убѣжденія. Всѣ знаютъ. Мои убѣжденія. Вотъ, напримѣръ...» — Онъ ищетъ. Онъ ловить въ памяти обрывки разговоровъ, ищетъ чего-нибудь яркаго, сильнаго, доказательнаго — и не находить ничего. Попадаются нелѣпые фразы: «я убѣжденъ, Ивановъ, что вы списали задачу у Сироткина». Но развѣ это убѣжденія? Пробѣгаютъ обрывки газетныхъ статей, чьи-то рѣчи, какъ будто и убѣдительныя, — но гдѣ то, что говорилъ онъ самъ, что думалъ онъ самъ? Нѣту. Говориль, какъ всѣ, думалъ, какъ всѣ; и найти его собственныя слова, его собственныя мысли такъ же невозможно, какъ въ кучѣ зеренъ найти такое же ничѣмъ неотмѣченное зерно»... «Митрофанъ Васильевичъ вскакиваетъ и идетъ. — «Вздоръ, вздоръ! Нервы просто развинтились. Да и что такое убѣжденія? Одно слово. Вычиталъ слово, вотъ тебѣ и убѣжденіе. Катодъ, логариѳмъ! Поступки, вотъ главное! Хорошъ шпіонъ, который...» — Но и поступковъ нѣту. Есть дѣйствія — служебныя, семейныя и безразличныя, а поступковъ нѣту. Кто-то неутомимо и настойчиво требуетъ: скажите, что вы сдѣлали? И онъ ищетъ съ отчаяніемъ, съ тоской. Какъ по клавишамъ пробѣгаеть по всѣмъ прожитымъ годамъ, и каждый годъ издаєтъ одинъ и тотъ же пустой и деревянный звукъ»... Опускаю многія прелестныя черточки этого выдержаннаго рассказа, не желая удлинять цитатами изложеніе; но и изъ этого немногаго ясно, какая и въ чёмъ разница между двумя учителями гимназій — Передоновымъ и Крыловымъ, то-есть, иными словами — какая и въ чёмъ разница воззрѣній на мѣщанство Θ. Сологуба и Л. Андреева. Для Л. Андреева Крыловъ — представитель громадной массы, большинства, этическаго мѣщанства, но далеко не всякой человѣкъ, далеко не представитель жизни вообще; рядомъ съ нимъ въ разсказѣ идетъ рѣчь о людяхъ другого типа, о другой жизни — полной, интересной и разнообразной, проникнутой стройной гармоніей борьбы и быстрой мужественной радостью (III, 251). Но и независимо отъ этого ясно, что кромѣ гг. Крыловыхъ есть люди, обладающіе не дѣйствіями, а поступками, убѣжденіями, а не чужими мнѣніями; есть люди — и такихъ не мало — которые имѣютъ въ своей жизни то опредѣленное, яркое и убѣдительное, чего нѣть и не можетъ быть у Крылова и у всѣхъ иже съ нимъ. Θ. Сологубъ не призналь бы такой отводъ закономѣрнымъ, такъ какъ для него всякая жизнь, жизнь сама по себѣ — сплошная передоновщина; Передоновъ — это всѣ мы безъ изъятія, безъ исключенія,

Передоновъ — это сама дебелая и румяная, но безобразная бабища жизнь. То, что для Л. Андреева является только состояніемъ большинства, для Ф. Сологуба оказывается неотъемлемымъ свойствомъ человѣчества; то, что для Ф. Сологуба является нормой, для Л. Андреева оказывается случаемъ. Это мѣщанство жизни Л. Андреевъ клеймить мимоходомъ въ «Бень-Товитѣ», добродушно (но и трагично) смеется надъ нимъ въ «Оригинальномъ человѣкѣ», но иногда (и въ этихъ же рассказахъ) задыхается подъ его тяжестью и испытываетъ тогда настоящій страхъ жизни. Случается это съ нимъ тогда, когда онъ подходитъ къ вопросу о причинѣ и смыслѣ зла, царящаго въ мірѣ.

II.

Отецъ Сашки (изъ разсказа «Ангелочекъ») больной, молчаливый, цѣлыми днями лежалъ въ своей каморкѣ и «думалъ о несправедливости и ужасѣ человѣческой жизни»; обѣ ужасѣ этой жизни говорить и Маруся («Къ звѣздамъ»): «...Какъ можно жить среди тѣхъ, кто избиваетъ своихъ пророковъ? Куда мнѣ уйти — я не могу больше. Я не могу смотрѣть на лицо человѣка — мнѣ страшно! Лицо человѣка — это такъ ужасно: лицо человѣка»... Но зачѣмъ братъ такой случай — избиеніе пророковъ? Ужасъ жизни, который долженъ быть побѣждѣнъ (ибо иначе и жить нельзя), коренится въ повседневныхъ мелочахъ, а не только въ рѣзкихъ и крупныхъ отдѣльныхъ явленіяхъ; даже болѣе того, ужасъ этотъ сильнѣе и невыносимѣе при взглядѣ именно на обыденную, повседневную жизнь. Вотъ почему, между прочимъ, — независимо отъ другихъ причинъ — такое сильное впечатлѣніе производитъ «Жизнь Василія Оивейскаго» и такое слабое — «Красный Смѣхъ». На первомъ изъ этихъ разсказовъ мы сейчасъ остановимся подробно; а о второмъ скажемъ только нѣсколько словъ, такъ какъ это одно изъ самыхъ слабыхъ произведеній Л. Андреева. Не говоря уже о томъ, что построеніе этого разсказа совершенно невозможное, противорѣчивое *), но и самая идея его не производить того дѣйствія, на которое разсчитывалъ авторъ. Братъ частныя явленія и на нихъ вскрывать весь ужасъ жизни — это сильно; вскрывать ужасъ жизни на явленіяхъ массовыхъ — это весьма и весьма слабый приемъ художественного творчества. Война вещь ужасная; «тридцать тысячи убитыхъ», о которыхъ говорится въ «Красномъ Смѣхѣ» — это страшно подумать; но не кажется ли вамъ, что смерть ребенка, затравленного псами или убитаго обвалившимся домовымъ карнизомъ — еще страшнѣе, еще безмысленнѣе? Есть извѣстный предѣлъ нервной раздражимости не только въ физіологии, но и въ психологіи; сотни тысячи блѣдно-розовыхъ труповъ, которые выбрасываютъ земля въ заключительной сценѣ «Краснаго Смѣха» — ложный художественный приемъ, оставляющій читателя совершенно равнодушнымъ. «Онъ пугаетъ, а мнѣ не страшно» — эти добродушно-ядовитыя слова Л. Толстого о Л. Андреевѣ какъ нельзя лучше характеризуютъ подобныя мѣста произведеній Л. Андреева. Во сколько разъ сильнѣе дѣйствовать на читателя та страница изъ «Братьевъ Карамазовыхъ», гдѣ Иванъ описываетъ страданія измученного ребенка, который билъ себя кулаченками въ грудь, молясь Богу и рыдая неотомщенными слезками... И во сколько разъ сильнѣе «Краснаго Смѣха» дѣйствовать на насъ «Жизнь Василія Оивейскаго», гдѣ ужасъ жизни и безмысленность зла вскрываются на отдѣльной человѣческой личности, а не на сотняхъ тысячъ труповъ.

Зло — ирраціонально; а если такъ, то и жизнь — безмысленна, она не имѣеть «оправданія»: вотъ основная тема и «Краснаго Смѣха», и «Жизни Василія Оивейскаго», и «Жизни Человѣка», и еще многихъ произведеній Л. Андреева; «ничего понять невозможно» — вотъ мотивъ, который своеобразно развивается въ каждомъ изъ этихъ

*) Достаточно указать на слѣдующія несообразности. «...На порогѣ стоялъ братъ, блѣдный, совсѣмъ блѣдый, съ трясущейся челюстью и визгливо кричалъ: «я тутъ съ вами съ ума сойду! съ ума сойду!» (II, 265). Это совершенно противорѣчить другому мѣstu (II, 274), изъ которого выясняется, что все это писалъ тотъ же самый «брать». Затѣмъ, совершенно непонятно, кто же писалъ послѣднія страницы разсказа, и т. п.

произведеній. Воть одна сцена изъ «Краснаго Смѣха»: докторъ показываетъ раненому на его ампутированныя ноги.

« — А это вы понимаете? — таинственно спросилъ онъ.

Потомъ такъ же торжественно и многозначительно обвелъ рукою ряды кроватей, на которыхъ лежали раненые, и повторилъ:

— А это вы можете объяснить?

— Раненые, — сказалъ я. — Раненые.

— Раненые, — какъ эхо, повторилъ онъ. — Раненые. Безъ ногъ, безъ рукъ, съ прорванными животами, размолотой грудью, вырванными глазами. Вы это понимаете? Очень радъ. Значить вы поймете и это?...

Съ гибкостью, неожиданною для его возраста, онъ перекинулся внизъ и сталъ на руки, балансируя въ воздухѣ ногами. Бѣлый балахонъ завернулся внизъ, лицо налилось кровью, и, упорно смотря на меня страннымъ перевернутымъ взглядомъ, онъ съ трудомъ бросалъ отрывистыя слова:

— А это... вы также... понимаете?

— Перестаньте, — испуганно зашепталъ я. — А то я закричу»...

Нѣть смысла въ жизни. Но пусть этотъ докторъ сумасшедшій, пусть здѣсь передъ нами результаты войны, этого «безумія и ужаса», пусть это исключительный по своей рѣзкости примѣръ. Пусть, далѣе, по этой же самой причинѣ мы отведемъ и другого нежелательного свидѣтеля — Марусю («Къ звѣздамъ»), въ отчаяніи восклицающую: «что же это! Проклятая жизнь! Гдѣ же Богъ этой жизни, куда онъ смотритъ? Проклятая жизнь. Изойти слезами, умереть, уйти! Зачѣмъ жить, когда лучше погибаютъ... Ты понимаешь это, отецъ? Нѣть оправданія жизни — нѣть ей оправданія». Пусть и здѣсь передъ нами исключительный по рѣзкости случай — не война, но революція; пусть все это будетъ такъ. Но вотъ передъ нами обыденнѣйшая жизнь Василія Овивейскаго — и нелѣпость жизни еще болѣе усиливается, безсмыленность ея становится еще болѣе вопіющей: «...воистину суeta всяческая, житіе же сѣнь и соніе: ибо всуе мятется всякъ земнородный» (II, 184). Безсмыленна сама эта обыденная жизнь, нелѣпъ весь круговоротъ ея. «Страшно мнѣ всего, — говорить попадья Василію Овивейскому, — всего страшно. Дѣлается что-то, а я ничего не понимаю, какъ это. Вотъ весна идетъ, а за нею будетъ лѣто. Потомъ опять осень, зима. И опять будемъ мы сидѣть вотъ такъ, какъ сейчасъ — ты въ томъ углу, а я въ этомъ»... Люди, для которыхъ все въ жизни понятно, для которыхъ весь міръ — какъ на ладони, снисходительно улыбнутся и посовѣтуютъ попадѣть познакомиться съ первоначалами космографії, гдѣ вполнѣ ясно изложено, отчего за весною бываетъ лѣто, а за лѣтомъ осень и зима... Но не для этихъ слишкомъ понимающихъ людей написаны разсказы Л. Андреева...

«Проклятая жизнь! Гдѣ же Богъ этой жизни, куда онъ смотритъ?» — эти знакомыя намъ слова Маруси лежать въ основѣ «Жизни Василія Овивейскаго». Многіе смотрѣли на этотъ разсказъ только какъ на великолѣпный психологический этюдъ, только какъ на тонкій анализъ постепенного разложенія и распада вѣры въ религіозномъ человѣкѣ; но, конечно, это совершенно невѣрно. Здѣсь дѣло не въ психологическомъ анализѣ, который всюду у Л. Андреева играетъ хотя и видную, но только вспомогательную роль, а въ постановкѣ все той же проблемы о смыслѣ жизни и проблемы Ивана Карамазова о смыслѣ зла въ мірѣ. Какимъ образомъ совмѣстимы Богъ и зло? Этотъ вопросъ, съ такой беспощадной рѣзкостью стоящій передъ каждымъ вѣрующимъ, допускаетъ различные отвѣты. Одинъ изъ отвѣтовъ — упорная и слѣпая вѣра, несмотря ни на что, по примѣру ветхозавѣтнаго Іова: терпи и вѣрь, а не ропщи и не разсуждай; на такой точкѣ зрѣнія одинаково стоитъ и историческое христіанство и мистическая теорія прогресса. Другой возможный отвѣтъ — рѣзкій дуализмъ сущаго и должнаго, признаніе, что міровое зло само по себѣ, а Богъ самъ по себѣ; міровое зло при этомъ персонифицируется въ Злую Силу — будь то обыкновенный чортъ съ

хвостомъ какъ у датской собаки, по мнѣнію Мережковскаго, или будь то Ариманъ, Люциферъ, будь то какая-нибудь метафизическая *substantia spiritualis* мірового зла. Третій отвѣтъ — рѣзкій разрывъ съ Богомъ во имя безмысленности земного страданія, категорическій выводъ: разъ есть зло, то нѣть Бога, а если онъ и есть, то такой Богъ человѣку не нуженъ:

Не хочетъ жизни Богъ
И жизнь не хочетъ Бога —

по извѣстнымъ намъ словамъ ї. Сологуба. Но все это только съ одной стороны, это только вопросъ о смыслѣ зла въ мірѣ; съ другой — передъ нами стоитъ проблема о смыслѣ жизни вообще. И съ этой точки зрѣнія возможны три отвѣта, которые уже были намѣчены нами при разборѣ творчества ї. Сологуба. Первый отвѣтъ — вѣра въ объективный смыслъ человѣческой жизни; второй — отрицаніе какого бы то ни было смысла жизни, и третій — признаніе субъективнаго смысла, субъективной осмысленности. На всѣхъ этихъ трехъ отвѣтахъ мы еще подробно остановимся, а теперь прослѣдимъ по «Жизни Василія јивейскаго» за развитіемъ этого двусторонняго ряда мыслей въ творчествѣ Л. Андреева.

III.

Когда безмысленное зло и непонятныя страданія обрушились всею своею тяжестью на Василія јивейскаго, когда утонулъ, купаясь, его шестилѣтній сынъ и стала пить запоемъ отъ сверлящаго душу горя его жена, то передъ простымъ, немудрящимъ сельскимъ попомъ остро стала міровой вопросъ — о смыслѣ зла, о смыслѣ жизни.

Конечно, Василій јивейскій не размышлялъ о мистической теоріи прогресса, обѣ ирраціональности зла и т. п., но, быть можетъ, тѣмъ рѣзче было его недоумѣніе, тѣмъ глубже была его тоска. Онъ «вѣрилъ въ Бога торжественно и просто: какъ іерей и какъ человѣкъ съ незлобивой душою»; теперь передъ нимъ стоялъ вопросъ о смыслѣ жизни, о смыслѣ зла, и вопросъ этотъ надо было примирить съ вѣрою въ Бога. И сначала Василій јивейскій даетъ на этотъ вопросъ тотъ самый отвѣтъ, который столько уже вѣковъ продолжаетъ давать все историческое христіанство: не разсуждай, а вѣрь. Вѣрь, что гибель твоего ребенка нелѣпа только здѣсь, на землѣ, въ мірѣ феноменовъ; а тамъ, на небесахъ, въ царствѣ премудрости Божіей всякая слезинка усчитана, всякая слезинка оправдана и имѣть свой смыслъ. Не суди Промыслъ Божій по земнымъ событиямъ, но вѣрь, что всѣ земныя страданія оправдываются Промысломъ Божіимъ. Не эти слова, но эти мысли проходили въ головѣ Василія јивейскаго, когда онъ, послѣ смерти сына и запоя жены, покорилъ протестъ разума пережитку чувства, увѣровавъ въ объективный смыслъ жизни и бросилъ въ небо горько-покорныя слова:

« — Я — вѣрю.

Безъ отзыва потерялся въ пустынѣ неба и частыхъ колосьевъ этотъ молитvenный вопль, такъ безумно похожій на вызовъ. И точно кому-то возражая, кого-то страстно убѣждая и предостерегая, онъ снова повторилъ:

— Я — вѣрю»...

И четыре года спустя, когда горе и зло все тяжелѣ и тяжелѣ давили его, онъ еще разъ произнесъ эти же слова надломленнымъ, придушеннымъ и глухимъ голосомъ, голосомъ великой безпріютности, и попрежнему угроза и молитва, предостереженіе и надежда были въ этомъ голосѣ измученного жизнью человѣка (II, 107 и 114). И когда у него родился другой сынъ, долго жданный, желанный, и оказался злымъ, грязнымъ и прожорливымъ идіотомъ, то и это новое испытаніе не сокрушило еще души Василія јивейскаго: онъ продолжалъ вѣрить въ Бога, но лишь все чаще и

упорнѣе погружался въ свои думы — «думалъ о Богѣ, и о людяхъ, и о таинственныхъ судьбахъ человѣческой жизни»... Но оглянувшись вокругъ себя, онъ увидѣлъ такую массу неизбывнаго человѣческаго горя, такое потрясающее равенство всѣхъ передъ гибелю и зломъ, что душа его не выдержала, и надломилась безхитростная вѣра въ сочетаемость понятій Бога и зла. Онъ началъ смутно прозрѣвать какую-то «огромную правду о Богѣ, и о людяхъ, и о таинственныхъ судьбахъ человѣческой жизни. Началъ чувствовать ее о. Василій и чувствовалъ ее то какъ отчаяніе и безумный страхъ, то какъ жалость, гнѣвъ и надежду. И былъ онъ попрежнему суровъ и холоденъ съ виду, когда умъ и сердце его уже плавились на огнѣ непознаваемой правды, и новая жизнь входила въ старое тѣло»... Безмѣрная жалость къ земнымъ страданіямъ людскимъ расплавила умъ и сердце Василія єивейскаго; онъ холодѣлъ отъ ужаса при мысли о той безднѣ человѣческаго горя, которое настигло не одного его, а является удѣломъ всѣхъ и каждого. «Когда я подумаю... сколько вокругъ насъ страданій безцѣльныхъ, никому ненужныхъ, даже никому неизвѣстныхъ — я холодѣю отъ ужаса», — такъ говорить Липа въ позднѣйшей драмѣ Л. Андреева («Савва»); Василій єивейскій этого не говорить, но мы знаемъ, что именно эта мысль гнететъ его душу. «Господи! Быть такимъ всемогущимъ»... — говорить Липа, — и терпѣть страданія людскія! Эта же мысль расплавляетъ душу Василія єивейскаго; на этой почвѣ подготавляется его разрывъ съ Богомъ, во имя мірового зла.

Сцена исповѣди Семена Мосягина является въ этомъ отношеніи одной изъ центральныхъ сценъ всего разсказа. Мосягинъ раскрываетъ на исповѣди попу всю свою жизнь, такую простую и безсмысленную, обыкновенную и нелѣпую, «словно самъ строгій законъ причинности не имѣлъ власти надъ этой простой и фантастической жизнью»... Онъ постоянно голоденъ, голодаетъ и его семья; ничто ему не удается; помоши ждать неоткуда.

« — Чего же ты ждешь? — спрашиваетъ Василій єивейскій.

— Чего жду-то? А чего-жъ мнѣ ждать?..

— Такъ, значитъ, и будетъ? — спросилъ попъ, и слова его звучали далеко и глухо, какъ комья земли на опущенный въ могилу гробъ.

— Такъ, значитъ, и будетъ. Такъ, значитъ, и будетъ, — повторилъ Мосягинъ, вслушиваясь въ свои слова.

И представилось ему то, что было въ его жизни: голодныя лица дѣтей, попреки, каторжный трудъ и тупая тяжесть подъ сердцемъ, отъ которой хочется пить водку и драться; и оно будетъ опять, будетъ долго, будетъ непрерывно, пока не придется смерть. Часто моргая бѣлыми рѣсницами, Мосягинъ... поднялъ глаза и сказалъ, жалко усмѣхаясь половиною рта:

— А можетъ, полегчаетъ?

Попъ... молчаль. Бѣлые рѣсницы заморгали быстрѣе... и языкъ залопоталъ что-то невнятное и невразумительное:

— Да. Стало быть, не полегчаетъ. Конечно, вы правду говорите...

Но попъ не далъ ему кончить. Сдержанно топнувъ ногой, онъ обжегъ мужика гнѣвнымъ, враждебнымъ взглядомъ и зашипѣлъ на него, какъ разсерженный ужъ:

— Не плачь! Не смѣй плакать. Ревутъ, какъ телята. Что я могу сдѣлать — онъ ткнулъ пальцемъ себѣ въ грудь. — Что я могу сдѣлать? Что я — Богъ, что ли? Его проши. Ну, проси! Тебѣ говорю»... (II, 135).

Бездна, неутолимая бездна человѣческихъ страданій, безсмысленной боли, безвинныхъ муки гнететъ своимъ ужасомъ безсильнаго ихъ утолить человѣка. Безсильнымъ чувствуетъ себя Василій єивейскій и только остатками вѣры цѣпляется за Бога, отсылаетъ къ Нему измученного жизнью человѣка. Его проси! Бога проси! — но если бы Богъ слушалъ просьбы Семеновъ Мосягиныхъ, то давно уже не было бы самого вопроса о томъ — какъ можетъ существовать Богъ, если есть зло на землѣ... Для Василія єивейскаго

это зло наконецъ перевѣшиваетъ — онъ проклинаетъ Бога. Въ приступѣ страшнаго отчаянія онъ мечется по своей комнатѣ «какъ звѣрь, у котораго отнимаютъ дѣтей», и изъ устъ его мы слышимъ безпредѣльно скорбныя слова: «бѣдная. Бѣдная. Всѣ бѣдные. Всѣ плачутъ. И нѣть помощи! О-о-о! — Онъ остановился и, поднявъ кверху остановившійся взоръ, пронизывая имъ потолокъ и мглу весенней ночи, закричалъ пронзительно и изступленно: — И Ты терпишь это! Терпишь! Такъ вотъ же...» Разрывъ совершился. Василій Оивейскій рѣшаетъ снять съ себя свой санъ; въ немъ больше нѣть вѣры въ справедливость Промысла, его побѣдила безсмысленность мірового зла, его побѣдило невѣріе въ тотъ нумenalный смыслъ человѣческой жизни, какимъ обольщаются себя всѣ вѣрующіе, въ Бога или въ прогрессъ — безразлично. Бога нѣть; объективнаго смысла жизни нѣть. Однако его ждала еще послѣдняя вспышка этой вѣры въ нумenalное — вспышка, закончившаяся гибелю. Онъ потрясенъ внезапнымъ ударомъ — попадья стираетъ живою при пожарѣ дома; еще одна нелѣпость, еще одно проявленіе мірового зла. И нелѣпость эта привела его къ послѣдней, отчаянной попыткѣ осмыслить все окружающее, осмыслить свою жизнь. Быть можетъ, смыслъ этотъ настолько глубокъ, что только избраннымъ дано его видѣть? «Непоколебимая и страшная вѣра» вливается въ потрясенную и измученную душу Василія Оивейскаго; онъ мгновенно испытываетъ «неизъяснимую и ужасную близость Бога» (II, 154) — «Нѣть! нѣть! — заговорилъ попъ громко и испуганно. — Нѣть! Нѣть! Я вѣрю. Ты правъ. Я вѣрю. — Онъ паль на колѣни... и съ восторгомъ безпредѣльной униженности, изгоняя изъ рѣчи самое слово «я», сказалъ: — Вѣрю»... Отчаянная попытка еще разъ осмыслить окружающее заключалась въ томъ предположеніи, что только избраннымъ дано видѣть смыслъ человѣческой жизни и открыть его другимъ. И на этотъ подвигъ избранъ Богомъ — онъ, Василій Оивейскій. Онъ убѣжденъ теперь, «что тамъ, гдѣ видѣлъ онъ хаосъ и злую безсмыслицу, тамъ могучею рукою былъ начертанъ вѣрный и прямой путь», путь, приведшій его къ сознанію своей избранности. Теперь въ сознаніи Василія Оивейскаго нумenalное беретъ временно верхъ надъ феноменальнымъ; онъ теперь возстаетъ противъ эмпирической очевидности ирраціональности зла, теперь для него эмпирическая достовѣрность — ложь и обманъ: всякое человѣческое знаніе онъ считаетъ незнаніемъ. Вотъ, напримѣръ, попадья надѣялась зажить новой жизнью гдѣ-нибудь въ новыхъ мѣстахъ послѣ отреченія Василія Оивейскаго отъ сана, «и была бы скорбной эта жизнь, — разсуждаетъ Василій Оивейскій; — а теперь лежитъ она тамъ, мертвая, и душа ея смѣется сейчасъ и знаніе свое называетъ ложью»... Богъ одинъ знаетъ истину — и откроетъ ее въ должный часъ своему избранному. И тогда свершится чудо; тогда откроется «міръ любви, міръ божественной справедливости, міръ свѣтлыхъ и безбоязненныхъ лицъ, не опозоренныхъ морщинами страданій, голода, болѣзней»... (II, 160). Такъ онъ грезилъ «дивными грезами свѣтлаго, какъ солнце, безумія»; такъ онъ вѣрилъ въ это чудо безумною вѣрою — и грознымъ предостереженіемъ этой вѣрѣ явился безсмыленный смѣхъ его ідіота-сына. Я говорю о томъ удивительномъ мѣстѣ разсказа, когда Василій Оивейскій читаетъ ідіоту Евангелие — о чудѣ исцѣленія слѣпорожденного. — «Я свѣтъ миру. Сказавъ это, Иисусъ плонулъ на землю, сдѣлалъ бреніе изъ плюновенія и помазалъ бреніемъ глаза слѣпому — и сказалъ ему: пойди, умойся въ купальнѣ Силоамъ (что значитъ посланный). Онъ пошелъ и умылся и вернулся зрячимъ.

— Зрячимъ, Вася, зрячимъ! — грозно крикнулъ попъ и, сорвавшись съ мѣста, быстро заходилъ по комнатѣ. Потомъ остановился посреди нея и возопилъ:

— Вѣрю, Господи! Вѣрю!

И тихо стало. И громкій скачущій хохотъ прорвалъ тишину, ударили въ спину попа — и со страхомъ онъ обернулся.

— Ты что? — испуганно спросилъ онъ, отступая. Идіотъ смѣялся. Безсмыленный, зловѣщій смѣхъ разодралъ до ушей неподвижную огромную маску, и въ широкое отверстіе рта неудержимо рвался странно пустой, прыгающей хохотъ:

— Гу-гу-гу! Гу-гу-гу!»

Этот смѣхъ идіота — приговоръ вѣрѣ безумнаго. Но въ то же время эта вѣра Василія Оивейскаго въ здѣшнее земное чудо — незамѣтное возвращеніе его въ область человѣческой этики. Онъ, который на мгновеніе увѣровалъ въ объективный смыслъ жизни, въ высшій смыслъ страданія, зла, смерти и возсталъ противъ эмпирической очевидности во имя вѣры въ сверхъ-человѣческую справедливость — онъ не ищетъ теперь оправданія несчастію этого слѣпого отъ рожденія человѣка въ области трансцендентнаго; нѣть, слѣпой этотъ долженъ сдѣлаться зрячимъ здѣсь, на землѣ; здѣсь феноменальное одерживаетъ въ душѣ его побѣду надъ нумenalнымъ, субъективное надъ объективнымъ; изъ забитаго попа онъ обращается въ гордаго человѣка. Ярко и рѣзко проявляется эта побѣда въ заключительной сценѣ разсказа — при похоронахъ Семена Мосягина, такъ нелѣпо и случайно погибшаго. Василій Оивейскій не угѣшаетъ ни другихъ, ни себя той мыслью, что Мосягинъ теперь знаетъ истину о жизни, что душа его смѣется; эта сверхъ-человѣческая, нумenalная истина не нужна живому человѣку, человѣкъ возвращается Господу Богу билетъ для входа въ эту всемірную гармонію. Съ безконечной силой вѣры подходитъ онъ къ разлагающемуся трупу и говоритъ: «тебѣ говорю — встань!»... Онъ, Василій Оивейскій, избранъ совершить это чудо, претворить правду нумenalную въ правду феноменальную... И когда гніющій трупъ попрежнему безъ движенія лежитъ въ гробѣ, то Василій Оивейскій съ бѣшенымъ крикомъ обращается къ Богу:

« — Ты долженъ! Отдай ему жизнь! Бери у другихъ, а ему отдай! Я прошу.

Обращается къ молчаливо-разлагающемуся тѣлу и приказываетъ съ гнѣвомъ, съ презрѣніемъ:

— Ты! Проси Его! Проси!

И кричить святотатственно, грозно:

— Ему не нужно рая. Тутъ его дѣти. Они будуть звать: отецъ. И онъ скажетъ: сними съ головы моей вѣнецъ небесный, ибо тамъ — тамъ соромъ и грязью покрываютъ головы моихъ дѣтей. Онъ скажетъ! Онъ скажетъ!»...

Вы ясно слышите во всемъ этомъ мотивы Ивана Карамазова: нумenalного смысла человѣческой жизни мы не хотимъ, ибо никакая вселенская гармонія не оправдываетъ одну слезинку ребенка, одно проявленіе безсмысленного мірового зла; мы ищемъ этого смысла здѣсь, въ нашей земной жизни, и разъ Богъ не хочетъ намъ его открыть, то мы не хотимъ Бога, какъ не想要 и какъ отвергаетъ его Василій Оивейскій:

« — Такъ зачѣмъ же я вѣрилъ?

— Такъ зачѣмъ же ты далъ мнѣ любовь къ людямъ и жалость — чтобы посмѣяться надо мною?

— Такъ зачѣмъ же всю жизнь мою Ты держалъ меня въ плѣну, въ рабствѣ, въ оковахъ? Ни мысли свободной! Ни чувства! Ни вздоха! Все однимъ Тобою, все для Тебя! Одинъ Ты! Ну, явись же — я жду»...

Но почему-то Богъ давно уже пересталъ появляться: не хочетъ жизни Богъ и жизнь не хочетъ Бога.

Несмотря на это, конечно, всегда останутся вѣрующіе въ объективный смыслъ жизни и міровую гармонію, признающіе, что по частнымъ случаямъ нельзя судить Промыслъ, царящій надъ міромъ; мы вѣдь знаемъ, что признаніе объективной цѣлесообразности человѣческой жизни — дѣло вѣры, а вѣра во что бы то ни было всегда непобѣдима: она покоится не на логикѣ, а на психологіи человѣка. Но зато вѣра эта и необязательна: вы вѣрюете въ царящую надъ міромъ гармонію, а я — нѣть; вы вѣрите, что всѣ земныя слезы получать себѣ объясненіе по ту сторону бытія, а я ищу смысла жизни въ нашемъ мірѣ трехъ измѣреній — и убѣдить другъ друга логически-

ми доводами мы, конечно, не можемъ: на моей сторонѣ — эмпирическая очевидность, на вашей — религіозная увѣренность, а это двѣ величины несоизмѣримыя.

IV.

Зло — ирраціонально, и не должно быть оправдываемо идеей «Бога» — вотъ основной смыслъ «Жизни Василія Єивейскаго»; предоставляемъ вѣрующимъ вѣритъ, мы должны искать решенія проблемы о смыслѣ жизни въ границахъ нашего человѣческаго познаванія, не переходя въ область трансцендентнаго. Для многихъ это трудно, это тяжело; и даже отказавшись отъ вѣры въ Бога, многіе торопятся вставить новую вѣру въ старую рамку — вѣру въ человѣчество, въ общество, въ государство. Жизнь въ ея цѣломъ безсмысленна, а сльдовательно ея смысла надо искать внѣ ея: вотъ обычное умозаключеніе, хромающее на обѣ ноги. Отчего «слѣдовательно»? Откуда такая presupпція, что въ человѣческой жизни во что бы то ни стало долженъ быть объективный смыслъ? — Эти вопросы обыкновенно трусливо обходятся сторонкой или затушевываются доктринальнымъ утвержденіемъ, что вѣра въ объективный смыслъ жизни неотъемлемо присуща каждому человѣку. Дѣйствительно, человѣку трудно отказаться отъ такой иллюзіи; но съ какихъ же это поръ трудность преодолѣнія иллюзіи является аргументомъ въ пользу ея истинности? Въ такомъ случаѣ ужъ не вертится ли солнце вокругъ неподвижной земли, — ибо эта иллюзія наиболѣе непреодолимая изъ всѣхъ? И за иллюзію объективнаго смысла жизни человѣкъ склоненъ цѣлко держаться; онъ не хочетъ выпустить ее изъ рукъ, чтобы не остаться одинокимъ и случайнымъ звеномъ въ міровой цѣпи событий; разорвавъ съ Богомъ, человѣкъ нервно ищетъ за предѣлами своей жизни нѣчто такое, что осмыслило бы навсегда его существованіе. Подобно андреевскому Сашкѣ (изъ разсказа «Ангелочекъ»), человѣкъ жаждетъ «увидѣть то, чего не хватаетъ въ картинѣ его жизни и безъ чего кругомъ такъ пусто, точно окружающіе люди не живые»... Сашка увидѣлъ это нѣчто въ восковомъ ангелочкѣ, потому что ангелочекъ этотъ «былъ безконечно далекъ и непохожъ на все, что его здѣсь окружало» (I, 28 — 29). Въ этомъ все дѣло: безсмысленную жизнь должно осмыслить нѣчто лежащее за ея предѣлами — таковы всегда поиски за объективнымъ смысломъ жизни *). Таковы поиски и Павла (изъ разсказа «Весной»), у котораго «крылатая душа трепетала и билась, какъ въ кѣткѣ, и непонятна и враждебна была вся эта красота міра, которая зоветъ куда-то, но не говорить куда. Потерявшійся, онъ шелъ къ людямъ съ безмолвнымъ вопросомъ — и всѣ людскія лица казались ему плоскими и тупыми, какъ у звѣрей, а рѣчи ихъ ненужными, вздорными и лишенными смысла»... Этого же смысла искала и попадья, жена Василія Єивейскаго: подавленная безсмысленностью жизни, она искала смысла впереди — когда она уѣдетъ съ мужемъ далеко, неизвѣстно куда, «за предѣлы знакомаго ей и попрежнему страшнаго міра»... «Тамъ будетъ другое, — думала она, озаренная свѣтомъ неопределенной и прекрасной мечты»... (II, 151). И мечта ея — это все тотъ же самый сашкинъ восковой ангелочекъ, безконечно непохожій на окружающую дѣйствительность, а потому якобы осмысливающій жизнь. А въ разсказѣ «Иностранецъ» трогательная вѣра студента Чистякова въ «за-границу», гдѣ жизнь такъ свѣтла, гдѣ все дешево и только одни люди дороги, гдѣ радостно и умереть — развѣ эта вѣра не тотъ же восковой ангелочекъ Сашки? И развѣ не тотъ же самый восковой ангелочекъ то «инспекторское мѣсто» Передонова, о которомъ у насъ уже была рѣчь? И не тотъ ли же самый восковой ангелочекъ земля Ойле Є. Сологуба, или религія человѣчества, или марксистскій Zukunftstaat? Все это — попытки найти смыслъ жизни настоящаго въ чемъ-либо отдаленномъ отъ насъ или въ пространствѣ, или во времени, и всѣ эти попытки обречены на такую же гибель, какъ и сашкинъ вос-

*) См. на эту тему статейку проф. Александра Введенскаго: «Условіе позволительности вѣры въ смыслъ жизни» (въ его книгѣ: «Философскіе очерки», Спб. 1901 г.).

ковой ангелочекъ. Это таяніе воскового ангелочка имѣеть поэтому для нась, вполнѣ независимо оть намѣреній Л. Андреева, ясное символистическое значеніе. «Ангелочекъ, повѣшенный у горячей печки, началъ таять... (онь) какъ будто шевелился. По розовымъ ножкамъ его скатывались густыя капли и падали на лежанку... Воть ангелочекъ встрепенулся, словно для полета, и упалъ съ мягкимъ стукомъ на горячія плиты. Любопытный прусакъ пробѣжалъ, обжигаясь, вокругъ безформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дернувъ усиками, побѣжалъ дальше. Въ завѣшенное окно пробивался синеватый свѣтъ начинаящагося дня»... Такъ погибли иллюзіи, такъ погибли мечты... Ангелочекъ растаялъ — и эту общую съ нимъ участъ рано или поздно раздѣлять всѣ тѣ иллюзіи, на которыхъ люди до сихъ поръ строятъ доктрину объективнаго смысла жизни.

Какъ и когда растаяла эта иллюзія у Л. Андреева — это выяснить его будущій критикъ и біографъ; мы же будемъ смотрѣть на этотъ фактъ, какъ на *un fait accompli*. Иллюзія растаяла и человѣкъ почувствовалъ себя одинокимъ, созналъ себя случайнымъ звеномъ міровой цѣпи событий. Какимъ образомъ сознаніе безсмысленности жизни приводить людей къ страху передъ жизнью, а страхъ этотъ — къ одиночеству, мы достаточно выяснили на примѣрѣ Ф. Сологуба; въ произведеніяхъ Л. Андреева легко разглядѣть этотъ же процессъ въ нѣсколько иной модификаціи. Л. Андреевъ любить рисовать людей боящихся жизни или утомленныхъ жизнью; а что же значить быть утомленнымъ жизнью, какъ не то, что сумятица, нелѣпость, безсмысленность жизни измучили человѣка? Въ великолѣпномъ разсказѣ Л. Андреева «Жили-были» купецъ Кошевѣровъ радуется при видѣ небольшого отведенного ему угла больничной палаты: «это было очень маленькое мѣсто, только уголь палаты, но именно поэтому оно понравилось измученному жизнью человѣку»... Хижняковъ (изъ разсказа «Въ подвалѣ») спасается отъ жизни въ углу какого-то подвала и хочетъ только, чтобы его оставили одного. Но положимъ, что это слишкомъ рѣзкіе примѣры: и Хижняковъ и Кошевѣровъ — оба они умираютъ, а умирать надо одиноко, это инстинктъ и человѣка и животнаго. Умирать — пусть такъ; но жить?.. Человѣкъ, потерявшій вѣру въ смыслъ жизни, на первыхъ порахъ не видить ни въ чемъ спасенія и хочетъ жить такъ же одиноко, какъ одиноко онъ и умретъ. И не только какой-нибудь жалкій Андрей Николаевичъ (изъ разсказа «У окна») «испытываетъ тотъ страхъ, который идетъ вмѣстѣ съ жизнью», и создаетъ себѣ изъ своей комнаты «крепость, гдѣ онъ отсиживается отъ жизни»; не только символические Пьяницы (изъ «Жизни Человѣка») спасаются отъ жизни въ грязномъ кабакѣ:

- «Мы всѣ пьяницы. Позовемъ всѣхъ сверху сюда. Наверху такъ мерзко...
- Мы всѣ пришли сюда. Мы пьемъ спиртъ, и онъ даетъ намъ веселье.
- Онъ даетъ ужасъ. Я весь день трясусь отъ ужаса.
- Лучше ужасъ, чѣмъ жизнь. Кто хочетъ вернуться туда?
- Я — нѣтъ.
- Не хочу. Я лучше издохну здѣсь. Не хочу я жить.
- Никто!
- Боже мой! Боже мой!»...

Не только эти люди испытывали тотъ страхъ жизни, который приводить къ одиночеству; его испытываетъ у Л. Андреева каждый, уразумѣвшій, что у жизни нѣть объективнаго смысла. И даже тотъ, кто — подобно андреевскому Саввѣ — ничего на свѣтѣ не боится, даже тотъ считаетъ жизнь самымъ страшнымъ на свѣтѣ. «А ты — неужели ты ничего не боишься?» — спрашиваетъ Липа Савву. «Я-то? — отвѣчаетъ онъ: — пока ничего, да и впереди не ожидаю. Страшнѣе того, Липа, что человѣкъ разъ уже родился, ничего быть не можетъ. Это все равно, что утопленника спросить: а что, дядя, промокнуть не боишься?.. Если уже я до сихъ поръ не испугался, когда жизнь увидѣль, такъ ужъ больше испугаться нечего. Жизнь, да. Воть обнимаю я глазами землю, всю ее, весь

этот шарикъ, и нѣтъ на ней ничего страшнѣе человѣка и человѣческой жизни»... Это же мы слышимъ и отъ Царя Голода: «я былъ вездѣ, — говорить онъ, — и страшнѣе всего у человѣка»... Человѣческая жизнь страшна, потому что безсмысленна; одиночество спасаетъ человѣка хотя бы отъ многократно и многообразно повторенной безсмыслицы человѣческой жизни въ сотняхъ и тысячахъ человѣческихъ жизней. Этотъ мотивъ осложняется у Л. Андреева его ненавистью къ передоновщинѣ массы, толпы; мотивъ одиночества не переходитъ у него въ солипсизмъ, какъ это было у Федора Сологуба, а приводить его къ рѣзкому отрицанію города, этой символической антитезы одиночества, города, въ которомъ безсмыленность жизни многократно отражается точно въ многогранномъ зеркалѣ.

О солипсизмѣ у Л. Андреева много говорить не придется; въ противоположность Ф. Сологубу, Л. Андреевъ никогда не относился къ этой проблемѣ серьезно; онъ только высмѣялъ ее въ типѣ семинариста Сперанского («Савва»), который сомнѣвается даже въ собственномъ своемъ существованіи, и Тюхи, который тоже утверждаетъ, что «никого нѣтъ. Никого, понимаешь? И Бога нѣтъ, и человѣка нѣтъ, и звѣря нѣтъ. Вотъ столъ — и стола нѣтъ. Вотъ свѣчка — и свѣчки нѣту. Однѣ рожи, понимаешь?»... Если вспомнить убѣжденіе Ф. Сологуба, что вокругъ его единаго Я есть только «личины» людей, что дьяволъ смѣется надъ нимъ, «лѣпить злые искаженные хари и отводить мои глаза», что «дьяволъ прячется подъ уродливыми, слѣпленными имъ харями и визжитъ, и хохочетъ» — если вспомнить и сопоставить это съ философіей Тюхи: «ничего нѣтъ. Рожи однѣ есть. Множество рожъ. Все рожи, рожи, рожи. Очень смѣшныя рожи», — то можно прійти къ предположенію, что такое совпаденіе, пожалуй, и не случайно... Во всякомъ случаѣ, въ типахъ Сперанского и Тюхи мы имѣемъ намѣренную или — что вѣроятнѣе — ненамѣренную пародію на солипсизмъ Ф. Сологуба, и этимъ самымъ Л. Андреевъ вполнѣ ясно выражаетъ свое отношеніе къ проблемѣ солипсизма; больше онъ на ней не останавливается. Но зато тѣмъ мучительнѣе звучить у него мотивъ одиночества.

V.

Всѣ герои Л. Андреева — одиноки: это сразу и всѣмъ бросается въ глаза при знакомствѣ съ его творчествомъ; и почти въ каждомъ изъ этихъ героеv рано или поздно «сознаніе одиночества какъ молніей освѣщаетъ черную пропасть, отдѣляющую его... отъ всего міра и отъ людей», какъ замѣчаетъ Л. Андреевъ въ разсказѣ «Праздникъ». «Смертельно одинокъ онъ былъ, — говоритъ Л. Андреевъ про одного изъ своихъ героеv («Губернаторъ»), — и даже не (по)чувствовалъ этого, словно всегда, во всѣ дни его долгой и разнообразной жизни одиночество было естественнымъ, ненаруши-мымъ его состояніемъ, какъ сама жизнь»... (IV, 85). И чѣмъ больше людей окружаетъ человѣка, тѣмъ больнѣе чувствуетъ онъ свое смертельное одиночество, тѣмъ яснѣе видить онъ, что нѣтъ ни малѣйшей возможности связать свою жизнь крѣпкой нитью съ жизнью другихъ людей, связать такъ, чтобы весь этотъ жизненный потокъ сталъ объективно-цѣлесообразнымъ. Экономические интересы, несчастія, общіе вкусы, стремленіе къ общимъ идеаламъ — все это сближаетъ людей, но это сближеніе, по Л. Андрееву, не уничтожаетъ ужаса одиночества, ибо не имѣеть объективнаго смысла. Тѣмъ-то и страшна для Л. Андреева городская толпа, что въ ней мы видимъ безсмыслицу отдѣльной человѣческой жизни утысячеренной, повторенной сотни тысячъ, миллионы разъ. Этой темѣ Л. Андреевъ уже давно посвятилъ небольшой разсказъ «Городъ», а позднѣе развилъ эту тему въ разсказѣ «Проклятие звѣря». «Всего ужаснѣе было то, — такъ замѣчается эта тема въ первомъ разсказѣ, — что во всѣхъ домахъ жили люди, и по всѣмъ улицамъ двигались люди. Ихъ было множество, и всѣ они были незнакомые и чужие, и всѣ они жили своей особенной скрытой для глазъ жизнью, непрерывно

рождались и умирали и не было начала и конца этому потоку»... И въ этомъ многолюдіи «было что-то упорное, непобѣдимое и равнодушно-жестокое»... (III, 158 — 159). Позднѣе это непобѣдимо-жестокое равнодушіе Л. Андреевъ олицетворилъ въ сакральной фигурѣ «Нѣкоего въ сѣромъ», и мы на этомъ еще остановимся; а теперь два слова о «городѣ», какъ о подобномъ же олицетвореніи всей неизбѣжности того объективно-безмысленного процесса, который мы называемъ человѣческой жизнью. Въ разсказѣ «Проклятие звѣря» эта тема переплетается со многими родственными другими — здѣсь и психологія толпы, здѣсь и старые герценовскіе мотивы о шаблонѣ и мѣщанствѣ массы, о раствореніи въ ней всякаго индивидуального «я». Л. Андреева ужасаетъ даже «эта роковая, трагическая похожесть того, что должно быть различно, эта убийственная необходимость для каждого влѣзать въ одну и ту же форму; имѣть нось, желудокъ, чувствовать и мыслить по однимъ и тѣмъ же учебникамъ логики и психологіи»...; его ужасаютъ въ городѣ эти «два миллиона живыхъ людей, два миллиона разъ повторяющихъ одно и то же безумно сходственное я»... Онъ чувствуетъ, что въ этой толпѣ его «я уже начало расплыватьться въ многоликую, то смѣющуюся, то плачущую гримасу», ему казалось, что въ толпѣ «я что-то потерялъ, а это потерянное есть мое я». И сначала, въ одиночествѣ лѣса и моря, ему кажется, что въ городѣ, въ толпѣ онъ спасется отъ своего одиночества, и скорѣе спѣшить онъ въ городѣ, чтобы «поскорѣе стать одною изъ этихъ маленькихъ волнъ, умалиться ихъ малостью, умножиться ихъ множествомъ, растворить свое одинокое, сумасшедшее я въ однородности всѣхъ этихъ такихъ же одинокихъ, сумасшедшихъ я, сдѣлавшихся мы»... Свое одиночество среди равнодушной природы онъ хочетъ утопить въ волнахъ городской жизни, единичную жизнь онъ хочетъ осмыслить жизнью массы: какъ видимъ, это все та же попытка человѣка найти спасеніе въ человѣчествѣ, это все то же самоотсыланіе отъ Понтія къ Пилату. Солнце, луна и звѣзды говорятъ человѣку о вѣчности и тайнѣ, говорятъ ему о ничтожествѣ и безмысленности его личной мгновенной жизни, — и отъ ужаса этихъ рѣчей человѣкъ хочетъ загипнотизировать себя толпой, массой, человѣчествомъ: вѣдь толпа — бессмертна, а потому, можетъ быть, и жизнь ея имѣть больше смысла, чѣмъ мгновенная личная жизнь? Человѣкъ старается спасти себя иллюзіей будто неопределенно-большое количество отрицательныхъ чиселъ можетъ дать въ суммѣ положительное число... И отъ пугающей его природы онъ бѣжитъ къ людямъ, къ массѣ, къ суммѣ.

— «Меня зоветъ городѣ, — говоритъ онъ. — Мнѣ чужды облака, эти безформенные, безобразныя груды сгустившихся паровъ; холодомъ и тиною дышеть на меня плескъ волны, безразличіемъ вѣчности пугаетъ меня огненный закатъ. Я хочу милыхъ, подвижныхъ людей, которые говорятъ такъ понятно; я хочу каменныхъ домовъ, я хочу электричества, которое я самъ зажигаю, самъ гашу. Ты помнишь, какъ ночью подъ окнами поютъ гудящіе трамваи, какъ по асфальту щелкаютъ копыта, какъ пахнетъ мокрой пылью, какъ тѣсно движется горячая толпа, какъ надъ громадою домовъ горятъ на черномъ небѣ огненныя слова — золотыя, зеленыя, красныя...

— «Шоколадъ и какао»... Ты про эти слова говоришь?»... — слышитъ онъ грустное, расхолаживающее возраженіе, но оно не останавливаетъ его, его не останавливаетъ эта эмблема пошлости и безмысленности не только одинокой, но и массовой жизни: — «да «шоколадъ и какао», — вызывающе отвѣчаетъ онъ. — А что говорить мнѣ солнце? Вѣчность. А что говорять луна и звѣзды? Вѣчность и тайна. Я не хочу вѣчности и тайны. Я хочу шоколада и какао. Я хочу, чтобы и на небѣ было написано то, что я понимаю, что сладко и не пугаетъ меня»... Какъ видите, это уже намѣренный самообманъ, попытка уйти отъ проклятыхъ вопросовъ и одиночества мысли въ суперлоку жизни, попытка найти истину если не въ свѣтѣ солнца, то хоть въ электрическомъ освѣщеніи, вѣра въ то, что «шоколадъ и какао» имѣютъ, говоря figurально, тотъ объективный смыслъ, который мы не можемъ открыть въ звѣздахъ, лунѣ и

солнцѣ. Стоить ли говорить подробно, въ чемъ здѣсь ошибка героя Л. Андреева? — она слишкомъ бросается въ глаза, такъ какъ черезчуръ наивно искать все того же объективнаго смысла жизни и въ области трансцендентнаго («вѣчность и тайна») и въ области имманентнаго («шоколадъ и какао»); почему-то не хотять сразу увидѣть, что въ этой послѣдней области рѣчь можетъ быть только о субъективной, а не объективной цѣлесообразности. Не видить этого и Л. Андреевъ, упорно ища въ массовой человѣческой жизни того объективнаго смысла, какого нѣтъ въ жизни каждого отдельнаго человѣка; ясно, что поиски эти кончаются гнетущей душу неудачей — и въ этомъ весь смыслъ разсказа «Проклятие звѣря», смыслъ, быть можетъ, несознаваемый самимъ Л. Андреевымъ. Въ двухмиллионномъ городѣ онъ чувствуетъ себя еще болѣе одинокимъ, чѣмъ въ лѣсу, такъ какъ безсмысленность его жизни усугубляется для него зрѣлищемъ еще двухъ миллионовъ подобныхъ же безсмыслицъ. «Извозчикъ номеръ 14.800», «комната номеръ 212-й» — все это для него становится символомъ одной и той же нелѣпости, повторенной двѣsti разъ, четырнадцать тысячъ разъ, миллионы разъ, и нелѣпость эта — человѣческая жизнь. И не только не находить онъ себѣ спасенія въ этой многомиллионной нелѣпости, но, наоборотъ, теперь онъ страшится сліянія съ тѣмъ, къ чему раньше такъ стремился; теперь онъ признаетъ объективную безсмысленность всей міровой жизни. Въ грязномъ бассейнѣ зоологического сада онъ видитъ умирающаго тюленя и слышитъ его дикій предсмертный крикъ. «...Сразу весь похолодѣвъ отъ чувства непередаваемаго ужаса, я понялъ, что онъ — проклинаетъ. Стоить въ своей грязной лоханкѣ, по серединѣ огромнаго города и проклинаетъ проклятиемъ звѣря и городъ этотъ, и людей, и землю, и небо... Онъ не ждалъ отвѣта; одинокій, умирающій, онъ не искалъ пониманія; онъ проклиналъ въ вѣка и пространства, бросаль свой голосъ въ ихъ чудовищную, безумную пустоту. И почудилось мнѣ: вмѣстѣ съ проклятиемъ его встаютъ изъ гроба гигантскія тѣни умершихъ столѣтій; и идутъ торжественно въ кровавой мглѣ; и новыя встаютъ за ними; и безконечной вереницей огромныхъ, блѣдныхъ, окровавленныхъ тѣней онъ беззвучно облегаютъ землю и въ пространство направляютъ свой страшный путь»... Вотъ вамъ въ общей картинѣ не одна человѣческая жизнь, а жизнь всего человѣчества, міровая жизнь, заслуживающая только проклятия звѣря — и проклятия человѣка. «Я боюсь проклятій звѣря. За что онъ проклялъ меня, за что? Развѣ я виноватъ, что на землѣ такъ плохо? Когда я родился, земля была такою; и такою же останется она, когда я умру. Вѣдь такъ коротка и бессильна моя жизнь!..» — говорить человѣкъ, и самъ проклинаетъ жизнь, землю и небо, проклинаетъ вмѣстѣ съ умирающимъ звѣремъ: «мы будемъ проклинать вмѣстѣ. Кричи, громче кричи! Пусть услышитъ тебя городъ, и земля, и небо!.. Кричи обѣ опасности, кричи обѣ ужасѣ этой жизни, кричи о смерти! И проклиной, проклиной, и къ твоему проклятию звѣря я присоединю мое послѣднее проклятие человѣка»... Мы уже знаемъ, что все творчество Л. Андреева является такимъ крикомъ обѣ ужасѣ жизни, о смерти, проклятиемъ человѣка, бесплодно ищущаго объективную цѣлесообразность въ своей человѣческой жизни. Нѣтъ такого объективнаго смысла человѣческой жизни въ «вѣчности и тайнѣ» — обѣ этомъ говорить намъ «Жизнь Василія Ішивейскаго»; нѣтъ такого объективнаго смысла и въ «шоколадѣ и какао» — таковъ выводъ изъ «Проклятия звѣря». Жизнь массы, жизнь человѣчества имѣеть не болѣе смысла, чѣмъ жизнь одного человѣка.

VI.

Крайняго своего развитія и наивысшаго напряженія эта тема достигаетъ въ «Жизни Человѣка»; на этомъ произведеніи Л. Андреева мы остановимся особенно подробно. Здѣсь передъ нами выступаетъ «Нѣкто въ сѣромъ», на голову которого Л. Андреевъ обрушивалъ свои проклятия съ первыхъ же шаговъ своего художествен-

наго творчества, придавая ему, этому «Нѣкоему въ сѣромъ», различные имена. Василій Оивейскій просто и торжественно вѣрилъ въ Бога, но читателю ясно, что вмѣсто Бога въ темномъ углу поповскаго дома все время стоялъ Нѣкто въ сѣромъ; «надъ всей жизнью Василія Оивейскаго тяготѣль суровый и загадочный рокъ» — этими словами начинается разсказъ о жизни Василія Оивейскаго. И «молитвенный вопль, похожій на вызовъ», и проклятия Богу измученного жизнью попа — все это мы найдемъ и въ «Жизни Человѣка»... И когда гимназистъ Павель (изъ разсказа «Въ туманѣ») думаетъ о «печальной и лишенной смысла жизни», «о жизни, въ которой все непонятно и совершаются съ жестокой необходимостью», то читатель невольно вспоминаетъ олицетвореніе этихъ мыслей въ образѣ Нѣкоего въ сѣромъ. И когда (въ «Елеазарѣ») люди чувствуютъ себя «покорными рабами требовательной жизни и безотвѣтными слугами грозно молчащаго Ничто», то мы знаемъ, что это «грозно молчащее Ничто» и есть именно Нѣкто въ сѣромъ. «И отвѣтомъ ему было молчаніе» — на этой фразѣ построено цѣлый разсказъ Л. Андреева («Молчаніе»), и черточка эта получила свое развитіе опять-таки въ образѣ Нѣкоего въ сѣромъ. И тотъ «городъ», который ненавистенъ Л. Андрееву за то, что въ его громадности «было что-то упорное, непобѣдимое и равнодушно-жестокое» — развѣ не является онъ адекватнымъ выраженіемъ той силы, олицетвореніемъ которой является Нѣкто въ сѣромъ? Наконецъ, у Л. Андреева есть цѣлый разсказъ «Стѣна», посвященный все тому же образу. Нѣкоторые объясняли этотъ разсказъ съ чисто «политической» точки зрѣнія, считая эту «Стѣну» олицетвореніемъ русскаго политическаго строя и чуть ли не режима Плеве... Нечего и говорить, насколько неудачно подобное «объясненіе»: послѣ «Жизни Человѣка» для каждого должно быть ясно, что «Стѣна» — это судьба, рокъ, Мойра, Нѣкто въ сѣромъ. И право же слишкомъ много чести не только режиму Плеве, но и всему русскому абсолютизму XIX вѣка сравнивать его съ вѣчной, неизмѣнной, фатальной силой, какою представляется Л. Андрееву «Стѣна». Помните: «мы ударились грудями о стѣну и она окрасилась кровью нашихъ ранъ, но осталась глухой и неподвижной..... Неподвижна и высока была стѣна и равнодушно отражала она вой... — Отдай мнѣ мое дитя! — сказала женщина. И всѣ мы молчали, и яростно улыбались, и ждали, что отвѣтить стѣна..., мы ждали нетерпѣливо, грозно, что отвѣтить подлая убийца... А она — она молчала. Такая лживая и подлая, она притворялась, что не слышитъ, и злобный смѣхъ сотрясъ мои изъязвленныя щеки, и безумная ярость наполнила наши изболѣвшіяся сердца. А она все молчала, равнодушно и тупо, и тогда женщина гнѣвно потрясла тощими желтыми руками и бросила неумолимо: — Такъ будь же проклята, ты, убившая мое дитя!.... ...И звенящимъ тысячеголосымъ стономъ повторила вся земля: — Будь проклята! Проклята! Проклята!»... Если вспомнить это мѣсто и сравнить его съ соотвѣтственными положеніями «Жизни Человѣка», то «Стѣна» и «Нѣкто въ сѣромъ» станутъ двумя выраженіями одной и той же мысли.

Позволю себѣ сдѣлать небольшое отступленіе или, вѣрнѣе, немного забѣжать впередъ и указать на одно мѣсто изъ Л. Шестова, освѣщающаго эту же «Стѣну» съ нѣсколькою иной точки зрѣнія: Л. Шестовъ видѣть въ этой «Стѣнѣ» логическія и этическія нормы, за предѣлы которыхъ человѣку закрыть путь. Онъ приводить слѣдующія извѣстныя слова Достоевскаго (изъ его геніальныхъ «Записокъ изъ подполья»): «передъ стѣной непосредственные люди... искренно пассуютъ. Для нихъ стѣна не отводъ, какъ, напримѣръ, для насъ... не предлогъ воротиться съ дороги. Нѣтъ, они пассуютъ со всей искренностью. Стѣна имѣть для нихъ что-то успокоительное, нравственно разрѣшающее и окончательное, пожалуй, даже что-то мистическое»... Приведя эти слова Достоевскаго, Л. Шестовъ замѣчаетъ: «...кто не узнаетъ въ этой стѣнѣ кантовскихъ а priori, поставленныхъ передъ Ding an sich? Философъ они очень удовлетворяли, но Достоевскій... сознательно предпочитаетъ лучше расшибить голову о стѣну, чѣмъ примириться съ ея непроницаемостью»... (Л. Шестовъ, «Достоевскій и Ницше»,

стр. 95). За Достоевскимъ идетъ и Л. Андреевъ; хотя онъ понимаетъ подъ «стѣной» не логическія нормы, а отвлеченніе понятіе рока, судьбы, майры, воплощаю ихъ въ Нѣкоего въ сѣромъ, но и для него легче разбить себѣ голову объ эту стѣну, чѣмъ приими́ться съ нею. И пусть «стѣна» всегда остается побѣдительницей, но непримири́мое проклятие Человѣка, объективно побѣжденного, дѣлаетъ его побѣдителемъ съ на-шай субъективной, человѣческой точки зре́нія.

Это — основной выводъ изъ «Жизни Человѣка», къ которой мы теперь и пере-ходимъ. Мы видѣли, что въ цѣломъ рядъ произведеній Л. Андреева разсъяны черточки, собранныя имъ во-едино въ образѣ Нѣкоего въ сѣромъ; въ цѣломъ рядъ произве-деній Л. Андреева ставятся тѣ же вопросы о смыслѣ жизни, соединенные имъ теперь какъ въ одномъ фокусѣ въ «Жизни Человѣка»; вещь эта можетъ поэтому считаться синтетической для цѣлой полосы творчества Л. Андреева. Не будемъ останавливать-ся на частностяхъ и мелочахъ, а перейдемъ къ центральному пункту этого произве-денія Л. Андреева — къ ничтожеству Человѣка и его отношенію къ той силѣ вещей, которую олицетворяетъ собою Нѣкто въ сѣромъ. Здѣсь мы имѣемъ попрежнему двѣ точки зре́нія на Человѣка и на смыслъ его жизни: объективная безсмысленность этой жизни ярко противопоставляется ея субъективной осмысленности, и весь вопросъ въ томъ — какой изъ этихъ двухъ точекъ зре́нія даетъ Л. Андреевъ окончательную побѣду? Казалось бы, не можетъ быть двухъ отвѣтовъ на этотъ вопросъ, такъ какъ побѣда Нѣкоего въ сѣромъ предрѣшена еще задолго до рожденія Человѣка: «пріядя изъ ночи, — говорить про Человѣка Нѣкто въ сѣромъ, — онъ возвратится къ ночи и сгинеть безслѣдно въ безграницности временъ, не мыслимый, не чувствуемый, не зна-емый никѣмъ»... (Прологъ). Для этого Нѣкоего въ сѣромъ и его свиты, вродѣ Старухъ, жизнь Человѣка есть сплошная, несознаваемая имъ безсмыслица: « — зачѣмъ онъ рожаютъ? — пересмѣиваются между собой Старухи: — это такъ больно. — А зачѣмъ они умираютъ? Это еще больнѣе! — Да. Рожаютъ и умираютъ. — И вновь рожа-ютъ»... И Старухи тихо смѣются. Смѣется надъ Человѣкомъ, быть можетъ, и «Нѣкто въ сѣромъ, именуемый Онъ»: « — говорятъ, что Онъ смѣется самъ, — перешептыва-ются между собой Старухи. — Кто это видѣлъ? Вы передаете просто слухи: о Немъ такъ много лгутъ»... Но отчего бы Ему и не смѣяться, если вся жизнь есть только діа-воловъ водевиль, если люди рожаются и умираютъ, и вновь рожаются и вновь умираютъ? Точка зре́нія субъективногоteleologizma Ему не можетъ быть понятна, а съ высоты объективнаго міропониманія развѣ не забавень этотъ человѣческій театръ маріонетокъ, этотъ безсмысленный круговоротъ человѣческой жизни? Развѣ не смѣшно, что безслѣдно погибаетъ въ безграницности временъ жизнь Человѣка, что въ его свѣтломъ и богатомъ домѣ выбиты рамы, что вѣтеръ ходить по всему дому и шуршить соромъ, а въ дѣтской кроваткѣ «крысы завели свое гнѣздо и выводятъ дѣтей — такихъ милень-кихъ, голенькихъ крысятокъ»... Итакъ, сомнѣній нѣть: побѣдилъ Нѣкто въ сѣромъ и рабы его празднуютъ эту побѣду...

Такъ ли это, однако? Не слишкомъ ли торопится Молохъ объективизма, говоря словами Бѣлинского, праздновать свою слишкомъ легкую побѣду? Не упускаетъ ли онъ изъ виду, что кроме объективногоteleologizma существуетъ еще teleologizmъ субъективный? Послушаемъ самого Человѣка; извиняюсь за длинную цитату. «Эй ты, какъ тебя тамъ зовутъ: Рокъ, дьяволъ или жизнь, я бросаю тебѣ перчатку, зову тебя на бой! Малодушные люди преклоняются предъ твою загадочной властью: твоё каменное лицо внушаетъ имъ ужасъ, въ твоемъ молчаніи они слышатъ зарожденіе бѣдъ и грозное паденіе ихъ. А я смѣль и силенъ и зову тебя на бой. Поблестимъ мечами, позвенимъ щитами, обрушимъ на головы удары, отъ которыхъ задрожитъ земля! Эй, выходити на бой!.....Твоей зловѣщей косности я противопоставлю мою живую и бод-рую силу; мрачности твоей — мой яркій и звонкій смѣхъ! Эй, отражай удары! У тебя каменный лобъ, лишенный разума — бросаю въ него раскаленные ядра моей сверка-

ющей мысли; у тебя каменное сердце, лишенное жалости — сторонись, я лью въ него горячую отраву мятежныхъ криковъ!.. Побѣждая, я буду пѣть пѣсни, на которыя откликается вся земля; молча падая подъ твоимъ ударомъ, я буду думать лишь о томъ, чтобы снова встать и ринуться на бой! Въ моей бронѣ есть слабыя мѣста, я знаю это. Но покрытый ранами, истекающій алої кровью, я силы соберу, чтобы крикнуть: ты еще не побѣдилъ, злой недругъ Человѣка!.....И умирая на полѣ браны, какъ умираютъ храбрые, однимъ лишь возгласомъ я уничтожу Твою слѣпую радость: я побѣдилъ! Я побѣдилъ, злой врагъ мой, ибо до послѣдняго дыханія не призналь я Твоей власти!»... Здѣсь передъ нами другая крайность: слишкомъ легко празднуетъ Человѣкъ свою побѣду надъ Молохомъ объективизма. Но не правъ ли, однако, Человѣкъ? Вѣдь онъ впослѣдствіи исполнилъ все, какъ сказалъ, прибавивъ только свое проклятие безсмысленной судьбы: «будь проклята, будь проклята вовѣки! И проклятиемъ я побѣждаю тебя. Что можешь еще сдѣлать ты со мною? Вали меня на земль, вали, я буду смѣяться и кричать: будь проклята! Клещами смерти зажми мнѣ ротъ — послѣдней мыслью я крикну въ твои ослиныя уши: будь проклята, будь проклята!»... Но вотъ приходитъ къ Человѣку смерть, — она находить его въ грязномъ кабакѣ, куда онъ ходить, чтобы спастись отъ гнетущаго одиночества. Что суть дѣла здѣсь не въ «кабакѣ», а въ «одиночествѣ» — этого многіе не понимали; Л. Андреевъ вынужденъ былъ поставить точку надъ і во второмъ варіантѣ «Смерти Человѣка» (см. Альманахъ «Шиповникъ», кн. 4). Помните послѣдній разговоръ Пьяница:

« — Зачѣмъ ходить сюда Человѣкъ? Онъ пить мало, а сидить много. Не надо его.

— Пусть идетъ въ свой домъ. У него свой домъ.

— Пятнадцать комнатъ.

— Не трогайте его, ему больше некуда ходить»... Здѣсь настигаетъ его смерть. И Человѣкъ умираетъ побѣдителемъ: онъ «встаетъ, выпрямляется, закидываетъ сѣдую, красивую, грозно прекрасную голову и кричить неожиданно громко, громко, призывнымъ голосомъ, полнымъ тоски и гнѣва: ...«Гдѣ мой оруженосецъ? — Гдѣ мой мечъ? — Гдѣ мой щитъ? — Я обезоруженъ! — Скорѣе ко мнѣ! — Скорѣе! — Будь прокля...» Падаетъ на стулъ и умираетъ»... Умираетъ, до послѣдняго дыханія не признавая власти Рока, умираетъ побѣдителемъ, ибо тотъ

.....кто смерть пріялъ въ бою,
Тотъ развѣ палъ и побѣженъ? —

говоря словами М. Горькаго. И если даже согласиться, что Человѣкъ умеръ не побѣдителемъ, то развѣ не ясно зато во всякомъ случаѣ, что онъ умеръ не побѣженнымъ?

VII.

Что же это за странный поединокъ, въ которомъ, быть можетъ, есть два побѣдителя и навѣрное нѣть ни одного побѣженного? Отвѣтъ на это мы уже дали выше: здѣсь передъ нами человѣческая жизнь рассматривается съ двухъ противоположныхъ точекъ зрѣнія — съ точекъ зрѣнія объективнаго и субъективнагоteleologизма. Объективнаго смысла человѣческой жизни нѣть — вотъ что еще и еще разъ говорить намъ Л. Андреевъ образомъ Нѣкоего въ сѣромъ. И тщетна надежда найти этотъ смыслъ, перенося свои упованія съ человѣка на человѣчество; такія тенденціи иногда замѣтны и у Л. Андреева, но онъ самъ ихъ ядовито высмѣиваетъ въ «Жизни Человѣка». Вотъ небольшой диалогъ между Человѣкомъ и его женой, когда уже жизнь прошла въ вѣчномъ стремлѣніи къ чему-то впереди, къ какой-то несуществующей цѣли, когда впереди только

смерть и когда Человѣкъ цѣпляется за послѣднюю надежду жизни въ человѣчествѣ: «это сдѣлано хорошо, — говорить Человѣкъ про построенный имъ домъ, — и, можетъ быть — какъ ты думаешь? — переживетъ меня хоть немного?..

— Около того дома (отвѣчаетъ жена) я видѣла молодого художника. Онъ внимательно изучалъ зданіе и срисовывалъ его въ альбомъ.

— А, какъ же ты не сказала мнѣ этого, мой другъ. Это очень важно, очень важно. Это значитъ, что моя мысль передается другимъ людямъ, и пусть меня забудутъ, она будетъ жить. Это очень важно, жена, чрезвычайно важно»...

Если Нѣкто въ сѣромъ способенъ смѣяться, то вѣроятно Онъ смѣялся при произнесеніи Человѣкомъ этихъ словъ. Это все та же престарѣлая и худосочная иллюзія о бессмертіи въ потомствѣ, которой человѣкъ склоненъ уг҃шать себя за неимѣніемъ вѣры въ настоящее бессмертіе. Человѣкъ смертенъ — но человѣчество бессмертно; человѣкъ несчастливъ — человѣчество будетъ счастливо: мы уже сказали, что Л. Андреевъ иногда готовъ проповѣдывать подобныя мысли, производить эту продажу бессмертія оптомъ и въ розницу; но въ данномъ случаѣ онъ, повидимому, какъ и Нѣкто въ сѣромъ, самъ смѣется надъ Человѣкомъ. По крайней мѣрѣ эти же мысли онъ вкладываетъ въ уста одного изъ Родственниковъ, изрекающаго пошлѣйшія сентенціи во всей второй половинѣ первой картины. Цѣль жизни онъ видитъ въ воспитаніи дѣтей: «воспитывая ребенка, устранивъ отъ него тѣ ошибки, жертвой которыхъ мы были, укрѣпляя его умъ нашимъ собственнымъ богатымъ опытомъ, мы, такимъ образомъ, создаемъ лучшаго человѣка и медленно, но вѣрно движемся къ конечной цѣли существованія — къ совершенству»... Къ совершенству, «къ звѣздамъ»... Если бы рѣчь шла о субъективной, нами поставленной цѣли, то эта рѣчь почтенного филистера была бы хоть отчасти приемлемой; но господа объективисты упорно твердятъ намъ о конечной цѣли, предуказанной намъ Богомъ, природой, ходомъ вещей и вообще кѣмъ-то или чѣмъ-то со стороны. Надъ этой вѣрой намѣренно или ненамѣренно поставилъ крестъ Л. Андреевъ образомъ Нѣкоего въ сѣромъ; объективнаго смысла, объективной цѣли въ жизни человѣка нѣть — вотъ что говорить намъ это его произведеніе. Но субъективная дѣль, субъективный смыслъ? Ихъ Л. Андреевъ затушевываетъ и во всякомъ случаѣ не показываетъ ихъ такъ ясно, какъ могъ бы сдѣлать; и намъ, читателямъ, приходится иногда договаривать за него, ставить точки надъ і. Происходитъ это оттого, что Л. Андреевъ далеко не съ той силой убѣждѣнъ въ субъективной осмысленности человѣческой жизни, съ какой силой онъ убѣждѣнъ въ ея объективной безмысленности; онъ все какъ-то не можетъ вполнѣ согласиться съ тѣмъ, что жизнь сама по себѣ минутная человѣческая жизнь, имѣть свои цѣли въ настоящемъ и что здѣсь бессиленъ передъ человѣкомъ Нѣкто въ сѣромъ, кто бы онъ ни былъ. Любопытно вотъ что: на Василія Єивейскаго Л. Андреевъ обрушилъ кучу бѣдствій; но на Человѣка онъ ихъ вовсе не обрушиваетъ до самой его старости. Это сдѣлано намѣренно, такъ какъ если и такая жизнь заслуживаетъ только проклятій, то что же говорить о всякой другой жизни? Здѣсь и счастливое дѣство, и веселая бѣдность, и проходящая черезъ всю жизнь любовь, и яркая молодость, и слава, и богатство, и сынъ, у котораго кудри какъ солнечные лучи... Когда Человѣкъ уже состарился, то этому сыну его кто-то разбилъ голову камнемъ; ударъ камнемъ въ голову — и «молодое, полное жизни, надеждъ на будущее, веселое, прекрасное, радостное существо вдругъ обращается навсегда въ негоднаго калѣку», болѣе того — умираетъ (мы уже приводили эти слова Л. Шестова и встрѣтимся съ ними еще разъ). Это проявленіе безмысленаго мірового зла ожесточаетъ душу Человѣка, онъ апеллируетъ къ міровой справедливости. «Повѣрь мнѣ, выздоровѣть нашъ сынъ, — говорить жена, — развѣ это будетъ справедливо если молодое умреть раньше старого»... — «А гдѣ ты видѣла справедливое, жена?» — съ горечью отвѣчаетъ Человѣкъ, но все же хватается, какъ утопающій за соломинку, за послѣднюю надежду: «быть можетъ, отзовется вѣчная справедливость, если преклонять колѣни старики»... Но вѣдь

Нѣкто въ сѣромъ — это мертвая, механическая сила, рокъ, мойра, судьба: какъ же можно предъявлять къ ней требованія справедливости? Какъ можно ждать и жаждать отъ косной и слѣпой силы объективнаго телеологизма? Конечно, утопая, можно хвататься и за соломинку; но нельзя основывать свое міровоззрѣніе на какомъ-нибудь моментѣ аффекта или на какомъ-нибудь единичномъ импульсѣ. Смотря правдѣ смѣло въ глаза, мы должны признать неотвратимость мірового зла и искать противоядія не за предѣлами нашего разума, а въ самой нашей многоликой и многообразной жизни. Мертвая механическая сила не можетъ услышать живого человѣческаго голоса; молитвы тутъ такъ же беспильны, какъ и проклятія. Но это не мѣшаетъ нашей жизни имѣть вполнѣ ясно выраженный субъективный смыслъ.

Цѣль жизни — въ настоящемъ, а не въ будущемъ; цѣль жизни — въ каждомъ данномъ моментѣ; цѣль жизни — во всей полнотѣ ея переживаній. Этого человѣкъ не хочетъ видѣть, этого онъ не хочетъ понять. Когда къ нему приходитъ гнетущее горе — онъ проклинаетъ свою жизнь, а долгіе годы свѣтлой радости онъ торопится прожить скорѣе, лихорадочно стремясь къ какой-то призрачной цѣли, стоящей на его пути гдѣ-то въ будущемъ, въ то время какъ она стоитъ за его спиной. И какъ это трудно — осознать, что *каждый данный моментъ и есть цѣль*; какъ это трудно, если судить по тому, что во всей русской литературѣ XIX-го вѣка одинъ только Герценъ осмѣлился стать на эту точку зрѣнія (объ этомъ еще будетъ рѣчь [ниже](#)) и стоять на ней до конца, не впадая въ то же время ни въ абсолютный эгоизмъ, ни въ штирнеріанство. Очевидно, не всѣмъ подъ силу эта точка зрѣнія субъективизма, лишающая человѣка права и возможности опираться на объективное и подбадривать себя иллюзіями міровой гармоніи, человѣчества, прогресса. Не всѣ поэтому могутъ и хотятъ видѣть, что въ «Жизни человѣка» была не только смерть сына и не только нелѣпый «балъ», но была и любовь, и борьба, и слава, и радость побѣды... Что перевѣшивается? — это дѣло психологіи человѣка; оптимизмъ или пессимизмъ равно недоказуемы и неопровергнуты логическими посылками. Но не надо все-таки забывать, что если у Человѣка есть «часы унынія и тоски, когда смертнымъ томленіемъ омрачается душа», то есть у него и «часы радости, когда высоко парить его свободный и смѣлый духъ» — такъ говорить Нѣкто въ сѣромъ (Прологъ). И когда Человѣкъ умираетъ, а Старухи злорадно шепчутъ ему на ухо: «ты сейчасъ умрешь, а ты помнишь?» — и напоминаютъ ему всѣ свѣтлые минуты его жизни, чтобы подчеркнуть ихъ безсмысленность, то отъ лица Человѣка мы можемъ сказать: «да, вы правы — во всѣхъ моихъ переживаніяхъ нѣть и не было объективнаго смысла. Но вѣдь это прошедшее было когда-то для меня настоящимъ — и ясный внутренній смыслъ носила тогда моя жизнь. Я страдалъ, я любилъ, я хотѣлъ; вмѣстѣ съ другими людьми я ставилъ себѣ субъективныя, но общія многимъ цѣли и боролся за ихъ осуществленіе; я жилъ всей полнотой доступной человѣку жизни и съ гордостью носилъ имя Человѣка. Теперь я умираю; умрутъ когда-нибудь всѣ люди до послѣдняго, но это отсутствие объективнаго смысла въ жизни человѣка и человѣчества не страшитъ меня, такъ какъ я искалъ смысла не въ будущемъ, а въ настоящемъ. И пусть потухнетъ солнце, пусть разсыплется пылью земля, но то, что было — было; моя любовь, моя ненависть, вся полнота моихъ переживаній дали моей жизни тотъ внутренній смыслъ, послѣ котораго я не нуждаюсь въ безсмертіи ни на землѣ, ни на небѣ...

И есть иль нѣть дорога сквозь гроба —
Я былъ, я есмь! Мнѣ вѣчности не надо!»

VIII.

Въ «Жизни Человѣка» Л. Андреевъ намѣренно грубыми ударами, намѣренно упрощенными мазками очерчивалъ, ставилъ и рѣшалъ въ наиболѣе общей формѣ

вопросъ о смыслѣ человѣческой жизни; въ другихъ своихъ произведеніяхъ — изъ которыхъ мы особенно подчеркнемъ его драмы «Къ звѣздамъ», «Савву», «Царь Голодъ» и «Черная маска» — онъ беретъ этотъ же вопросъ въ другой плоскости, иногда въ частныхъ формахъ, и приходитъ къ нѣсколько инымъ выводамъ; очевидно, онъ еще самъ себѣ не уяснилъ окончательного отвѣта. Вотъ, напримѣръ, отдѣльный вопросъ: человѣкъ — цѣль или средство? Вопросъ этотъ тѣсно связанъ съ проблемой о смыслѣ человѣческой жизни; если человѣкъ — средство, то смыслъ жизни лежитъ въ будущемъ, въ будущности класса, общества, человѣчества; если человѣкъ — цѣль, то смыслъ его жизни лежитъ въ настоящемъ, въ широтѣ, глубинѣ и интенсивности его переживаний. Мы только-что видѣли, какъ ставить и рѣшаетъ Л. Андреевъ эти вопросы въ схематическихъ формахъ своей «Жизни Человѣка»; посмотримъ, какъ относится онъ къ этимъ же вопросамъ при ихъ реальной и конкретной постановкѣ.

Всякій человѣкъ — самоцѣль: этотъ принципъ этическаго индивидуализма былъ воспринятъ и Л. Андреевымъ. Весь его знаменитый «Разсказъ о Сергѣѣ Петровичѣ» является протестомъ отъ лица незамѣтной, обыденной, сѣрой личности, возмутившейся противъ необходимости быть въ жизни только средствомъ для чего-то, быть только (какъ говорилъ самъ Сергѣй Петровичъ) «полезностью» для окружающихъ, причемъ полезность эта находится вѣнѣ его воли. Онъ возмутился: «я не хочу быть нѣмымъ материаломъ для счастія другихъ: я самъ хочу быть счастливымъ, сильнымъ и свободнымъ и имѣю на это право»... Эта простая мысль, — замѣчаетъ отъ себя Л. Андреевъ, — «выговаривается такъ рѣдко и съ такимъ трудомъ!»... (I, 94). И эта же мысль приходитъ въ голову Василію Оивейскому, когда онъ видитъ отвратительного и грязнаго калѣку, нищаго, вора и убийцу, когда думаетъ объ ужасной нищетѣ этой искалѣченной души: «съ грозной ясностью онъ (Василій Оивейскій) понялъ, какъ ужасно и безвозвратно лишенъ этотъ человѣкъ всего человѣческаго, на что онъ имѣлъ такое же право, какъ короли въ своихъ палатахъ, какъ святые въ своихъ кельяхъ»... И этотъ мотивъ проходитъ черезъ все творчество Л. Андреева, сталкиваясь съ другимъ мотивомъ, совершенно противоположнымъ. Подъ однимъ изъ портретовъ Л. Андреева можно видѣть слѣдующій его автографъ: «губя отдѣльныхъ людей, правда спасаетъ человѣка»... Здѣсь уже отдѣльные, живые люди играютъ роль средства для человѣка вообще; иными словами это значитъ, что Л. Андреевъ видитъ цѣль въ будущемъ, въ человѣчествѣ, въ прогрессѣ и т. п. — т.-е. въ томъ самомъ, что почти въ то же время онъ высмѣялъ въ «Жизни Человѣка», вкладывая эту мысль въ безконечно тупую голову одного изъ Родственниковъ, какъ мы видѣли выше. Здѣсь два противоположныхъ мнѣнія рѣзко сталкиваются; здѣсь передъ нами та самая борьба шуйцы съ десницей, которую мы отмѣтили нѣсколько выше и у Т. Сологуба. Окончательной победы той или другой мы еще не имѣемъ у Л. Андреева; намъ остается поэтому только прослѣдить ихъ взаимоотношеніе, которое особенно рельефно проявилось въ двухъ его драмахъ — «Савва» и «Къ звѣздамъ».

Вотъ передъ нами Савва со своей сестрой Липой, какъ представители этихъ двухъ взаимнопротивоположныхъ точекъ зрењія. Представьте себѣ, что воскресъ Василій Оивейскій, со своей доходящей до озлобленія жалостью къ людямъ и со своей уже окончательно опредѣлившейся ненавистью къ Богу — и вы получите Савву. Есть у тебя враги? — спрашиваетъ Липа: — «ну, такой врагъ, одинъ, что ли, котораго бы ты особенно не любилъ, ненавидѣлъ?» — «Такой, пожалуй, есть: Богъ, — отвѣчаетъ Савва и, видя недовѣріе и ужасъ сестры, поясняетъ: — Богъ, я говорю. Ну, тотъ, кого вы называете вашимъ Спасителемъ»... Такъ опредѣлилось его отношеніе къ Богу; опредѣлилось и его отношеніе къ людямъ: онъ хочетъ огнемъ уничтожить весь старый міръ и на голой землѣ оставить голаго человѣка, чтобы начать строить все съзнова; губя отдѣльныхъ людей, онъ хочетъ спасти человѣка... И онъ почти буквально повторяетъ эти слова Л. Андреева, отвѣчая на вопль Липы: «это ужасно! Сколько кро-

ви!» — равнодушными словами: «да, многовато... Когда дѣло идетъ о существованіи человѣка, тутъ ужъ не приходится жалѣть объ отдѣльныхъ экземплярахъ»... И въ то время какъ для Липы каждый человѣкъ цѣль, въ то время какъ она боится «неизбывныхъ страданій людскихъ, для Саввы человѣкъ — только средство; для Саввы — цѣль въ человѣчествѣ, на пути къ счастью которого стоитъ только «неизбывная человѣческая глупость», закрѣпленная въ формахъ культуры. И хотя Л. Андреевъ — не Савва, но развѣ не любопытно, что онъ вкладываетъ въ его уста свои подлинныя чувства и слова? Одинъ примѣръ мы только-что привели; вотъ другой. «Городовъ настроили — идіоты!» — говоритъ Савва про людей, и позднѣе еще разъ повторяетъ: «потомъ, дядя, мы сожжемъ ихъ города!» (IV, 228 и 255). А въ своемъ прекрасномъ разсказѣ «Проклятие звѣря» Л. Андреевъ повторяетъ уже отъ себя: «онъ сожгетъ ихъ города. — Кто? — Тотъ, кто захочетъ правды. И наступить время, когда ни одного города не останется на землѣ. Быть можетъ, не останется и человѣка»... Повторяю еще разъ: Л. Андреевъ не стоитъ за Саввой, но въ высшей степени характерны эти совпаденія, показывающія намъ, что и для Л. Андреева человѣкъ бываетъ средствомъ. Характерно однако и то, что эта мысль является у Л. Андреева слѣдствіемъ только великаго отчаянія, великой тоски отъ окружающаго нась зла, ужаса, страданій. Быть можетъ, еще болѣе характерно, что слѣдствіемъ этого же великаго отчаянія являются діаметрально противоположныя мысль и чувство Маруси изъ драмы «Къ звѣздамъ».

Въ этой драмѣ передъ нами снова стоять лицомъ къ лицу два человѣка разныхъ воззрѣній на смыслъ человѣческой жизни: для Маруси — цѣль въ настоящемъ, живой и страдающей человѣкъ не можетъ служить для нея средствомъ; для Сергія Николаевича человѣкъ есть только средство, а цѣль лежитъ въ далекомъ будущемъ даже не человѣчества, а всей вселенной — таково его пантеистическое міросозерцаніе. Столкновеніе этихъ двухъ убѣжденій — центральный пунктъ всей драмы. Пользуясь случаемъ остановиться на одномъ легко возникающемъ недоразумѣніи, связанномъ съ признаніемъ цѣли въ настоящемъ. Причинно-обусловленный рядъ можетъ разматриваться нами, какъ рядъteleологически-обусловленный; человѣческое «я» является въ каждый данный моментъ пунктомъ пересѣченія причины и средства, слѣдствія и цѣли — обѣ этомъ у насъ была уже рѣчь выше. Съ этой точки зрѣнія цѣль лежитъ въ каждомъ данномъ моментѣ, цѣль лежитъ въ настоящемъ; но это значитъ только, что объективной цѣли въ будущемъ нѣтъ. Отсюда далеко еще до умозаключенія, что разъ цѣль въ настоящемъ, то мнѣ нѣтъ никакого дѣла до будущаго; нѣтъ, ни отъ прошлаго, ни отъ будущаго человѣкъ не можетъ и не долженъ отказываться. Объективной цѣли мірового процесса нѣтъ, но у меня есть мои субъективныя цѣли — и я буду стремиться къ ихъ достижению. Именно на этой точкѣ зрѣнія стоять все время Михайловскій, проводя свою теорію «субъективнаго антропоцентризма»; одно это служить достаточнымъ указаниемъ на совмѣстимость такого міровоззрѣнія съ общественными идеалами. Поэтому работающая для будущаго революціонерка Маруся вовсе не расходится этимъ съ теоріей «цѣли въ настоящемъ», такъ какъ будущее это намѣчено ею же, это будущее — ея субъективная цѣль. Бываютъ, конечно, такіе «мѣщане отъ революції», какъ Анна или Верховцевъ, къ которымъ въ этой своей драмѣ Л. Андреевъ относится такъ недружелюбно, для которыхъ революція простое ремесло и которые черезъ головы людей смотрѣть только въ будущее человѣчества при его достижениіи земного рая. Бываютъ люди, которые смотрѣть еще дальше, которыхъ интересуетъ не будущее человѣчества, а будущее вселенной; таковъ Сергій Николаевичъ. Противъ его точки зрѣнія возразить ничего нельзѧ — такая точка зрѣнія возможна и несокрушима никакими логическими аргументами; но это точка зрѣнія не человѣческая, а сверхъчеловѣческая, отъ которой когда-то съ одинаковымъ негодованіемъ отворачивались и Профанъ Михайловскаго и Иванъ Карамазовъ Достоевскаго.

Сергей Николаевич отрѣшился отъ земли и ея интересовъ; въ своей горной астрономической обсерваторіи онъ живетъ «за предѣлами предѣльного»... Тамъ внизу, на землѣ идетъ кровавая революція, въ которой принимаютъ участіе его дѣти; Николай, его сынъ, раненъ и брошенъ въ тюрьму и не сегодня-завтра будетъ разстрѣлянъ; а онъ, сходя со своей астрономической вышки, удивленно спрашиваетъ: «развѣ тамъ еще убиваютъ? Развѣ тамъ еще есть тюрьмы?»... Но если даже и разстрѣляютъ его сына — что за бѣда? «Въ мірѣ — говорить онъ — каждую секунду умираетъ по человѣку, а во всей вселенной, вѣроятно, каждую секунду разрушается цѣлый міръ. Какъ же я могу плакать и приходить въ отчаяніе изъ-за смерти одного человѣка?»... Изъ этого міра, гдѣ люди страдаютъ и умираютъ, онъ ушелъ въ свою обсерваторію и тамъ отсиживается отъ жизни; онъ не можетъ понять мірового зла и предпочитаетъ просто закрывать передъ нимъ глаза и искать смысла въ міровой жизни. «Смерть, несправедливость, несчастья, всѣ черныя тѣни земли — вотъ суетныя заботы», — говоритъ онъ; онъ ищетъ спасенія отъ нихъ въ мірѣ объективнаго. «Я думаю обо всемъ, — говоритъ онъ. — Я думаю о прошломъ, и о будущемъ, и о землѣ, и о тѣхъ звѣздахъ — обо всемъ. И въ туманѣ прошлаго я вижу миріады погибшихъ; и въ туманѣ будущаго я вижу миріады тѣхъ, кто погибнетъ; и я вижу космосъ, и я вижу вездѣ торжествующую безбрежную жизнь — и я не могу плакать объ одномъ... Жизнь, жизнь вездѣ. Сейчасъ, въ эту минуту — да, въ эту минуту! — рождается кто-то такой же, какъ Николай, лучше, чѣмъ онъ — у природы нѣть повтореній»... Для того, чтобы достичь высотъ такого объективизма, нужно сначала атрофировать въ себѣ все человѣческое; послѣ этого объективизмъ становится неуязвимъ ни логически, ни психологически. Но это не мѣшаетъ намъ, вслѣдъ за Иваномъ Карамазовымъ, чувствовать къ такой сверхъ-человѣческой точкѣ зрѣнія полнѣйшее отвращеніе, какое и чувствуетъ къ ней Маруся: «я не могу уйти отъ земли, — говоритъ она, — я не хочу уходить отъ нея: она такъ несчастна. Она дышетъ ужасомъ и тоской — но я рождена ею и въ крови моей я ношу страданія земли. Мнѣ чужды звѣзды, я не знаю тѣхъ, кто обитаетъ тамъ. Какъ подстрѣленная птица, душа моя вновь и вновь падаетъ на землю»... И какъ противъ врага идетъ Маруся противъ Сергея Николаевича: «я нашла, я знаю теперь, что я буду дѣлать, — говоритъ она. — Я построю городъ и поселю въ немъ всѣхъ старыхъ..., всѣхъ убогихъ, калѣкъ, сумасшедшихъ, слѣпыхъ. Тамъ будутъ глухонѣмые отъ рожденія и идиоты, тамъ будутъ изъѣденные язвами, разбитые параличемъ. Тамъ будутъ убийцы, тамъ будутъ предатели и лжецы и существа, подобныя людямъ, но болѣе ужасныя, чѣмъ звѣри. И дома будутъ такие же, какъ жители: кривые, горбатые, слѣпые, изъязвленные, дома — убийцы, предатели. Они будутъ падать на головы тѣхъ, кто въ нихъ поселится, они будутъ лгать и душить мягко. И у насъ будутъ постоянныя убийства, голодъ и плачъ; и царемъ города я поставлю Іуду и назову городъ: «Къ звѣздамъ!»... Этотъ городъ Маруси мы знаемъ; уже давно Л. Андреевъ обрисовалъ намъ его въ разсказѣ «Стѣна»... И какъ ни ужасно жить въ этомъ городѣ, гдѣ собрано воедино все міровое зло, гдѣ соединена въ одно цѣлое вся та безсмыслица жизни, изъ которой всѣ мы жаждемъ выхода, — но лучше жить въ этомъ городѣ и медленно погибать отъ вида безсмысленныхъ человѣческихъ страданій, чѣмъ уйти въ горы къ Сергею Николаевичу и жить его вѣрою въ «неизвѣстнаго друга», отдѣленнаго отъ насъ безконечностью пространства и времени. Лучше плакать вмѣстѣ съ матерью и съ невѣстой надъ безсмысленно разбитой молодой жизнью Николая, чѣмъ утѣшаться вмѣстѣ съ Сергеемъ Николаевичемъ, что вотъ въ эту же минуту рождается кто-нибудь лучшій его сына, что сынъ его безсмертенъ: «онъ въ тебѣ, онъ въ Петѣ, онъ во мнѣ — онъ во всѣхъ, кто свято хранить благоуханіе его души»... И во сколько разъ прекраснѣе, во сколько разъ человѣчнѣе тотъ моментъ «Жизни Человѣка», когда послѣ смерти сына Человѣкъ бросаетъ свое бесплодное проклятіе судьбѣ; во сколько разъ человѣчнѣе и прекраснѣе тотъ невольно приходящій на память — сопоставленіе это было уже сдѣлано критикой — отецъ

Илюши (въ «Братьяхъ Карамазовыхъ»), который въ отвѣтъ на слова своего умирающаго мальчика: «...какъ я умру, то возьми ты хорошаго мальчика, другого... назови его Илюшой и люби вмѣсто меня»... — можетъ только разразиться рыданіями и проскражетать: «не хочу хорошаго мальчика! не хочу другого мальчика! аще забуду тебѣ, Іерусалиме, да прилипнеть»... И упавъ на колѣни, онъ начинаетъ рыдать, «какъ-то нелѣпо взвизгивая»... И насколько эти «нелѣпія взвизгиванія» человѣчнѣе и прекраснѣе возвышенныхъ самоутѣшенній пантеиста-астронома!

Тутъ примиренія быть не можетъ; одно изъ двухъ — либо человѣческая, либо сверхъ-человѣческая (а потому и безчеловѣчная) точка зрењія. Л. Андреевъ, повидимому, хотѣлъ возможно сгладить это противорѣчіе: по крайней мѣрѣ Сергій Николаевич благословляетъ Марусю идти въ жизнь, а она начинаетъ утѣшать себя мыслью, что душа Николая живетъ въ ней, Марусѣ... И когда Сергій Николаевичъ, протягивая руки къ звѣздамъ, посыаетъ торжественный привѣтъ — «привѣтъ тебѣ, мой далекій, мой неизвѣстный другъ!», а Маруся, протягивая руки къ землѣ, посыаетъ скорбный привѣтъ «привѣтъ тебѣ, мой милый, мой страдающій братъ!», то по мысли автора это должно, вѣроятно, гармонически заканчивать всю драму; но тщетна эта попытка примирить непримируемое по своему существу. И рыдающія слова матери: «Колюшка!.. Колюшка!..», послѣднія слова драмы, лучше всего вскрываютъ всю внутреннюю фальшь попытки синтеза противоположныхъ точекъ зрењія Маруси и Сергія Николаевича. Если Л. Андреевъ, какъ можно думать, хоть отчасти стоялъ за Сергіемъ Николаевичемъ, то онъ хотѣлъ все же найти возможность общей почвы и съ Марусей; попытка совершенно невозможная. Онъ скоро это понялъ, потому что въ «Жизни Человѣка», произведеніи, написанномъ годомъ позднѣе, онъ уже далекъ отъ точки зрењія Сергія Николаевича; еще дальше отходитъ онъ отъ нея въ одномъ изъ послѣднихъ своихъ произведеній — «Царѣ Голодѣ», все содержаніе котораго лежитъ какъ-разъ въ области тѣхъ «суетныхъ заботъ», къ которымъ такъ равнодушенъ Сергій Николаевичъ — «смерти, несправедливости, несчастья и всѣхъ черныхъ тѣней земли».

IX.

«Черныя тѣни земли» — эти слова Сергія Николаевича можно было бы взять для характеристики вѣнчанаго построенія «Царя Голода»; внутреннее же содержаніе его сводится къ все той же проблемѣ о человѣкѣ-средствѣ и человѣкѣ-цѣли. Формулу эту, «человѣкъ-средство», можно рассматривать или «во времени», или «въ пространствѣ»; а именно: съ одной стороны, выраженіе «человѣкъ-средство» можетъ обозначать собою тотъ взглядъ, что современный человѣкъ является средствомъ для будущихъ поколѣній, унаваживаетъ собою будущую гармонію, — это тотъ самый этическій анти-индивидуализмъ «во времени», который былъ такъ ненавистенъ Ивану Карамазову. Но, съ другой стороны, формула «человѣкъ-средство» можетъ выражать собою тотъ взглядъ, что не для будущаго, а для настоящаго одна часть людей должна являться средствомъ для другой части; это тотъ самый этическій анти-индивидуализмъ «въ пространствѣ» (при условіи одновременности), который проповѣдуется всѣми врагами демократизма, всѣми аристократическими теоріями, примѣромъ которыхъ можетъ считаться знаменитая утопія Ренана (въ его «Dialogues et fragments philosophiques») или аналогичное воззрѣніе Нитцше. Первое пониманіе формулы «человѣкъ-средство», считающее человѣка средствомъ для будущихъ поколѣній, свойственно всѣмъ крайнимъ общественникамъ и государственникамъ, всѣмъ людямъ типа Сергія Николаевича и вообще всѣмъ исповѣдующимъ въ тѣхъ или иныхъ формахъ «религию Человѣчества»; второе пониманіе этой формулы, считающее часть людей средствомъ для другой части въ настоящее же время, свойственно всѣмъ анти-демократическимъ ученіямъ. Оба

эти рода этического анти-индивидуализма должны быть осуждаемы нами самимъ категорическимъ образомъ, причемъ осужденіе это является той нитью, которая связывает индивидуализмъ съ демократизмомъ. Мы не допускаемъ мысли о томъ, чтобы тѣ современныя формы жизни, которыя дѣлаютъ большинство человѣчества средствомъ для меньшинства, могли быть признаны закономѣрными этически; мы видимъ, что такова дѣйствительность, но мы боремся съ нею во исполненіе нашего субъективнаго идеала — и въ этомъ неизбѣжный дуализмъ въ нашемъ сознаніи между тѣмъ, что есть, и тѣмъ, что должно быть, между существомъ и должнымъ. И во имя нашего субъективнаго идеала мы боремся за соціальное и политическое освобожденіе тѣхъ классовъ и слоевъ общества, которые являются средствами для другихъ общественныхъ группъ, играющихъ роль цѣли. Но въ то же время мы не можемъ допустить и той мысли, чтобы прошлые поколѣнія человѣчества являлись только средствомъ для будущихъ поколѣній, чтобы прошлые и настоящія муки оправдывались будущимъ блаженствомъ: или мы должны получить отвѣтъ «за всѣхъ нашихъ братій по крови», или намъ совсѣмъ не надо никакого отвѣта.

Все это очень не ново и высказывалось въ русской публицистикѣ еще со временемъ Герцена, а позднѣе было развито подробно въ міровоззрѣніи Михайловскаго; соответственное отраженіе эти взгляды находили и въ художественной русской литературѣ. «Царь Голодъ» Л. Андреева въ этомъ отношеніи продолжаетъ традиціи русской литературы, являясь гнѣвной сатирой, рѣзкимъ осужденіемъ этого взгляда на часть человѣчества, какъ на средство для другой его части; и поскольку этотъ взглядъ есть отраженіе существующихъ отношеній, постольку «Царь Голодъ» Л. Андреева является проклятіемъ «сущему» во имя «должнаго», проклятіемъ соціальному злу, какъ частному случаю зла мірового: въ картинѣ «Суда надъ голодными» прокуроръ-Смерть всѣхъ обвиняемыхъ осуждаетъ «во имя дьявола». Жизнь человѣческая осуждается во имя дьявола потому, что нѣть смысла этой жизни, что вся жизнь есть сплошной безсмысленный «діаволовъ водевиль»... Одинъ изъ рабочихъ, олицетвореніе всей рабочей силы, представитель тѣхъ сотенъ миллионовъ работающихъ, чими руками «такъ измѣнено лицо земли, что теперь не узналъ бы ея самъ Творецъ» — съ недоумѣніемъ и угрозою спрашиваетъ: «зачѣмъ я дѣлалъ это? Чью волю я творилъ? Къ какой цѣли я стремился? Моя голова тупа. Я усталъ смертельно»... И здѣсь все тѣ же вопросы о смыслѣ жизни, отъ которыхъ Л. Андреевъ не можетъ и не想要 отойти; и здѣсь тѣ же проклятія тѣхъ и за тѣхъ, кто обречень играть роль только средства въ «діаволовомъ водевилѣ», именуемомъ жизнью. Правда, и среди этихъ обреченныхъ есть люди, которые готовы быть средствомъ для грядущей цѣли; помните, какъ у Чехова: «черезъ триста-четыреста лѣтъ вся земля обратится въ цвѣтущій садъ»..., «черезъ двѣsti — триста лѣтъ жизнь на землѣ будетъ невообразимо прекрасной, изумительной»..., «о, навѣрное, какая это будетъ жизнь, какая жизнь!»... Въ «Царѣ Годѣ» эти чеховскіе мотивы вложены въ уста молодого рабочаго, который, «кашляя кровью, улыбается и смотритъ въ небо»... Отчего? «Оттого, — отвѣчаетъ рабочій, — что на моей крови вырастутъ цвѣты и я уже вижу ихъ... Въ темнотѣ я научился поклоняться огню. Умирая, я понялъ, какъ прекрасна жизнь. О, какъ прекрасна!.. Это будетъ большой садъ, и тамъ будутъ гулять, не трогая другъ друга, и звѣри и люди»... Это взглядъ Чехова, но далеко не Л. Андреева, который не можетъ оправдывать настоящія страданія будущимъ блаженствомъ: въ этомъ мы имѣли достаточно случаевъ убѣдиться; формула «человѣкъ — средство» непріемлема для Л. Андреева ни въ одномъ изъ двухъ ея возможныхъ смысловъ, отмѣченныхъ выше.

Итакъ, Л. Андреевъ отошелъ отъ Сергѣя Николаевича, порвалъ съ нимъ. Смерть, несправедливость, несчастья и всѣ черныя тѣни земли — всѣ они снова властно стали передъ художественнымъ сознаніемъ Л. Андреева, а Смерть снова получила преобладающее значеніе въ его творчествѣ; попытка спрятаться за спиной Сергѣя Нико-

лаевича кончилась для Л. Андреева полнѣйшей неудачей. Но вотъ въ чёмъ вопросъ: разрывая окончательно съ нумenalной точкой зрењя, настолько ли же окончательно приходитъ Л. Андреевъ къ точкѣ зрењя феноменальной? Разрывая съ Сергѣемъ Николаевичемъ, приходитъ ли онъ къ Марусѣ?

Съ Сергѣемъ Николаевичемъ онъ разрываетъ: чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно сравнить отношенія Л. Андреева и Сергѣя Николаевича (т.-е. того же Л. Андреева годомъ раньше) къ Нѣкоему въ сѣромъ. Для Сергѣя Николаевича Нѣкто въ сѣромъ и есть тотъ «далекій, неизвѣстный другъ», которому онъ шлетъ торжественный привѣтъ... «Съ холоднымъ бѣшенствомъ, покорные желѣзной силѣ тяготѣнія, несутся въ пространствѣ по своимъ путямъ безконечные міры — и надъ всѣми ими господствуетъ одинъ великий, одинъ безсмертный духъ»... — «Не говори мнѣ о Богѣ», — перебиваетъ его Маруся, но онъ продолжаетъ: «я говорю о существѣ, подобномъ намъ, о томъ, кто такъ же страдаетъ, и такъ же мыслить, и такъ же ищетъ, какъ и мы. Я его не знаю — но я люблю его, какъ друга, какъ товарища»... «Оно молчитъ, отецъ! Оно смѣется надъ нами!» — слышимъ мы опять слова Маруси... Вотъ два отношенія къ Нѣкоему въ сѣромъ. Для Сергѣя Николаевича это существо, по волѣ котораго «съ холоднымъ бѣшенствомъ, покорные желѣзной силѣ тяготѣнія несутся міры», существо это — страдающее, мыслящее, ищущее; для Маруси существо это или молчитъ, или смѣется надъ нами... Нечего и говорить, какой изъ этихъ двухъ образовъ воплощенъ въ Нѣкоего въ сѣромъ — одинаково неспособнаго ни къ страданію, ни къ исканію, вѣчно молчащаго на всѣ призывы человѣка и, быть можетъ, смѣющагося надъ нимъ. Оно молчитъ, оно смѣется — эти слова Маруси были развиты потомъ Л. Андреевымъ въ цѣлый образъ, легли въ основу его взгляда на міровую необходимость, какъ на молчаливую, насмѣшиливую и враждебную человѣку силу, буде таковая не есть только игра нашей фантазіи...

X.

Послѣдній ударъ этой своей мимолетной вѣрѣ въ объективную цѣлесообразность жизни Л. Андреевъ нанесъ въ позднѣйшемъ разсказѣ (1908 г.) «Мои Записки». Разсказъ этотъ, какъ и многія другія произведенія Л. Андреева, есть, несомнѣнно, произведеніе *à thèse*; онъ хочетъ доказать намъ, что міръ безцѣленъ, что жизнь безсмысленна или, по крайней мѣрѣ, неосмысленна, что нѣть цѣлесообразности въ мірѣ, нѣть смысла въ жизни. Л. Андреевъ доказывалъ это себѣ и намъ еще въ «Жизни человѣка» путемъ прямого демонстрированія всей человѣческой жизни, отъ рожденія до могилы; въ «Моихъ запискахъ» онъ доказываетъ это же самое путемъ своеобразнаго доказательства отъ противнаго. Раньше Л. Андреевъ говорилъ намъ, что міръ есть тюрьма («тюремная канцелярія»), что въ немъ нѣть цѣлесообразности, что въ жизни нѣть смысла; теперь онъ выводитъ передъ нами безымяннаго автора «Моихъ Записокъ», — человѣка, десятилѣтія проведшаго въ тюрьмѣ и пришедшаго тамъ къ убѣженію о великой цѣлесообразности міра, о великому законѣ, управляющемъ человѣческой жизнью... Ядовитая иронія этой аллегоріи слишкомъ бросается въ глаза съ первыхъ же страницъ разсказа. «Единственная цѣль, какою руководился я при составленіи моихъ скромныхъ записокъ, — пишетъ ихъ безымянныи авторъ, — это показать моему благосклонному читателю, какъ при самыхъ тягостныхъ условіяхъ, гдѣ не остается, казалось бы, мѣста ни надеждѣ, ни жизни, человѣкъ, существо высшаго порядка, обладающее и разумомъ и волей, находить то и другое. Я хочу показать, какъ человѣкъ, осужденный на смерть, свободными глазами взглянуль на міръ сквозь рѣшетчатое окно своей темницы и открылъ въ мірѣ великую цѣлесообразность, гармонію и красоту»..., Каждый изъ нась — такой осужденный на смерть человѣкъ, окруженный «стѣнами»,

за которыя нѣть выхода; тѣмъ интереснѣе намъ выслушать человѣка, нашедшаго выходъ, спасеніе, объясненіе...

Передъ нами — человѣкъ, обреченный на пожизненное тюремное заключеніе; онъ одинъ въ своей одиночной камерѣ. Тюрьма для него теперь — міръ, за предѣлы котораго онъ не властенъ проникнуть (точно такъ же, какъ для всѣхъ настѣ міръ, по убѣжденію Л. Андреева, есть тюрьма, изъ-за стѣнъ которой намъ нѣть выхода). Ему тридцать лѣтъ; долгіе и томительные годы и десятилѣтія ему предстоитъ прожить въ этомъ каменномъ мѣшкѣ. И сначала онъ бѣтся головой о стѣны, онъ испытываетъ «ужасъ безнадежности», онъ проклинаетъ міръ и жизнь, онъ признаетъ ихъ «одной огромной несправедливостью, насмѣшкой и глумленіемъ», онъ приходитъ «къ полному отрицанію жизни и ея великаго смысла». Если такое настроеніе у человѣка, живущаго въ мірѣ-türemѣ, продолжается, ему остается только одно: умереть. Но противъ этого возстаєтъ въ человѣкѣ та «центростремительная сила» жизни, о которой говорилъ еще Иванъ Карамазовъ. Жить хочется, хотя бы весь міръ и былъ тюрьмой, хотя бы тюрьма была міромъ; жить надо. «Я долженъ жить», — настойчиво подчеркиваетъ авторъ «Записокъ». А для того, чтобы жить, надо убѣдить себя въ осмысленности безсмыслицы, въ цѣлесообразности хаоса; легче всего сдѣлать это, придя къ тому обобщающему объективизму, который ставить wysoko надъ человѣкомъ тотъ или иной законъ, а человѣка низводить до степени *quantit e negligable*: таковъ, напримѣръ, Сергѣй Николаевичъ, съ которымъ мы только-что познакомились выше. Въ авторѣ «Записокъ» мы имѣемъ юдкую пародію на взгляды этого возвышенного астронома-пантеиста; «развѣ нѣть красоты, — пишетъ авторъ «Записокъ», — въ суровой правдѣ жизни, въ мощномъ дѣйствіи ея непреложныхъ законовъ, съ великимъ безпристрастіемъ подчиняющихъ себѣ какъ движеніе небесныхъ свѣтиль, такъ и беспокойное сцѣпленіе тѣхъ крохотныхъ существъ, что именуются людьми?».

Такъ найдена и установлена красота нашего міра-türemы; теперь уже не трудно увидѣть въ немъ и гармонію, и цѣлесообразность... Дѣйствительно, обратите фокусъ вашего вниманія не на отдѣльныхъ людей, страдающихъ и погибающихъ, а на все прогрессирующее человѣчество, и вы убѣдитесь въ гармоніи нашего міра... «Человѣчество безсмертно, не подвержено болѣзнямъ и въ гармоничномъ цѣломъ своемъ, несомнѣнно, движется къ совершенству»... А то, что красиво и гармонично, то, разумѣется, и цѣлесообразно: «откинувъ все личное, взгляดываясь въ окружающее холоднымъ и зоркимъ взглядомъ наблюдателя, я вскорѣ пришелъ къ чрезвычайно цѣнному выводу, что и вся наша тюрьма построена по крайне цѣлесообразному плану, вызывающему восторгъ своею законченностью», — пишетъ и подчеркиваетъ авторъ «Записокъ».

Нельзя отказать Л. Андрееву въ силѣ сарказма и въ ядовитости этой концепціи, этого своеобразного *reductio ad absurdum* взгляда господъ объективистовъ: вы убѣждаете меня, господа, что міръ цѣлесообразенъ, что жизнь объективно осмысленна, а я докажу вамъ, что и тюрьма есть верхъ осмысленности и цѣлесообразія... Эта концепція приводитъ мнѣ на память одну изъ картинъ талантливаго М. Добужинскаго; картина называется «Дьяволъ», но могла бы быть названа и «Смысль жизни». На ней изображена громадная тюремная камера съ высокими и узкими окнами съ желѣзной решеткой; на далекомъ небѣ ярко горятъ звѣзды. Посрединѣ камеры стоитъ колоссальный паукъ, грунно опустивъ свое мохнатое тѣло на десять суставчатыхъ лапъ; у него человѣческое лицо, закрытое маской, изъ-за которой свѣтятся только узкіе прорѣзы огненныхъ глазъ; вокругъ головы — сіяніе. А внизу, на каменномъ полу, между широко раздвинутыми липкими лапами паука, въ покорномъ оцепенѣніи движется безконечнымъ кольцомъ толпа людей... Это — міръ, это — жизнь, это — смысль жизни... И одинъ изъ этой толпы, авторъ «Записокъ», двигаясь между лапами паука, проповѣдуетъ въ то же время окружающимъ о великой цѣлесообразности этой тюрьмы...

Нѣть необходимости слѣдить за тѣмъ, какъ доказываетъ свои мысли авторъ «Записокъ»; да впрочемъ онъ ихъ не доказываетъ, какъ не доказываютъ ихъ и всѣ объективисты: это — область вѣры, гдѣ доказательства излишни и невозможны. «Цѣлесообразность тюрьмы», это — его вѣра; безъ этой вѣры ему нечѣмъ было бы жить; эта вѣра спасаетъ его отъ ужаса безцѣльности и ужаса безнадежности. Вѣдь именно этотъ ужасъ томилъ его душу. «Велика Твоя Голгоѳа, Іисусъ, — говоритъ авторъ «Записокъ», обращаясь къ распятію, — но слишкомъ почтена и радостна она, и нѣтъ въ ней одного маленькаго, но очень характернаго штришка: ужаса безцѣльности!» Этотъ ужасъ преодолѣвается вѣрой въ высшую цѣлесообразность; безсмысленно двигаясь по кругу своей тюрьмы между чудовищными лапами паука, человѣкъ тѣшитъ себя вѣрой въ объективную осмысленность жизни. «Я перевернулъ міръ! — восклицаетъ авторъ «Записокъ». — Моей душѣ я придалъ ту форму, какую пожелала моя мысль; въ пустынѣ, работая одинъ, изнемогая отъ усталости, я воздвигъ стройное зданіе, въ которомъ живу нынѣ радостно и покойно, какъ царь. Разрушьте его, — и завтра же я начну новое и, обливаясь кровавымъ потомъ, построю его! *Ибо я долженъ жить!*».

Онъ хочетъ жить; потому-то и цѣпляется онъ такъ за свою теорію, когда ее нарушаетъ жизнь. Все гармонично, все цѣлесообразно; но вотъ приходитъ къ нему, старику, выпущенному изъ тюрьмы, его бывшая невѣста, тоже уже старуха; начинается сцена любви, ревности, страсти между стариками... Это до такой степени нелѣпо, что никакая теорія объективной цѣлесообразности не выдержитъ такого испытанія... «Подъ ногами моими раскрылась бездна, — пишетъ авторъ Записокъ, — все шаталось, все падало, все становилось безсмыслицей»... Но человѣческая вѣра живучая, и черезъ немного времени авторъ «Записокъ» снова возвращаетъ своему поколебленному міросозерцанію «всю его былую стройность и желѣзную непреодолимую крѣпость». Все цѣлесообразно, все осмысленно, — но вотъ кончаетъ въ тюрьмѣ самоубийствомъ его товарищъ по заключенію, художникъ, и снова хаосъ торжествуетъ надъ цѣлесообразностью: зачѣмъ лгать, зачѣмъ строить, обливаясь потомъ, тяжелое зданіе теоріи объективной цѣлесообразности, разъ можно такъ легко побѣдить стѣны и замокъ, правду и ложь, случайные радости и безсмысленные страданія? Но и на это авторъ «Записокъ» находитъ отвѣтъ: «Мой дорогой юноша, — мысленно обращается онъ къ самоубійцу, — мой очаровательный глупецъ, мой восхитительный безумецъ, кто сказалъ вамъ, что наша тюрьма кончается здѣсь, что изъ одной тюрьмы вы не попали въ другую, откуда ужъ едва ли придется вамъ бѣжать?»... И даже загробный міръ онъ склоненъ представлять себѣ въ видѣ величественной тюрьмы, гдѣ есть и г. главный начальникъ тюрьмы, и прекрасные тюремщики съ бѣлыми крыльями за спиной... Вѣдь надъ всѣмъ равно царствуетъ общій великій законъ — «священная формула желѣзной решетки», — великое начало причинности и объективной цѣлесообразности... Одно только огорчаетъ немного автора «Записокъ», — то, что онъ не могъ узнать имени строителя тюрьмы: «Такъ неблагодарна память у лучшихъ людей! Впрочемъ, — утѣшаетъ онъ себя и нась, — анонимность въ строеніи нашей тюрьмы нисколько не мѣшаетъ ея солидности и не уменьшаетъ нашей благодарности къ неизвѣстному творцу»... Эта парѳянская стрѣла — быть можетъ одна изъ самыхъ удачныхъ во всемъ разсказѣ Л. Андреева...

Итакъ — сомнѣній нѣть — съ Сергѣемъ Николаевичемъ Л. Андреевъ разошелся окончательно; въ «Моихъ Запискахъ» онъ свѣль послѣдніе счеты со своей былой мимолетной вѣрой въ объективную цѣлесообразность жизни. Но мы снова спрашиваемъ: уйдя отъ Сергѣя Николаевича, пришелъ ли Л. Андреевъ къ Марусѣ? Вопросъ этотъ остается пока открытымъ, хотя, повидимому, наиболѣе близкимъ къ истинѣ были бы утвердительный отвѣтъ. Въ «Тѣмѣ» Л. Андреева мы какъ-разъ имѣемъ противопоставленіе двухъ тѣхъ же самыхъ воззрѣній — «привѣтъ тебѣ, мой далекій, мой неизвѣстный другъ» и «привѣтъ тебѣ, мой милый, мой страдающій братъ»; любовь къ дальнему и

любовь къ ближнему — воть, коротко говоря, тема этого рассказа. Здѣсь любовь къ ближнему доходитъ до своего крайняго предѣла, до абсурда, до сознательнаго отреченія оть свѣта во имя страдающаго брата, осужденнаго жить во тьмѣ — «ибо стыдно зрячимъ смотрѣть на слѣпыхъ оть рожденія... Если нѣть рая для всѣхъ, то и для меня его не надо — это уже не рай, ...а просто-напросто свинство»... Какъ далеко это оть міровоззрѣнія Сергѣя Николаевича и насколько это ближе къ мыслямъ Ивана Карамазова! Вѣдь это тоже своеобразное возвращеніе Господу Богу билета на право входа во всемірную гармонію... Не останавливаемся подробнѣе на этомъ разсказѣ, такъ какъ въ немъ Л. Андреевъ слишкомъ перегибаетъ лукъ въ другую сторону и толкуетъ любовь къ ближнему, цѣль въ настоящемъ и человѣка-самоцѣль слишкомъ узко, слишкомъ мелко; здѣсь онъ, двигаясь прочь оть Сергѣя Николаевича, съ разбѣга проходить мимо Маруси и изъ «сверхъ-человѣчнаго» становится уже «слишкомъ человѣчнымъ», настолько «человѣчнымъ», что почти переходитъ въ область пародіи надъ тѣмъ взглядомъ, который онъ проводить въ этомъ разсказѣ *). Онъ, конечно, не остановился на такой точкѣ зрѣнія; но къ чему онъ еще прийдетъ — это вопросъ, который пока остается открытымъ и на который можно отвѣтить только предположительно и съ условными оговорками. Наиболѣе опредѣленнымъ отвѣтомъ были пока его «Жизнь Человѣка» и «Мои Записки», съ категорическимъ признаніемъ отсутствія объективнаго смысла человѣческой жизни. Но субъективный смыслъ этой жизни? Л. Андреевъ все не рѣшается твердо стать на этой откровенно-имманентной точкѣ зрѣнія, хотя и возвращается къ ней постоянно. Въ драмѣ «Къ звѣздамъ» эту андреевскую трагедію переживаетъ Петя, находящій въ концѣ концовъ твердую точку опоры именно въ признаніи смысла жизни въ ней самой. Сначала онъ ищетъ смысла объективнаго: «зачѣмъ все это? — спрашиваетъ онъ: — зачѣмъ, когда все это умреть, и вы, и я, и горы. Зачѣмъ?»... На этой почвѣ у него развивается нервная горячка и, перенеся ее, онъ иначе смотрѣть на все окружающее; онъ не ищетъ уже объективнаго смысла жизни, онъ принимаетъ ея субъективный смыслъ. «Мнѣ теперь такъ хочется жить, — говоритъ онъ: — отчего это? Вѣдь я попрежнему не понимаю, зачѣмъ жизнь, зачѣмъ старость и смерть? а мнѣ все равно»... Не такой ли же переломъ происходитъ теперь въ Л. Андреевѣ? Возможно, что да; и мы остановимся въ заключеніе на тѣхъ мотивахъ его произведеній, которые яснѣе всего показываютъ, что въ творчествѣ Л. Андреева идетъ борьба между Жизнью и Смертью, и что очень часто, несмотря ни на что, это «преніе Живота со Смертью» оканчивается побѣдой жизненнаго начала.

XI.

Мы уже видѣли, какое значеніе играетъ Смерть въ творчествѣ Л. Андреева; мы знаемъ, что она для него обезсмысливаетъ жизнь: «Зачѣмъ все это? зачѣмъ, когда все это умреть, и вы, и я, и горы? Зачѣмъ?...» Въ этомъ отношеніи — и это уже отмѣчено выше — Л. Андреевъ представляетъ собою полную противоположность Ф. Сологубу: оба они вскрываютъ безсмысленность человѣческой жизни, но въ то время какъ для Ф. Сологуба смерть является желаннымъ избавленіемъ оть «діаволова водевиля», оть дебелой и безобразной бабищи жизни, для Л. Андреева смерть есть послѣдняя нелѣпость, дѣлающая жизнь той безсмыслицей, какою она является на дѣлѣ. Для Л. Андреева смерть есть тотъ фактъ, который заставляетъ его признать нашу жизнь несчастной, жалкой, нелѣпой; смерть — объ этомъ была уже рѣчь — является «органнымъ пунктомъ» всего творчества Л. Андреева. Нелѣпость смерти заслоняетъ въ глазахъ Л. Андреева нелѣпость какой бы то ни было жизни; и кто бы ни умиралъ — гордый

*.) Л. Андреевъ, вѣроятно, и не подозрѣваетъ, насколько близко онъ подошелъ въ разсказѣ «Тьма» (а отчасти и въ «Царѣ Голодѣ») къ взглядамъ такъ называемой «макаевщины», требующей во имя равенства низведенія всего и всѣхъ до одного общаго уровня.

ли Человѣкъ («Жизнь Человѣка»), тюлень ли въ клѣткѣ зоологического сада («Проклятие звѣря»), или страстный винтеръ при объявленіи большого шлема въ безкозыряхъ («Большой шлемъ») — смерть всегда нелѣпа и ужасна; да и ужась самой жизни заключается прежде всего въ томъ, что проклятие смерти стоить надъ каждой ея минутой. Мотивы ужаса жизни самой по себѣ, столь рѣзкие у Ф. Сологуба, встрѣчаются и у Л. Андреева — достаточно вспомнить разсмотрѣнныи выше разсказъ «Проклятие звѣря» и незатронутый нами разсказъ «Іуда Искаріотъ и другіе», одинъ изъ лучшихъ рассказовъ Л. Андреева; но не эти мотивы характеризуютъ его творчество. И если Ф. Сологубъ въ ужасѣ стоить передъ дебелой и безобразной бабищей Жизнью, то Л. Андреевъ съ еще большимъ ужасомъ останавливается передъ обезмысливающей жизнь Смертью.

Не всякий человѣкъ — или, вѣрнѣе, изъ тысячи одинъ — можетъ взглянуть Смерти прямо въ глаза. Блаженъ, кто вѣруетъ — тотъ, по крайней мѣрѣ, можетъ утѣшиться надеждою на область трансцендентнаго, отложить до своего перехода въ эту область свои поиски объективнаго смысла жизни; «тамъ видно будетъ!» — какъ говорить одна чеховская старушонка. И этотъ взглядъ Смерти часто является толчкомъ, призывающимъ человѣка судорожно ухватиться за вѣру, чтобы найти смыслъ жизни. Типичнѣйшій примѣръ этого мы имѣемъ передъ собою въ одномъ изъ величайшихъ произведеній русской литературы — въ «Исповѣди» Льва Толстого. Окруженный житейскимъ благополучіемъ, во всеоружіи таланта, славы, здоровья, счастья, богатства — Левъ Толстой вдругъ затосковалъ, точно въ глаза ему взглянуль андреевскій Елеазаръ. Въ чёмъ смыслъ жизни, если существуетъ смерть? — этотъ вопросъ неотвязно сталъ передъ его сознаніемъ. Я не буду приводить эти геніальныи страницы «Исповѣди», гдѣ Толстой разсказываетъ о своихъ душевныхъ мученіяхъ, о смертельной тоскѣ, даже о стремлении къ самоубійству; лучше напомню параллельное мѣсто изъ «Елеазара», рассказывающее о томъ, что дѣлалось съ людьми, взглянувшими въ глаза Елеазара-Смерти. «Не переставало свѣтить солнце, когда онъ смотрѣлъ, не переставалъ звучать фонтанъ, и такимъ же безоблачно синимъ оставалось родное небо, но человѣкъ, подпавшій подъ его загадочный взоръ, уже не чувствовалъ солнца, уже не слышалъ фонтана и не узнавалъ родного неба. Иногда человѣкъ плакалъ горько; иногда въ отчаяніи рваль волосы на головѣ и безумно звалъ другихъ людей на помощь — но чаще случалось такъ, что равнодушно и спокойно онъ начиналъ умирать, и умиралъ долгими годами, умиралъ на глазахъ у всѣхъ, умиралъ безцвѣтный, вялый и скучный, какъ дерево, молчаливо засыхающее на каменистой почвѣ. И первые, тѣ, кто кричалъ и безумствовалъ, иногда возвращались къ жизни, а вторые — никогда»... Левъ Толстой кричалъ и безумствовалъ — и вернулся къ жизни; онъ ухватился за вѣру и нашелъ въ ней спасеніе отъ смерти и отъ безмыслицы жизни. Но вѣдь вѣра не дѣлается по заказу; и какъ быть тому человѣку, который даже подъ взглядомъ Елеазара не можетъ отказаться отъ своей имманентной точки зрѣнія? Л. Андреевъ говоритъ, что такие люди чаще всего умирали долгими годами, умирали безцвѣтные, молчаливые, вялые, скучные... Да, есть и такие: вспомнимъ прелестную сказочку Салтыкова о премудромъ пискарѣ, который всю жизнь, сто лѣтъ, дрожалъ въ своей норѣ, какъ бы его щука не слопала... Разница лишь въ томъ, что пискарь премудрый былъ типичный мѣщанинъ и дрожалъ въ своей норѣ передъ лицомъ жизни, а люди эти всю жизнь дрожать передъ лицомъ смерти. Типичнѣйшимъ примѣромъ такого рода людей мнѣ представляется одинъ французскій мыслитель, переведенный въ отрывкахъ на русскій языкъ тѣмъ же Львомъ Толстымъ: это — Henri Amiel, оставилшій послѣ своей смерти своеобразнѣйшій и цѣннѣйшій document humain, свой дневникъ за тридцать лѣтъ. Я не имѣю возможности подробно остановиться на этомъ единственномъ въ своемъ родѣ произведеніи, составляющемъ десятокъ громадныхъ томовъ, изъ которыхъ опубликована только незначительная часть («Fragments d'un journal intime»); но нѣсколько словъ о немъ будуть

не излишни, такъ какъ они прямо касаются разбираемаго нами вопроса. Аміель быль именно тѣмъ человѣкомъ, который молчаливо умиралъ въ теченіе всей своей долгой жизни, умиралъ вяло, скучно, безцвѣтно, занося каждую свою мысль и ощущеніе на страницы своего дневника. Что это за потрясающая книга! Вы видите передъ собой человѣка, взглянувшаго еще въ молодости прямо въ глаза Елеазара-Смерти; взглянувъ, онъ не кричалъ, не безумствовалъ, а медленно и безропотно умиралъ изо дня въ день въ теченіе всѣхъ остальныхъ тридцати пяти лѣтъ своей жизни, умиралъ тоскливо и одиноко... «...Даже наши самые интимные друзья не знаютъ нашихъ бесѣдъ съ Царемъ Ужаса. Есть мысли, которыхъ нельзя повѣрить другому; есть печали, которыя не раздѣляются. Нужно даже изъ великолѣдія скрывать ихъ. Мечтаешь одинъ, страдаешь одинъ, умираешь одинъ, одинъ занимаешь и домъ изъ шести досокъ», — пишетъ онъ въ свое мѣсто дневникъ. Вѣра? Но за нее онъ не могъ ухватиться. Любопытны слѣдующія его слова: «равнодушная природа? Сатанинская сила? Или добрый, праведный Богъ? — три точки зреѣнія. Вторая (т.-е. та, что вся міровая исторія есть «діаволовъ водевиль» — И.-Р.) неправдоподобна и ужасна... ...Одна третья точка зреѣнія можетъ дать радость. Но допустима ли она? Есть ли особый Промыселъ Божій, руководящій всѣми обстоятельствами нашей жизни и, слѣдовательно, посылающій намъ наши несчастія въ воспитательныхъ цѣляхъ? Эта героическая вѣра трудно совмѣстима съ нынѣшнимъ знаніемъ законовъ природы. Трудно...» Послѣднее, конечно, невѣрно, такъ какъ законы природы и религіозная вѣра находятся въ двухъ непересѣкающихся плоскостяхъ и вполнѣ совмѣстимы логически; но что же дѣлать, если эта религіозная плоскость находится въ предѣловъ моей или вашей досягаемости, какъ это было и съ Амелемъ? Неужели же только и остается умирать изо дня въ день подобно ему, всю жизнь дрожать въ своей норѣ отъ страха смерти? Неужели же, взглянувъ въ глаза Елеазара-Смерти, мы можемъ только или схватиться за вѣру, или впасть въ ироцесь хронического умирания?

Нѣть, есть и третій выходъ, открывающійся на той же почвѣ имманентнаго субъективизма, на которой мы стояли все время выше; выходъ этотъ заключается въ отрицаніи объективнаго и въ признаніи субъективнаго смысла жизни, въ признаніи самодовлѣющей цѣнностью широты, полноты и интенсивности человѣческихъ переживаній. «Жизнь для жизни намъ дана». И, смотря въ глаза Елеазара-Смерти, мы повторяемъ слова Пети («Къ звѣздамъ»), почувствовавшаго цѣну жизни самой по себѣ: «...я попрежнему не понимаю, зачѣмъ жизнь, зачѣмъ старость и смерть? — а мнѣ все равно»... Смерть неотвратима — и въ этомъ счастье человѣчества, какъ мы еще увидимъ, говоря о Л. Шестовѣ; всѣ мы умремъ — но именно потому жизнь наша и имѣть такую большую субъективную цѣнность. Очень часто не *страхъ смерти*, а *жалость жизни* является у человѣка, взглянувшаго въ глаза смерти; стоитъ вспомнить разсказъ Л. Андреева «Жили-были» и центральную сцену этого рассказа. « — Не плачь. Ну, чего плакать?! Боишься умирать? (спрашивается умирающей купецъ Лаврентій Петровичъ своего сосѣда по койкѣ, тоже умирающего отца діакона).

О. діаконъ порывисто сдернулъ одѣяло съ головы и жалобно вскрикнулъ:

— Ахъ, отецъ!

— Ну, что? Боишься?

— Нѣть, отецъ, не боюсь, — тѣмъ же жалобно поющимъ голосомъ отвѣтилъ діаконъ и энергично покачалъ головой. — Нѣть, не боюсь, — повторилъ онъ, и, снова повернувшись на бокъ, застоналъ и дрогнулъ отъ рыданій...

— Чего же ты плачешь? — все такъ же медленно и недоумѣнно спрашивалъ Лаврентій Петровичъ, — ...чего же ты ревешь?...

О. діаконъ охватилъ руками лицо и, раскачивая головой, произнесъ высокимъ, поющимъ голосомъ:

— Ахъ, отецъ, отецъ! Солнушка жалко. Кабы ты зналъ... какъ оно у насть... въ Тамбовской губерніи, свѣтить. За ми... за милую душу!

Какое солнце? — Лаврентій Петровичъ не поняль и разсердился на діакона. Но тутъ же онъ вспомнилъ тотъ потокъ горячаго свѣта, что днемъ вливался въ окно и золотилъ полъ, вспомнилъ, какъ свѣтило солнце въ Саратовской губерніи на Волгу, на лѣсь, на пыльную тропинку въ полѣ, — и всплеснулъ руками, и ударилъ ими себя въ грудь, и съ хриплымъ рыданіемъ упалъ лицомъ внизъ на подушку, бокъ-о-бокъ съ головой діакона. Такъ плакали они оба. Плакали о солнцѣ, котораго больше не увидятъ, о яблонѣ «бѣлый наливъ», которая безъ нихъ дастъ свои плоды, о тѣмѣ, которая охватитъ ихъ, о милой жизни и жестокой смерти»... Это рыданіе, это прощаніе съ уходящей жизнью — совсѣмъ не то, что амілевское трепетаніе передъ фантомомъ смерти; и быть можетъ многіе изъ нась, умирая, вспомнятъ «солнышко», и тропинку въ лѣсу, и свои земныя радости и скорби, но эта горечь разлуки съ жизнью не имѣть ничего общаго съ аміевскимъ дрожаніемъ въ своей норѣ. Если бы Аміель, вмѣсто того, чтобы дрожать въ своей норѣ десятки лѣтъ въ ожиданіи смерти, заполнилъ бы эту свою жизнь глубокимъ, разнообразнымъ и интенсивнымъ содержаніемъ, то неужели же, умирая, онъ не оглянулся бы съ чувствомъ благодарности и радости на все свое пережитое? Конечно, все это область владычества психологіи, а не логики: страхъ смерти непреодолимъ никакими логическими доводами. Какіе аргументы могли бы подѣйствовать на человѣка, подобнаго Аміелю? — Никакіе. — «Сто лѣтъ представляются мнѣ сномъ, — отвѣчаетъ на всѣ доводы Аміель, — жизнь — однимъ дыханіемъ, и все — ничтожествомъ. Сколько нравственныхъ мученій — и все это, чтобы умереть черезъ нѣсколько минут! Чѣмъ интересоваться и зачѣмъ?»... Остается только покорно существовать и трепетать при мысли о смерти. Все это совершенно неопровергимо логически, какъ неопровергимъ и противоположный взглядъ: человѣческая жизнь — это цѣлая вѣчность, годъ жизни — необъятное количество времени; одинъ годъ полной, интенсивной жизни длиннѣе и цѣннѣе тридцатилѣтняго хронического умирания Аміеля. Здѣсь передъ нами два разныхъ психологическихъ типа, здѣсь безсильна логика, здѣсь господствуетъ психологія. Человѣкъ аміевского типа не можетъ, психологически не можетъ, преодолѣть страхъ смерти; отъ этого страха онъ или будетъ искать спасенія въ области трансцендентнаго, или всю жизнь будетъ дрожать въ своей норѣ. Человѣкъ другого психологического типа преодолѣть мертвяцій взглядъ Елеазара-Смерти признаніемъ субъективной цѣнности жизни самой по себѣ, внѣ всякихъ объективныхъ цѣлей человѣка или человѣчества.

Все это Л. Андреевъ сильно и образно поставилъ передъ читателемъ въ замѣчательномъ своемъ разсказѣ «Елеазарь». Лазарь, воскрешенный Іисусомъ, является воплощеніемъ самой Смерти; изъ глазъ его, «сквозь черные кружки его зрачковъ, какъ сквозь темныя стекла, смотрѣть на людей само непостижимое Тамъ»... (Ср. II, 54 и III, 113). Кто взглянетъ ему въ глаза, тотъ или умираетъ медленно, десятки лѣтъ, либо кричитъ и безумствуетъ отъ страха, какъ бы заглянувъ въ лицо самому «Царю Ужаса», по выражению Аміеля. И этотъ мертвяцій взглядъ Елеазара убиваетъ не только Аміелей, но иногда и людей противоположнаго психологического типа. Таковъ скульпторъ Аврелій, пришедшій взглянуть въ глаза Елеазару. Аврелій не боялся взгляда Смерти: «онъ много размышилъ о смерти, не любилъ ея, но не любилъ и тѣхъ, кто смыщиваетъ ее съ жизнью. По эту сторону — прекрасная жизнь, по ту сторону — загадочная смерть, размышилъ онъ, и ничего лучшаго не можетъ придумать человѣкъ, какъ живя — радоваться жизни и красотѣ живого»... Но его побѣждаетъ мертвый взглядъ Елеазара, и Аврелій начинаетъ медленно умирать день-изо-дня. Аврелій побѣженъ, но это частный случай, не общее правило; люди этого авреліевскаго типа могутъ выдерживать пустой и губящій взоръ Елеазара-Смерти, имѣютъ отъ него защиту въ своемъ имманентномъ субъективизмѣ. Дѣйствительно, что страшнаго

читаемъ мы въ глазахъ Елеазара? Вотъ что чувствовали тѣ, кому посмотрѣлъ въ глаза Елеазарь: «...та великая пустота, что объемлетъ мірозданіе, не наполнялась видимымъ, ни солнцемъ, ни луною, ни звѣздами, а царила безбрежно, всюду проникая, все отъединяя, тѣло отъ тѣла, частицы отъ частицъ; въ пустотѣ разстилали свои корни деревья и сами были пусты; въ пустотѣ, грозя призрачнымъ паденіемъ, высились храмы, дворцы и дома и сами были пусты; и въ пустотѣ двигался беспокойно человѣкъ и самъ былъ пустъ и легокъ, какъ тѣнь; ибо не стало времени, и сблизилось начало каждой вещи съ концомъ ея: еще только строилось зданіе, и строители еще стучали молотками, а уже видѣлись развалины его, и пустота на мѣстѣ развалинъ; еще только рождался человѣкъ, а надъ головою его зажигались погребальныя свѣчи, и уже тухли онъ и уже пустота становилась на мѣстѣ человѣка и погребальныхъ свѣчей; и объятый пустотою и мракомъ, безнадежно трепеталъ человѣкъ передъ ужасомъ безконечнаго»... Каковъ же der langer Rede kurzer Sinn? Что пугаетъ человѣка во взорѣ Елеазара-Смерти? Пугаетъ его объективная безсмысленность человѣческой жизни. Зачѣмъ жизнь, если все есть только великая пустота? Зачѣмъ жизнь, если она есть только безсмысленный процессъ постройки зданія для его разрушенія, рожденія человѣка для его смерти? Говоря уже приведенными выше словами Пети: «зачѣмъ все это? зачѣмъ, когда все это умреть, и вы, и я, и горы. Зачѣмъ?»... Зачѣмъ жить, если существуетъ смерть?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ даетъ намъ самъ Л. Андреевъ въ заключеніи своего рассказа: императоръ Августъ выдерживаетъ взглядъ Елеазара, Жизнь не побѣждается Смертью; здѣсь Л. Андреевъ побѣждаетъ объективную безсмысленность жизни ея субъективной осмысленностью, здѣсь онъ побѣждаетъ въ себѣ тѣ амілевскія черты, которыя несомнѣнно часто являются обще-человѣческими. Объективная безсмысленность жизни побѣждается ея субъективной осмысленностью — таковъ смыслъ сцены между Елеазаромъ и Августомъ. Елеазарь взглянуль въ глаза Августу: «остановилось время, и страшно сблизилось начало всякой вещи съ концомъ ея. Только-что воздвигнутый, уже разрушился тронъ Августа и пустота уже была на мѣстѣ трона и Августа. Безшумно разрушился Римъ, и новый городъ всталъ на мѣстѣ его, и былъ поглощенъ пустотою. Какъ призрачные великаны, быстро падали и исчезали въ пустотѣ города, государства и страны, и равнодушно глотала ихъ, не насыщаясь, черная утроба Безконечнаго.

— Остановись, — приказалъ императоръ. Уже равнодушіе звучало въ голосѣ его и безсильно обвисали руки, и въ тщетной борьбѣ съ надвигающимся мракомъ загорались и гасли его орлиные глаза.

— Убиль ты меня, Елеазарь — сказалъ онъ тускло и вяло.

И эти слова безнадежности спасли его. Онъ вспомнилъ о народѣ, щитомъ кого-раго онъ призванъ быть, и острой, спасительной болью пронизалось его омертвѣвшее сердце. Обреченные на гибель — съ тоскою подумалъ онъ; свѣтлыя тѣни во мракѣ Безконечнаго — съ ужасомъ подумалъ онъ; хрупкие сосуды съ живою, волнующейся кровью, съ сердцемъ, знающимъ скорбь и великую радость — съ нѣжностью подумалъ онъ. И такъ размышляя и чувствуя, склоняя вѣсы то на сторону жизни, то на сторону смерти, онъ медленно вернулся къ жизни, чтобы въ страданіяхъ и радости ея найти защиту противъ мрака пустоты и ужаса Безконечнаго»... Такъ субъективный смыслъ жизни побѣдилъ въ Августѣ ея объективную безсмысленность; такъ отвѣчаетъ на этотъ разъ Л. Андреевъ на центральный вопросъ своего творчества — зачѣмъ жить, если есть смерть? Отвѣтъ гласить, что именно потому и надо жить, что существуетъ смерть; именно потому наша жизнь и имѣть такую большую субъективную цѣнность: недаромъ, выдержавъ губительный взоръ Елеазара, — «въ тотъ вечеръ съ особенной радостью вкушалъ пищу и питіе божественный Августъ»... Тотъ, кто смотрѣлъ въ глаза Елеазару-Смерти, этому «Царю Ужаса» и не погибъ отъ зрелища объективной

бесмысленности всего окружающего, тотъ найдетъ источникъ живой воды въ самой жизни и обрѣтетъ неисчерпаемую бодрость въ мысли о субъективномъ смыслѣ человѣческой жизни.

XII.

Тотъ переломъ отъ Смерти къ Жизни, который Л. Андреевъ показалъ намъ на Августъ, проходитъ ли онъ съ самимъ Л. Андреевымъ? Это именно тотъ самый вопросъ, который выше мы оставили открытымъ, какъ ни хотѣлось бы намъ отвѣтить на него утвердительно. Такой утвердительный отвѣтъ позволяетъ намъ дать «Елеазарь», не говоря уже о цѣломъ рядѣ болѣе раннихъ разсказовъ Л. Андреева, въ которыхъ развиты мотивы побѣды жизни надъ мертвящимъ взглядомъ Елеазара (напр., рассказы «Весной», «Праздникъ», «На рѣкѣ», «Въ подвалѣ» и др.); но рядомъ съ ними идутъ другія его произведенія, совершенно противоположныя по настроению и направленію. Борьба шуйцы съ десницей — мнѣ еще разъ приходится употребить это истертое выраженіе — характеризуетъ собою все творчество Л. Андреева; не имѣя твердаго теоретического основанія, онъ береть проклятые вопросы приступомъ, съ разбѣгу, вихремъ творческой интуїціи, но именно потому у него нѣть твердой устойчивости воззрѣній. Это не позволяетъ намъ съ увѣренностью говорить о будущемъ творчества Л. Андреева, но не препятствуетъ признать, что въ прошломъ ужасъ смерти чаще всего побѣждалъ въ его творчествѣ радость жизни. Одною изъ главныхъ причинъ этого ужаса было признаніе отсутствія объективнаго смысла человѣческой жизни и *sub specie aeternitatis* и *sub specie humanitatis*: «вѣчность и тайна» настолько же не даютъ намъ этого смысла, насколько и «шоколадъ и какао»; объективизмъ трансцендентный и имманентный одинаково иллюзорны, миѳичны. Эта объективная бесмысленность является для Л. Андреева истиной самоочевидной, но далеко не столь самоочевидной является для него субъективная осмысленность человѣческой жизни. «Шоколадъ и какао» — неужели только эти слова горятъ надъ головами людей? А жизнь, ненависть, любовь, идеалы — развѣ все это тоже «шоколадъ и какао»? Субъективные идеалы, субъективная цѣль — о другихъ мы не говоримъ, потому что другихъ нѣть и не можетъ быть. И мы видѣли, что часто Л. Андреевъ готовъ стоять на этой точкѣ зрењія — часто, но далеко не всегда, такъ какъ онъ гораздо болѣе убѣждѣнъ въ объективной бесмысленности человѣческой жизни, чѣмъ въ ея субъективной осмысленности.

А между тѣмъ только послѣдняя точка зрењія являлась бы настолько же логически-приемлемой для него, насколько единственной и самоочевидной является она для насъ. Но, конечно, это не единственная возможная точка зрењія. Вотъ, напримѣръ, появилась интересная статья о Л. Андреевѣ г. Мережковскаго, который уже давно и непоколебимо стоитъ на точкѣ зрењія мистической теоріи прогресса и зоветъ туда же Л. Андреева; «какъ хотѣлось бы, — пишетъ Мережковскій, — чтобы онъ (Л. Андреевъ)... пришелъ ко Христу».... Намъ хотѣлось бы другого: чтобы Л. Андреевъ пришелъ къ тому имманентному субъективизму и субъективномуteleologizmu, о которомъ все время шла рѣчь выше. Найдется, несомнѣнно, критикъ-марксистъ, который будетъ убѣждать Л. Андреева стать художественнымъ проповѣдникомъ экономического материализма и «идеологомъ пролетаріата» (вѣдь нашелся же такой критикъ, который въ «Жизни Василія Овивейскаго» увидѣлъ исторію жизни «мелкаго производителя» — перль, который навсегда останется на страницахъ марксистской литературной критики); найдутся критики, стоящіе и на другихъ точкахъ зрењія — возможныхъ міровоззрѣній много. И какъ хорошо, замѣтимъ мимоходомъ, что истинный художникъ и мыслитель почти никогда не слушаетъ голоса критики, а продолжаетъ идти своей дорогой, руководствуясь указаніями своего таланта и своими внутренними переживаніями. Своей дорогой будетъ идти и Л. Андреевъ, и куда бы онъ ни пришелъ

въ будущемъ, но прошлое его достаточно опредѣленно, чтобы всѣ наши вышеприведенные выводы имѣли подъ собою твердую почву.

Вотъ вкратцѣ эти выводы. Объективнаго смысла человѣческой жизни нѣтъ, говорить намъ Л. Андреевъ, а потому человѣческая жизнь страшна, жалка и одинока. На аміелевскій вопросъ: что изъ трехъ — «равнодушная природа? катанинскія сила? или добрый, праведный Богъ?» Л. Андреевъ категорически отвѣчаетъ: «равнодушная природа» и воплощаетъ ее въ образѣ своего Нѣкоего въ сѣромъ. Но въ то же время признаніе объективной безсмысленности человѣческой жизни идетъ у Л. Андреева рядомъ съ сознаніемъ ея субъективной осмысленности. Это сознаніе субъективной осмысленности жизни является значительнымъ шагомъ впередъ отъ Ф. Сологуба въ постановкѣ и разрѣшеніи вопроса о смыслѣ жизни; конечно, рѣшеніе этого вопроса въ творчествѣ и Ф. Сологуба и Л. Андреева лежитъ за порогомъ ихъ сознанія: творческая интуиція не сопровождается у нихъ философски-оформленной мыслью, какую мы найдемъ у Л. Шестова. Мы увидимъ тогда, какъ и художественное творчество Ф. Сологуба и Л. Андреева дополняется философскимъ творчествомъ Л. Шестова, и обратно, какъ философское творчество Л. Шестова находить отраженіе въ художественномъ творчествѣ Ф. Сологуба и Л. Андреева.

Изъ всего предыдущаго съ достаточной ясностью опредѣляется значеніе Л. Андреева въ русской литературѣ. Уже говоря о Ф. Сологубѣ, мы замѣтили, что въ то время какъ Ф. Сологубъ и Л. Шестовъ — отдельные высокія вершины, интимные и слишкомъ индивидуальные писатели, стоящіе особнякомъ, Л. Андреевъ является именемъ, обозначающимъ отдельную эпоху русской литературы, непосредственно стоящимъ за Чеховымъ и М. Горькимъ. Чеховъ, М. Горькій и Л. Андреевъ — это послѣдовательная цѣпь именъ, характеризующихъ восьмидесятые и девяностые годы XIX-го вѣка и первое десятилѣтіе XX-го столѣтія. За послѣднее время стало признакомъ хорошаго литературнаго тона провозгласить «конецъ Горькаго», а подчасъ съ утрированной грубостью лягнуть этого нашего большого писателя, занявшаго своимъ именемъ цѣлую эпоху русского литературнаго развитія. Фактъ этотъ объясняется недостаткомъ исторической оцѣнки, непониманіемъ громаднаго значенія М. Горькаго въ исторіи русской литературы конца XIX-го вѣка. М. Горькій остался тѣмъ же Горькимъ, какимъ онъ былъ; талантъ его остался равенъ самому себѣ; его недавняя «Исповѣдь» прямотаки одно изъ лучшихъ его произведеній — и въ этомъ отношеніи никакого «конца Горькаго» нѣтъ. Но въ томъ-то и дѣло, что Горькій остался прежнимъ, въ то время какъ жизнь шла впередъ; въ этомъ отношеніи М. Горькій дѣйствительно писатель минувшей эпохи, чѣмъ и объясняется наступившее охлажденіе къ нему, охлажденіе, отъ которого до извѣстной степени застрахованы только титаны міровой литературы, въ родѣ Достоевскаго или Толстого. Теперь вслѣдъ за Горькимъ пришелъ Л. Андреевъ и современная эпоха русской литературы будетъ обозначена его именемъ. И если даже въ будущемъ — что очень вѣроятно — Л. Андреевъ раздѣлить участъ М. Горькаго, если черезъ нѣсколько лѣтъ критика и читатели провозгласятъ «конецъ Андреева», то все же значеніе Л. Андреева въ исторіи русской литературы останется непоколебленнымъ, все же первое десятилѣтіе XX-го вѣка всегда будетъ связано въ русской литературѣ съ его именемъ, какъ восьмидесятые годы связаны съ именемъ Чехова, и девяностые — съ именемъ М. Горькаго. Въ чёмъ и каково это значеніе Л. Андреева? Мнѣ думается, что отвѣтъ ясенъ изъ всего предыдущаго. Въ Л. Андреевѣ осуществился переходъ отъ общественно этическихъ къ философско-этическимъ проблемамъ; въ творчествѣ Л. Андреева мы видимъ возвращеніе «назадъ къ Достоевскому». Это возвращеніе назадъ бываетъ иногда громаднымъ шагомъ впередъ; такимъ громаднымъ шагомъ впередъ было, напримѣръ, возвращеніе философской мысли второй половины XIX-го вѣка «назадъ къ Канту»; такимъ же шагомъ впередъ въ русской художественной литературѣ является и это возвращеніе Л. Андреева «назадъ къ Достоевскому»,

возвращеніе къ художественной разработкѣ вѣчныхъ философско-этическихъ и, говоря шире, философско-религіозныхъ проблемъ. Вѣчные караимовскіе вопросы снова поставлены на очередь современнымъ художественнымъ творчествомъ; трагическая проблема снова стоять передъ нашимъ сознаніемъ и требуютъ отвѣта. Цѣль, смыслъ и оправданіе отдѣльной жизни человѣка; цѣль, смыслъ и оправданіе общей жизни человѣчества — на всѣ эти вопросы Л. Андреевъ даетъ намъ, быть можетъ самъ того не сознавая, одинъ изъ возможныхъ отвѣтовъ своимъ творчествомъ. И въ этомъ — главное его значеніе въ современной русской литературѣ.

Какъ отвѣчаетъ Л. Андреевъ на всѣ эти вопросы — этой темѣ и было посвященъ настоящій очеркъ; конечно, отвѣты эти не окончательные и никогда не могутъ быть окончательными. На философскомъ творчествѣ Л. Шестова мы прослѣдимъ дальнѣйшее логическое развитіе тѣхъ взглядовъ, которые мы уже встрѣчали уѲ. Сологуба и Л. Андреева и придемъ къ нѣкоторымъ болѣе опредѣленнымъ отвѣтамъ на караимовскіе вопросы и вопросы о смыслѣ человѣческой жизни.

Левъ Шестовъ.

I.

«Л. Андреева всѣ знаютъ, Ѳ. Сологуба — знаютъ мало, а меня — и совсѣмъ не знаютъ», — пишетъ самъ о себѣ Левъ Шестовъ. И онъ, конечно, правъ. Леонида Андреева считаютъ себя обязанными знать «всѣ», тѣ самые «всѣ», которые вчера читали Максима Горькаго, сегодня увлекаются Л. Андреевымъ, а завтра побѣгутъ толпой за новымъ именемъ. Эти «всѣ» мало знаютъ Ѳ. Сологуба — они услышали о немъ только послѣ «Мелкаго Бѣса»; эти «всѣ» совсѣмъ не знаютъ Л. Шестова. И они въ правѣ его не знать, такъ какъ Л. Шестовъ пишетъ не для «всѣхъ», а для немногихъ — онъ слишкомъ интимный, слишкомъ обособленный писатель; и это несмотря на то, что стержнемъ его творчества является вопросъ о смыслѣ жизни — вопросъ, мимо котораго не можетъ пройти ни одинъ человѣкъ. Но этотъ всеобщій вопросъ Л. Шестовъ решаетъ настолько по-своему, настолько выходя изъ рамокъ общаго шаблона, что имѣлъ бы право на каждой своей книгѣ поставить подзаголовокъ: «ein Buch fr Alle und Keinen»... Für Alle — потому что Л. Шестовъ ставить вопросы насущные и мучительные для всѣхъ; für Keinen — потому что решеніе имъ этихъ вопросовъ врядъ ли можетъ быть кѣмъ-либо принято во всей полнотѣ и цѣлостности. «Учениковъ», «школы» у Л. Шестова — къ счастью для него — никогда не будетъ; но это, конечно, не дѣлаетъ художественно-философское творчество Л. Шестова ни менѣе глубокимъ, ни менѣе замѣчательнымъ.

Но если «всѣ» до сихъ поръ совсѣмъ не знаютъ Л. Шестова, то немногіе (а можетъ быть и многіе) знаютъ и цѣнятъ его съ давнихъ поръ. Л. Шестовъ началъ свою литературную дѣятельность еще въ 1895-мъ году: въ газетѣ «Кievskoe Слово» отъ 22 дек. 1895 г. была помѣщена въ фельетонѣ его статья «Георгъ Брандесъ о Гамлетѣ», подписанная буквами Л. Ш.; почти въ то же самое время въ кievской газетѣ «Жизнь и искусство» (отъ 9 янв. 1986 г.) появилась вторая статья Л. Шестова подъ заглавиемъ «Журнальное Обозрѣніе» и съ подписью «Читатель». Первая изъ этихъ статей представляетъ особенный интересъ въ виду того, что двумя годами позднѣе появилась развивающая ту же тему книга «Шекспиръ и его критикъ Брандесъ» — первая книга Л. Шестова; съ этого 1898-го года имя Льва Шестова (псевдонимъ) впервые появилось въ печати. Книга эта, страстно и горячо написанная,

не обратила на себя въ то время вниманія; впрочемъ о ней писали Зин. Венгерова (въ «Образованіи») и Ю. Айхенвальдъ (въ «Вопросахъ философіи и психології»). Двумя годами позднѣе, въ 1900 г., вышла въ свѣтъ вторая книга Л. Шестова, «Добро въ ученіи гр. Толстого и Ф. Нитше», съ подзаголовкомъ «Философія и проповѣдь»; этой книгѣ посвятиль много вниманія Михайловскій (см. «Русское Богатство» 1900 г., №№ 2 и 3), нашедшій книгу эту «странной», но «интересной и красиво написанной». Въ своей критикѣ Михайловскій тонко отмѣтилъ нѣкоторыя слабыя стороны книги Л. Шестова, но не обратиль вниманія на ось вращенія всего творчества этого писателя; быть можетъ, тогда это было еще преждевременно. Но когда въ 1903 г. появилась третья книга Л. Шестова *) «Достоевскій и Нитше», съ подзаголовкомъ «Философія трагедіи», то лицо автора выяснилось уже для всѣхъ знакомыхъ съ двумя предыдущими его книгами; впрочемъ говорили и писали о ней мало: заслуживаетъ быть отмѣченной только небольшая замѣтка М. О. Гершензона (въ журналѣ «Научное Слово»). Зато четвертая — и до сихъ порь послѣдняя — книга Л. Шестова, появившаяся въ 1905-мъ году, «Апоѳеозъ безпочвенности» (съ подзаголовкомъ: «Опытъ адогматического мышленія»), вызвала рядъ статей о всемъ творчествѣ Л. Шестова; назовемъ статью г. Базарова въ «Образованіи», любопытный фельетонъ В. Розанова: «Новые вкусы въ философіи» («Новое Время», № 10612) и замѣтку А. Ремизова въ журналѣ «Вопросы Жизни» (1905 г., № 7). Тогда же появилась и наиболѣе интересная изъ всѣхъ написанныхъ до сихъ порь о Л. Шестовѣ статей — статья «Трагедія и обыденность» Н. Бердяева (въ «Вопросахъ Жизни» 1905 г., № 3; перепечатана впослѣдствіи въ сборникѣ статей Бердяева «Sub specie aeternitatis»).

Здѣсь перечислена, конечно, не вся литература о Л. Шестовѣ; но если бы даже набралось еще десятка два мелкихъ отзывовъ о книгахъ и статьяхъ этого автора, то и въ такомъ случаѣ скучность этой литературы не стала бы менѣе разительной, особенно по сравненію съ громадной литературой о Л. Андреевѣ и довольно большой за послѣднее время литературой о ї. Сологубѣ; это служить лучшимъ показателемъ того, какъ мало въ широкой публикѣ знаютъ Л. Шестова **). Закончимъ нашъ перечень его произведеній указаніемъ на отдѣльныя статьи, печатавшіяся въ разное время (до 1908 г.) въ различныхъ сборникахъ и журналахъ; такихъ статей намъ известно шесть. Статья «Юлій Цезарь Шекспира» напечатана въ видѣ одного изъ приложений къ трагедіямъ Шекспира въ изданіи Брокгаузъ-Эфронъ; статья эта пріобрѣтаетъ особенный интересъ при сопоставленіи съ первой книгой и первой газетной статьей Л. Шестова о Шекспирѣ: три эти произведения на одну и ту же тему отдѣлены другъ отъ друга значительными промежутками времени и отразили на себѣ эволюцію міровоззрѣнія Л. Шестова. Вторая статья, «Власть идей», напечатанная въ «Мірѣ Искусства» 1902 года, написана по поводу книги Д. Мережковскаго о Толстомъ и Достоевскомъ; обѣ эти статьи Л. Шестова перепечатаны имъ въ приложениі къ его книгѣ «Апоѳеозъ безпочвенности». Затѣмъ въ журналѣ «Вопросы Жизни» (1905 г., № 3) помѣщена большая статья Л. Шестова о Чеховѣ подъ заглавиемъ «Творчество изъ ничего»; въ «Полярной Звѣздѣ» (отъ 27 янв. 1906 г.) — статья о Достоевскомъ: «Пророческій даръ»; въ сборникѣ «Факелы» (кн. II) — статья «Похвала глупости», по поводу книги Бердяева «Sub specie aeternitatis»; и, наконецъ, въ «Русской Мысли» (1907 г. № 4) — статья «Предпослѣдня слова». Эти четыре статьи составляютъ недавно вышедшій сборникъ статей Л. Шестова, озаглавленный «Начала и Концы».

Итакъ, въ небольшихъ пяти книгахъ собраны почти всѣ произведения Л. Шестова, написанныя имъ за послѣднія пятнадцать лѣтъ ***); всѣ эти пять книгъ легко могли

*) Она печаталась въ 1902 г. въ журналѣ «Мірѣ Искусства», подъ заглавиемъ «Философія трагедіи».

**) Послѣ выхода въ свѣтъ первого изданія настоящей книги, въ 1908-1909 г. появился, наконецъ, цѣлый рядъ журнальныхъ и газетныхъ статей о Л. Шестовѣ — гг. Мережковскаго, Философова, Франка и многихъ другихъ.

***) Не помѣщены въ нихъ только первые фельетоны Л. Шестова, а также и послѣдній его фельетонъ, появившійся въ одномъ изъ ноябрьскихъ номеровъ «Нашей Жизни» за 1905 г. подъ заглавиемъ «Литературный сецессіонъ» (о журналѣ «Вопросы Жизни»); кромѣ того въ 1909 году появились слѣдующія новыя статьи Л. Шестова «Разрушающій и созидающій міры» («Русская Мысль», № 1); «Великіе Кануны» (ibid., № 4); «Поэзія и проза ї. Сологуба» («Рѣчь», № 139).

бы быть соединены въ одинъ томъ — такъ сравнительно невелико количество писаній Л. Шестова. Какихъ-нибудь пятьдесятъ печатныхъ листовъ за пятнадцать лѣтъ — въ то время какъ одна книга Д. Мережковскаго о Толстомъ и Достоевскомъ, написанная между объемистымъ «Леонардо» и кирпичнообразнымъ «Петромъ», равна по объему всѣмъ книгамъ Л. Шестова вмѣстѣ взятымъ... Но вѣдь цѣнность литературныхъ произведеній измѣряется вѣсомъ идей, а не вѣсомъ печатной бумаги; и въ отношеніи этой внутренней цѣнности интересная, но страдающая водянкой книга Мережковскаго должна уступить первое мѣсто небольшимъ и сжатымъ работамъ о Толстомъ и Достоевскомъ Л. Шестова. Это сопоставленіе Л. Шестова и Д. Мережковскаго мы дѣлаемъ намѣренно, чтобы подчеркнуть одну характерную черту творчества Л. Шестова: черта эта — сжатость, сконцентрированность мысли, умѣніе въ немногомъ выразить многое и въ то же время найти адекватную форму для выраженія своей мысли. Это дѣлаетъ Л. Шестова однимъ изъ нашихъ наиболѣе блестящихъ стилистовъ; имѣя это въ виду, мы и называли творчество Л. Шестова философско-художественнымъ. При чтеніи книгъ Л. Шестова чувство эстетической удовлетворенности почти всегда сопровождаетъ работу мысли, а это можно сказать не о многихъ изъ современныхъ писателей.

Но, конечно, не на эту внѣшнюю сторону творчества Л. Шестова мы обратимъ вниманіе; для насъ Л. Шестовъ интересенъ какъ писатель, мучительно ищущій отвѣта на вопросъ о смыслѣ жизни, на вопросъ о смыслѣ зла въ мірѣ, на вопросъ о цѣли нашего жизненного пути; для насъ Л. Шестовъ интересенъ какъ философъ — въ широкомъ смыслѣ этого слова. Къ нему въ этомъ отношеніи всецѣло примѣнимо то, что самъ онъ говорить о Толстомъ въ одной изъ своихъ книгъ: «...вся творческая дѣятельность его была вызвана потребностью понять жизнь, т.-е. той именно потребностью, которая вызвала къ существованію философію. Правда, онъ не касается нѣкоторыхъ теоретическихъ вопросовъ, которые мы привыкли встрѣчать у профессиональныхъ философовъ. Онъ не говорить о пространствѣ и времени, монизмѣ и дуализмѣ, о теоріи познанія вообще. Но не этимъ опредѣляется право называться философомъ. Всѣ эти вопросы должны быть выдѣлены въ самостоятельный дисциплины, служащей лишь основаніемъ для философіи. Собственно же философія должна начинаться тамъ, гдѣ возникаютъ вопросы о мѣстѣ и значеніи человѣка въ мірѣ, о его правахъ и роляхъ во вселенной и т. д.»... (II, 77) *). Да, это такъ: вся творческая дѣятельность Л. Шестова была вызвана потребностью понять жизнь, а значитъ — вѣдь «comprendre c'est pardonner» — и оправдать жизнь, объяснить смыслъ зла въ мірѣ, найти смыслъ жизни. Гдѣ возникаютъ эти вопросы, тамъ начинается философія, въ какихъ бы формахъ она ни проявлялась: въ формѣ ли философскаго трактата, или критической статьи, или трагедіи и романа; надо только умѣть узнавать эту философію подъ любыми формами — въ этомъ задача литературно-философской критики. Эту задачу мы и ставили себѣ, изучая творчество ю. Сологуба и Л. Андреева; съ этой же точки зрѣнія мы подойдемъ и къ творчеству Л. Шестова и увидимъ тогда, что новаго вносить Л. Шестовъ въ постановку и решеніе вопроса о смыслѣ жизни по сравненію съ уже извѣстными намъ решеніями этого вопроса Л. Андреевымъ и ю. Сологубомъ.

II.

Уже въ первой своей книгѣ Л. Шестовъ подошелъ вплотную къ вопросу о смыслѣ жизни, но подошелъ съ иной стороны, чѣмъ впослѣдствіи ю. Сологубъ и Л. Андреевъ. Каждый изъ нихъ остановился въ ужасѣ передъ одной изъ сторонъ бытія, передъ одной изъ проблемъ, входящихъ въ общій вопросъ о смыслѣ человѣческой жизни:

*) Въ виду того, что все написанное Л. Шестовымъ до 1908 г. собрано въ указанныхъ выше пяти книгахъ, то мы для краткости будемъ обозначать ихъ цифрами: I — «Шекспиръ и его критикъ Брандесъ»; II — «Добро въ ученіи гр. Толстого и Ф. Ницше» (по изд. 1900 г.; впослѣдствіи, въ 1907 г., вышло второе изданіе этой книги), III — «Достоевскій и Ницше»; IV — «Апоѳеозъ безпочвенности» и V — «Начала и Концы».

Л. Андреевъ стоитъ въ ужасѣ передъ Смертью, Ф. Сологубъ — передъ «безобразной бабищей» Жизнью, а Л. Шестовъ — передъ фантомомъ Случая и передъ зрѣлищемъ неосмысленныхъ, случайныхъ человѣческихъ страданій.

Здѣсь передъ нами наглядно выясняется тѣсная связь и зависимость между вопросомъ о смыслѣ жизни и отдѣльными теоретико-философскими проблемами — теоріей причинности, детерминизмомъ,teleologіей и т. п.; здѣсь необходимо, поэто-му, сдѣлать небольшое теоретико-философское отступленіе. Дѣйствительно, что такое случай? Случай есть явленіе пересѣченія во времени двухъ причинныхъ рядовъ. Примѣръ: я поставилъ палку въ уголь и въ тотъ же моментъ хлынула дождь; здѣсь передъ нами два обособленныхъ причинныхъ ряда, которые случайно совпали въ нѣкоторой точкѣ. Причинной связи между ними нѣть, есть только временное совпаденіе; и было бы ошибочно заключать *post hoc, ergo propter hoc*, т.-е. утверждать, что я поставилъ палку въ уголь, *a потому* и пошелъ дождь — *stat baculus in angulo, ergo pluit*. Другой примѣръ: человѣкъ шелъ по улицѣ, кирпичъ сорвался съ домово-го карниза и разбилъ голову человѣку. Это тоже только случай, только совпаденіе и пересѣченіе двухъ причинныхъ рядовъ... И наукѣ нечего дѣлать тамъ, гдѣ мы имѣемъ дѣло со случаемъ; случай есть вполнѣ единичное явленіе, къ которому нельзя предъявить вопроса «почему». Почему упалъ кирпичъ — этотъ причинный рядъ можетъ быть прослѣженъ нами довольно глубоко; но почему кирпичъ упалъ какъ-разъ въ тотъ моментъ, когда около дома проходилъ человѣкъ и почему онъ упалъ какъ-разъ на человѣка — это область чистаго «случая»; вопросы «почему» здѣсь неумѣстны.

Все это очень элементарныя положенія; мы сейчасъ увидимъ, что ихъ возможно углубить, что теоретически возможно отрицать самое понятіе случая. Вѣдь дѣло въ томъ, что всякое пересѣченіе двухъ причинныхъ рядовъ можетъ считаться причинно-обусловленнымъ, оно можетъ быть звеномъ третьяго, болѣе общаго, неизвѣстнаго намъ причиннаго ряда. Съ этой точки зрѣнія — особенно отстаиваемой нѣкоторыми кантіанцами — всякое временное слѣдованіе есть только наружная сторона нѣкоторой глубокой внутренней причинной связи; только ограниченность человѣческаго познанія заставляетъ насъ изъ телевологическихъ соображеній разграничивать временен-ныя и причинныя соотношенія. Съ этой точки зрѣнія нельпая фраза «*stat baculus in angulo, ergo pluit*» является выражениемъ глубокой истины, ибо случайного совпаденія въ мірѣ быть не можетъ: «*in mundo non datur casus* — это априорный законъ приро-ды», по словамъ Канта. Случая нѣть; есть только необходимость, законы которой не знаютъ исключеній *).

Какое однако отношеніе имѣть все это къ вопросу о смыслѣ жизни? — Самое ближайшее. Л. Шестовъ, сказали мы, съ ужасомъ остановился передъ фантомомъ Случая, обезсмысливающимъ человѣческую жизнь. Вѣдь если существуетъ случай, то несомнѣнно, что никакого объективнаго смысла въ человѣческой жизни нѣть и быть не можетъ. Какой ужъ тутъ объективный смыслъ жизни, если въ любую минуту сорвавшійся съ домового карниза кирпичъ можетъ раскроить вамъ голову! А смыслъ жизни человѣчества? Нечего толковать и о немъ, разъ существуетъ случай: завтра же «Энкіева комета зацѣпить земной шаръ... — вотъ вамъ и финаль исторіи» (Герценъ); гдѣ ужъ тутъ говорить объ объективномъ смыслѣ жизни человѣчества! Ну, а если случа-я нѣть, если всѣ явленія міра неслучайны, необходимы, связаны тѣсной цѣпью при-чинности — значитъ ли это, что явленія жизни осмысленны? Нѣть, не значитъ, ибо если мы даже и съумѣемъ отвѣтить до конца на всѣ вопросы «почему», если мы даже отвѣтимъ не только на вопросъ, почему упалъ кирпичъ, но и на вопросъ, почему онъ упалъ какъ-разъ на человѣка, если мы даже совершенно упразднимъ за ненадобнос-ть понятіе случая, то и тогда останется безъ отвѣта вопросъ «зачѣмъ» — вопросъ

*) Обо всемъ этомъ см. между прочимъ въ книгѣ И. Лапшина: «Законы мышленія и формы познанія», стр. 39-42.

составляющей всю проблему о смыслѣ жизни. Проблема эта не причинная, а телесообразная; осмысленность жизни надо доказывать не съ точки зрења причинныхъ соотношений, а исключительно съ точки зрења телесообразности. Если мы отвѣтимъ на вопросъ «зачѣмъ», если мы покажемъ, что во-преки видимости не Случай, а Цѣлесообразность царить въ мірѣ нравственныхъ явлений — то проблема смысла жизни будетъ нами решена въ положительномъ смыслѣ. Такую задачу поставилъ себѣ Л. Шестовъ и далъ блестящее ея решеніе въ своей книгѣ «Шекспиръ и его критикъ Брандесъ»; блестящее — но и ошибочное...

«Цѣлые годы призракъ случайности человѣческаго существованія преслѣдовалъ его и цѣлые годы великій поэтъ без страшился всматривался въ ужасы жизни и постепенно уяснялъ себѣ ихъ мысль и значеніе», — пишетъ Л. Шестовъ о Шекспирѣ (I, 281), а мы можемъ повторить о самомъ Л. Шестовѣ, конечно toutes proportions gardées. Цѣлые годы фантомъ Случая, призракъ случайности человѣческаго существованія преслѣдовалъ Л. Шестова; цѣлые годы искалъ онъ отвѣта на этотъ мучавшій его вопросъ о безсмысленности жизни, о случайности ея. Ему казалось сначала, что этотъ вопросъ можно решить въ сторону признанія смысла жизни, низверженія призрачнаго Случая и замѣны его «разумной необходимостью»: такой отвѣтъ нашелъ онъ въ творчествѣ Шекспира (это было въ 1895 г.). Десять лѣтъ спустя онъ пишетъ статью о Чеховѣ — и видитъ въ немъ великаго поэта самодержавной случайности; Шекспиръ преодолѣлъ этотъ призракъ (казалось когда-то Л. Шестову), а Чеховъ сталъ его «бѣднымъ рыцаремъ», начертавшимъ на своемъ щитѣ кровью сердца эти слова о случайности человѣческаго существованія. «Въ этомъ — пишетъ Л. Шестовъ въ 1905 г., — самая значительная и оригинальная черта его творчества..... Я здѣсь укажу на его комедію «Чайку», въ которой, наперекоръ всѣмъ литературнымъ принципамъ, основой дѣйствія является не логическое развитіе страстей, не неизбѣжная связь между предыдущимъ и послѣдующимъ, а голый, демонстративно ничѣмъ не прикрытый случай (курс. подл.). Читая драму, иной разъ кажется, что передъ тобой номеръ газеты съ безконечнымъ рядомъ faits divers, нагроможденныхъ другъ на друга безъ всякаго порядка и заранѣе обдуманнаго плана. Во всемъ и вездѣ царить самодержавный случай, на этотъ разъ дерзко бросающій вызовъ всѣмъ міровоззрѣніямъ. Въ этомъ, говорю, наибольшая оригинальность Чехова»... (V, 13). Такъ это или не такъ — спорить не будемъ; важно только подчеркнуть, что такъ понимаетъ Чехова Л. Шестовъ, всецѣло соглашаясь, какъ мы увидимъ, съ мучавшей его раньше идеей случайности человѣческаго существованія; онъ теперь стоить за Чеховыми такъ же, какъ раньше стоялъ за Шекспиромъ.

Ясно отсюда, что отъ начала и до конца (т.-е. до настоящаго момента) своего творчества Л. Шестовъ стоить все передъ той же проблемой случайя, случайности — а значитъ и безсмысленности — человѣческой жизни; отвѣты онъ даетъ разные, даже противоположные, но все тотъ же вопросъ мучительно сверлить его душу: въ чемъ смыслъ и значеніе ужасовъ жизни? въ чемъ смыслъ случайного добра, случайного зла? въ чемъ смыслъ случайного человѣческаго существованія? Чтобы имѣть право жить, надо отвѣтить на эти вопросы, надо распутать или разрубить проклятый гордіевъ узель. Говоря словами поэта —

Міръ долженъ быть оправданъ весь,
Чтобъ можно было жить!
Душою тамъ, я сердцемъ — здѣсь;
А сердце какъ смирить?
Я узелъ долженъ видѣть весь.
Но какъ распутать нить?

Да, какъ распутать нить? Какъ найти смыслъ случайного, т.-е. безсмысленного человѣческаго существованія? Вопросъ поставленъ такъ, что допускаеть только два

отвѣта: или нѣть смысла — тогда наша жизнь случайна, или нѣть случая — тогда наша жизнь осмысленна. Л. Шестовъ началъ со второго отвѣта и пришелъ къ первому — мы это видѣли выше и въ этомъ мы еще убѣдимся. Теперь же начнемъ съ начала и обратимся къ книгѣ «Шекспиръ и его критикъ Брандесъ»: въ ней мы найдемъ попытку низверженія съ трона самодержавнаго случая, попытку отвѣта на вопросъ «зачѣмъ», попытку доказательства того, что случая нѣть и что, слѣдовательно, жизнь наша осмысленна...

III.

Л. Шестовъ самъ отмѣчаетъ слѣдующее любопытное обстоятельство изъ исторіи шекспирологіи: «съ тѣхъ порь, — говорить онъ, — какъ за Шекспиромъ установилась слава величайшаго изъ когда-либо существовавшихъ поэтовъ, у него перестали учиться. Его всегда оставляютъ на самый конецъ. Когда міросозерцаніе у человѣка сложилось — онъ начинаетъ «изучать» Шекспира, т.-е. отыскивать въ его произведеніяхъ доказательства справедливости того отношенія къ жизни и людямъ, которое подсказали ему его собственное прошлое и личные вкусы. Шекспиръ слишкомъ великъ, чтобы обойти его»... (I, 41). И прежде всего это примѣнимо къ самому Л. Шестову. Найти въ Шекспирѣ союзника — значитъ найти твердую точку опоры; и Л. Шестовъ хотѣлъ вести свою борьбу съ фантомомъ Случая, опираясь на Шекспира.

Мы не будемъ обращать вниманія на полемику Л. Шестова съ Брандесомъ, Гервинусомъ, Крейссигомъ, Ульрици и другими шекспирологами; вообще оставляемъ въ сторонѣ вопросъ о значеніи этой книги Л. Шестова среди необъятной литературы о Шекспирѣ, какъ ни высоко склонны мы цѣнить это значеніе. Несомнѣнно во всякомъ случаѣ одно: въ этой своей полемикѣ съ шекспирологами, и особенно съ Брандесомъ, Л. Шестовъ тщетно пытался занять позицію объективнаго толкователя Шекспира, противопоставляя свою точку зрѣнія субъективнымъ построеніямъ Брандеса; попытка эта была тщетной потому, что взглядъ Л. Шестова на Шекспира былъ въ совершенно равной степени проникнуть — да иначе и быть не можетъ — *субъективными* предпосылками. Л. Шестову надо было доказать себѣ и другимъ, что случая нѣть, что въ мірѣ царить разумная необходимость, что на тронъ узурпатора-Случая надо посадить угнетенную Цѣлесообразность. Быть можетъ, такое міросозерцаніе сложилось у Л. Шестова непосредственно при изученіи Шекспира, но вѣдь отъ этого оно, міросозерцаніе это, не стало менѣе субъективнымъ? Шекспиръ только путь, только средство; на его произведеніяхъ Л. Шестовъ открываетъ намъ свои взгляды, свое міровоззрѣніе; Шекспиръ долженъ отвѣтить ему на тѣ вопросы «зачѣмъ», передъ которыми безсильно останавливается наука и которые вводятъ насъ въ область философы и интуитивнаго творчества.

Въ первыхъ главахъ своей книги Л. Шестовъ обрушивается на ту объективную науку, которая думаетъ упразднить всѣ вопросы «зачѣмъ» своимъ отвѣтомъ на вопросы «почему». Если вопросы «зачѣмъ» незакономѣрны, ошибочны, излишни, то во что же обращается внутренній міръ человѣка? — спрашиваетъ Л. Шестовъ: — въ такомъ случаѣ «не ложь ли и вся жизнь человѣка... и не имѣеть ли «научное право» на существованіе только то въ жизни человѣка, что есть въ ней общаго съ существованіемъ вѣнчанаго міра?» На эти вопросы представители объективной науки (Л. Шестовъ имѣеть въ виду Тэна) отвѣтили утвердительно: да, все личное, все индивидуальное — ложь; да, все частное, все единичное имѣеть право на существованіе лишь постольку, поскольку оно можетъ стать общимъ, сверхъ-личнымъ. Мы уже встрѣчались съ этой точкой зрѣнія: ее исповѣдывалъ знакомый намъ Сергѣй Николаевичъ на своей горной астрономической вышкѣ. Вы помните этого великоклѣпнаго представителя объективной науки и сверхъ-личной точки зрѣнія: сходить съ ума и становится жалкимъ идіо-

томъ его сынъ, брошенный въ тюрьму, а онъ недоумѣваетъ: какъ это можно плакать и приходить въ отчаяніе изъ-за гибели одного человѣка?! «Я вижу космосъ, я вижу вездѣ торжествующую безбрежную жизнь — и я не могу плакать обѣ одномъ... Жизнь, жизнь вездѣ»... Сынъ его погибнетъ, какъ гибли миллионы людей — что за бѣда? «Какъ садовникъ, жизнь срѣзаетъ лучшіе цвѣты, но ихъ благоуханіемъ полна земля... Взгляни туда, въ этотъ безпредѣльный просторъ, въ этотъ неизсказаемый океанъ творческихъ силъ. Взгляни туда!»... Л. Шестовъ приводить почти буквально такія же слова Тэна о «подвижной внѣшности исторіи или жизни и о томъ яркомъ и ароматическомъ цвѣтеніи, которое природа расточаетъ на поверхности бытія»... И Тэнъ тоже поетъ хвалу неизсказаемому океану творческихъ силъ, тоже чувствуетъ «восторженное удивленіе при видѣ колоссальныхъ силъ, находящихся въ самомъ сердцѣ всего существующаго», тоже сводить человѣка на роль простого винтика въ механизмѣ вселенной: «человѣкъ такой же продуктъ, какъ и всякая вещь», и плакать о немъ, радоваться, негодовать и проклинать — не дѣло науки. Смерть, горе, несчастія и всѣ черный тѣни земли подчинены строгимъ законамъ необходимости; изучать ихъ — вотъ все, что нужно. А проклинать, негодовать — что за нелѣпость? «Статочное ли дѣло, чтобы кто-нибудь сталъ негодовать противъ геометріи? — А тѣмъ болѣе противъ живой геометрії?»... Иначе говоря, нѣтъ и не должно быть вопросовъ «зачѣмъ»; достаточно съ насыть отвѣтовъ на вопросъ «почему». И Л. Шестовъ ядовито комментируетъ приведенные выше слова Тэна. «Все это, — говоритъ онъ, — въ переводѣ на конкретный языкъ значить: недавно былъ уличенъ кладбищенскій сторожъ въ оскверненіи труповъ. Но не ужасайтесь: сумма угловъ въ треугольникѣ равняется двумъ прямымъ. Недавно у такого-то убили на войнѣ единственного сына. Не бѣда: ломаная больше прямой. Въ Россіи нѣсколько лѣтъ тому назадъ былъ голодъ. Это совершенно разумно, ибо людямъ нечего было есть, а въ такихъ случаяхъ, по непреложнымъ законамъ природы, они должны обязательно истощаться. Мюссе въ такихъ случаяхъ восклицаетъ: «молитва замираетъ на устахъ», Байронъ произносить свое страшное проклятие: «собаки или люди», Гейне бросаетъ лиру и береть въ руки палку, а ученый, глядя на все это, убѣждень, что это только «цвѣтеніе на поверхности бытія» — яркое или ароматическое?...» (I, 14).

Въ то время какъ Л. Шестовъ писалъ свою первую книгу, у насы въ Россіи пышно расцвѣталъ ортодоксальный марксизмъ, доводившій эти точку зрѣнія объективизма до абсурда; въ маленькихъ доморощенныхъ Тэнахъ у насы никогда не было недостатка. Тѣмъ болѣе необходимо подчеркнуть ту позицію, которую занялъ въ этомъ вопросѣ Л. Шестовъ. Наука полновластна въ своей строго опредѣленной области; тамъ она самодержавна, тамъ она царить надъ всѣми «почему», касающимися внѣшняго міра. Но когда она хочетъ, въ лицѣ крайнихъ объективистовъ, завладѣть и всѣми внутренними переживаніями человѣка, когда она хочетъ упразднить всѣ вопросы о цѣли и смыслѣ и замѣнить ихъ вопросами причинной послѣдовательности, то тутъ она уже вторгается въ чужую область, на которую не имѣть никакихъ правъ. Но тутъ же сразу проявляется и ея безсиліе: не будучи въ состояніи отвѣтить на вопросы «зачѣмъ», а потому и упраздня эти вопросы, крайніе объективисты въ то же время безсильны отвѣтить въ этой области и на вопросы «почему»; вѣрнѣе сказать, они отвѣчаютъ — но лишь однимъ ничего не отвѣчающимъ словомъ: *случай*, словомъ, столь ненавистнымъ Л. Шестову. «Случай — говорить Тэнъ — ведеть человѣка сквозь очень опредѣленныя и самыя сложныя обстоятельства къ горю, преступленію, безумію, смерти»... «Слово *случай*, — замѣчаетъ по этому поводу Л. Шестовъ, — которому такъ строго воспрещено показываться, когда рѣчь идетъ объ объективныхъ явленіяхъ (ибо «случай» говорится тогда, когда ясно, что объясненія не нужно), здѣсь именно на своемъ мѣстѣ»... (I, 22). Ибо что такое для Тэна, для объективнаго соціолога, для великого Сергея Николаевича, что такое для всѣхъ нихъ смерть, безуміе, горе, какъ ни случай, не подлежащий научному обобщенію? И такимъ образомъ «чѣмъ» болѣе прочно устанавлив-

вается законъ причинности для міра виѣшняго, тѣмъ больше отдається во власть слу-
чая внутреннїй міръ человѣка»... (I, 9).

Кирпичъ сорвался съ домового карниза и разбиль голову человѣка. «Почему?» — на это отвѣтаетъ наука; для нея «паденье кирпича лишь доказываетъ гармоничность явленій природы, торжествующий во всей вселенной закономѣрный порядокъ»... Пойдемъ однако дальше и опять предоставимъ слово самому Л. Шестову. Камень упалъ по неизмѣннымъ законамъ природы, но... «но при этомъ получается еще нѣчто: человѣкъ изуродованъ. То-есть молодое, полное жизни, надеждъ на будущее, веселое, прекрасное, радостное существо вдругъ обращается навсегда въ негоднаго калѣку... Что все это такое? Почему такъ произошло, такъ случилось? Пока камень падаль и расшибалъ по пути другіе камни — все было ясно. Пусть себѣ падаетъ! Но сказать такъ: «камень упалъ и при этомъ обстоятельствѣ уничтоженъ человѣкъ»... — значить умышленно закрывать глаза. Вѣдь наоборотъ: погибъ человѣкъ — это сущность, это главное, это требуетъ объясненія, а то, что камень упалъ — есть добавочное обсто-
ятельство. По объясненію же науки, все, что произошло съ человѣкомъ, есть лишь прибавка къ виѣшнему явленію, нѣчто случайное, необъяснимое, не нуждающееся въ объясненіи. Человѣкъ живеть или не живеть, радуется или страдаетъ, падаетъ или возвышается — все это лишь поверхность, видимость явленій: сущность же ихъ — паденіе камня. Отсюда общій выводъ: жизнь, внутренняя жизнь человѣка, есть, по существу своему, нѣчто совершенно случайное»... (I, 9). Съ этимъ подчеркнутымъ нами выводомъ и ведетъ не на жизнь, а на смерть борьбу Л. Шестовъ въ своей первой книгѣ. Жизнь, внутренняя жизнь человѣка, есть нѣчто совершенно не случайное — хотеть доказать онъ намъ; доказать это — значитъ попытаться отвѣтить на вопросъ «зачѣмъ».

Это и дѣлаетъ Л. Шестовъ, ища себѣ союзника въ Шекспирѣ. «Мы станемъ слѣдить за Шекспиромъ съ того момента, — говорить онъ, — когда ...вмѣсто прежня-
го вопроса: почему, передъ нимъ возникъ страшный вопросъ — зачѣмъ»... (I, 44). А это случилось съ Шекспиромъ тогда, когда (въ 1601 году) въ душѣ его произошла какая-то роковая, невѣдомая намъ трагедія. Эта душевная трагедія заставила Шекспира «задать себѣ этотъ великий и страшный вопросъ: зачѣмъ? Кто испыталъ чувства Лиры, кто, вмѣстѣ съ Шекспиромъ, умѣль войти въ тотъ безпросвѣтный мракъ, куда сразу, послѣ долгихъ лѣтъ беспечныхъ радостей, попалъ несчастный старикъ — для того этотъ великий вопросъ «зачѣмъ» никогда не перестанетъ существовать. Слабые, маленькие люди убѣгутъ отъ него, постараются забыть его, закрыться отъ него повседневными заботами и радостями. Большие люди прямо глядѣть въ лицо возставшему призраку и либо гибнуть, либо уясняютъ себѣ жизнь»... (I, 38). Такъ погибъ Аврелій, взглянувъ въ глаза возставшему призраку — Елеазару; такъ, взглянувъ въ его глаза, уяснилъ себѣ смыслъ жизни божественный Августъ...

Такъ уясняетъ себѣ жизнь и Л. Шестовъ. Онъ взглянулъ въ глаза возставшаго передъ нимъ призрака — Случая, и спросилъ себя: «зачѣмъ?» Зачѣмъ жить, если жизнь есть только случайное сїѣплеіе случайныхъ явленій, если «черныя тѣни земли» не-
объяснимы, если случайное зло и случайное добро безцѣльны? Зачѣмъ жить, если существуетъ «все то, что греки называли міаѳоу, т.-е. все возмущающее душу, все не-
справедливое и случайное — какъ ненаказанное преступленіе, гибель невиннаго су-
щества и т. д....» (I, 205); зачѣмъ жить, если жизненная трагедія безцѣльна и нелѣпа? Зачѣмъ жить, если жизнь есть только Случай? Такъ спросилъ себя Л. Шестовъ. Отвѣтъ его мы знаемъ: случая нѣть. Случай — это только виѣшняя, видимая сторона жизненнаго процесса, только проявленіе той «видимой безсмысленности жизни, которая смущала людей отъ сотворенія міра» (I, 233); вопреки видимости, не Случай, а Целе-
сообразность царить въ мірѣ внутренней жизни человѣка: это должно быть установлено, какъ общій принципъ. А съ высоты этого принципа объяснимы — хотя бы тео-
ретически — всѣ частные случаи. «Міаѳоу есть лишь необъясnenный случай» (I, 243).

Необъясненный — это еще не значить необъяснимый; непознанный — это еще не значить непознаваемый: *unverstanden, doch nicht unverständlich*, какъ сказаъ Гете. Безцѣльной и безсмысленой трагедіи нѣть и не можетъ быть; «нелѣпаго трагизма» не существуетъ, можетъ существовать только «разумная необходимость»; а если такъ, то этимъ оправдана вся жизнь, оправданъ міръ, осмыслено существованіе.

Такой отвѣтъ на вопросъ о смыслѣ жизни далъ Л. Шестовъ въ первой своей книгѣ. Намъ надо теперь прослѣдить тотъ путь, которымъ онъ пришелъ къ такому отвѣту. Путь этотъ — анализъ трагедій Шекспира; на трагедіяхъ этихъ Л. Шестовъ хочетъ вскрыть смыслъ *tragедіи* вообще, хочетъ показать, что тамъ, гдѣ мы видимъ только случайный «нелѣпый трагизмъ», тамъ великій художникъ открываетъ передъ нами осмысленный и необходимый процессъ развитія. Это путь «*апологіи трагедии*» — такъ можно было бы назвать первую книгу Л. Шестова. И если намъ покажутъ, что безпричинныя муки Лира, звѣрское ослѣпленіе Глостера, нелѣпая гибель невинной Корделіи не случайны, не нелѣпы, а имѣютъ свой глубокій внутренній смыслъ, то не должны ли мы будемъ признать, что дѣйствительно нѣть «нелѣпаго трагизма», нѣть случая? Не придется ли тогда намъ, вмѣстѣ съ Л. Шестовымъ, «благословить целесообразность господствующаго надъ человѣкомъ закона»? (I, 235). Это мы еще увидимъ.

IV.

«Гамлетъ», «Юлій Цезарь», «Коріоланъ», «Король Лиръ» и «Макбетъ» — на этихъ пяти трагедіяхъ останавливается Л. Шестовъ, тщательному разбору и анализу ихъ смысла посвящена вся его книга. Мы не можемъ слѣдовать шагъ за шагомъ за Л. Шестовымъ въ этомъ анализѣ и отсылаемъ читателя къ самой книгѣ — единственной по силѣ чувства и глубинѣ мысли во всей нашей русской литературѣ о Шекспирѣ послѣ статей Бѣлинскаго; мы только намѣтимъ рядомъ цитатъ главныя точки проходимаго Л. Шестовымъ пути и увидимъ, какъ отъ смысла трагедіи Л. Шестовъ переходить къ вопросу о смыслѣ жизни вообще.

Въ чёмъ трагедія Гамлете и каковъ ея смыслъ? Гамлетъ — «мыслитель», по характеристику Л. Шестова; его, какъ и многочисленныхъ позднѣйшихъ Гамлетовъ и гамлетиковъ «рефлексія заѣла», говоря словами Тургенева. Гамлеты умѣютъ только «мыслить», т.-е. обращаться къ явленіямъ одной стороной своего существа; это ихъ свойство «принижаетъ въ нихъ всѣ стороны душевной дѣятельности — для одной» (I, 53). Чтобы стать человѣкомъ въ настоящемъ смыслѣ этого слова, «мыслитель» долженъ войти въ міръ дѣйствительности, долженъ не только мыслить, но и чувствовать, долженъ стать достойнымъ имени человѣка — и въ этомъ смыслѣ той трагедии, которую переживаетъ Гамлетъ. «Жизнь застыла въ Гамлетѣ и проснуться онъ можетъ только отъ сильного потрясенія: трагедія ему необходима... Тогда лишь онъ узнаетъ, что такую жизнь нельзя принять, что нужно найти иную, хотя бы пришлось для этого вынести самыя тяжелыя муки» (I, 69). Прежняя жизнь для Гамлете невозможна: распалась связь временъ, говорить онъ; «пока связь временъ не будетъ возстановлена, нельзя, не нужно жить. И онъ знаетъ, что связь порвалась не вѣрою, а въ немъ самомъ»... (I, 76). И въ возстановленіи этой распавшейся связи временъ заключается развитіе трагедіи Гамлете; онъ сбрасываетъ съ себя узы своей комнатной философіи, онъ входитъ въ живую жизнь, въ міръ страданія и сознанія. «...Твои муки — обращается къ Гамлете Л. Шестовъ — не пропадутъ даромъ. Лучше было тебѣ вынести всѣ испытанія, рыдать глядя на тѣнь отца своего, безумствовать наединѣ съ собой и передъ матерью, чувствовать себя ничтожнымъ, раздавленнымъ червякомъ — чѣмъ жить въ Виттенбергѣ въ сознаніи своего великаго душевнаго пре-восходства. Не слѣпая судьба загнала тебя въ трагедію, а разумная необходимость. Нужно выстрадать свое совершенство, свое развитіе» (I, 82). И прежде всего — нужно

върить въ эту разумную необходимость, върить, что, какъ говорить Гамлетъ, и воробей не погибнетъ безъ воли провидѣнія: «*върить въ провидѣніе, т.-е. чувствовать глубокую осмысленность нашей жизни — великое дѣло*», заявляетъ Л. Шестовъ (I, 87; курс. вездѣ нашъ). Вскрыть смыслъ трагедіи, разсказать о горѣ, насилии, убийствѣ, смерти — и притомъ «разсказать не за тѣмъ, чтобы пугать и безъ того напуганное воображеніе картинами ненужныхъ мукъ и безвременныхъ смертей, а за тѣмъ, чтобы объяснить, какой смыслъ все это имѣло — можетъ лишь великой поэтъ»... Такимъ великимъ поэтомъ былъ Шекспиръ. «...Никто — ни до Шекспира, ни послѣ него — не умѣлъ такъ ясно видѣть въ человѣческой душѣ, чтобы всю путаницу сложныхъ явлений нашей психики, представляющуюся не только наблюдателямъ, но и дѣйствующимъ лицамъ, случайнымъ сплетеніемъ послѣдствій случайныхъ событий, понять какъ нѣчто единое, осмысленное, цѣлесообразное. У Шекспира высшая задача, доступная только художнику: объяснить смыслъ жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ. Не отбросить жизнь, какъ «цѣтеніе», какъ добавленіе къ вѣшнимъ явлѣніямъ, только ими и опредѣляемое, а поставить жизнь впереди всего, въ ней видѣть начало... Поэтъ примиряетъ насъ съ жизнью, выясняя осмысленность всего того, что намъ кажется случайнымъ, безсмыленнымъ, возмутительнымъ, ненужнымъ. У Шекспира Гамлетъ выносить трагедію не потому, что онъ запутался въ сѣяхъ слѣпой судьбы...; Гамлету, повторяемъ, его трагедія была необходима. Шекспиръ именно потому и великъ, что умѣлъ видѣть порядокъ и смыслъ тамъ, гдѣ другіе видѣли только хаосъ и нелѣпость»... (I, 88).

Насколько все это убѣдительно или неубѣдительно, — мы еще увидимъ, а пока пойдемъ дальше за Л. Шестовымъ. Онъ переходить къ «Юлію Цезарю» и особенно останавливается на Брутѣ, противопоставляя его Гамлету и считая его величайшимъ представителемъ этическаго индивидуализма. Гамлетъ — представитель рефлектирующей мысли, Брутъ — представитель непосредственного чувства, вооруженного мыслью. «Гамлетъ со всѣмъ, что вѣтъ его, связанъ идею. Онъ не можетъ порвать этой связи, но она мучительно тяготить его. Брутъ связанъ съ поселяниномъ, съ Римомъ, съ Люциемъ, съ Порціей — какъ съ самимъ собою» (I, II8). Для Брута — «жить и мыслить... не два раздѣленные, противоположные одинъ другому процесса, а одинъ» (I, 104); люди для него — не ходячія абстракціи, а подобныя ему существа, чувствующія и страдающія: «для Брута нѣть добра вѣтъ человѣка... Цѣлью онъ считаетъ не правила, а себя и своихъ близкихъ» (мысль эта о человѣкѣ-самоцѣли, замѣчаетъ Л. Шестовъ, могла явиться только у Шекспира, такъ глубоко понимавшаго и цѣнившаго человѣка; I, 98 и 113). Свобода для него — высшее благо, рабство — высшее зло; на этой почвѣ и происходитъ его душевная трагедія. Но, переживая ее, рѣшившись пожертвовать ради свободы своимъ лучшимъ другомъ, Цезаремъ, Брутъ все время остается образцомъ человѣка, «вездѣ и всегда..., словомъ и дѣломъ, учить людей нравственному величию»... Въ этомъ смыслѣ его трагедіи. И уже одно то, что на свѣтѣ есть Бруты, должно убѣдить насъ, «что есть «человѣкъ», есть зачѣмъ жить, есть что дѣлать — и ни зло, ни горе, ни сама смерть не обвинять жизни»... (I, 120). Мы скоро увидимъ, какъ нѣсколько лѣтъ спустя Л. Шестовъ отнесся къ «нравственному величию» Брута, къ «велѣніямъ долга», исполнителемъ которыхъ онъ является...

Далѣе передъ нами Коріоланъ. Въ чёмъ смыслъ трагедіи этого суроваго римскаго воина? Въ томъ же, въ чёмъ и смыслъ всякой трагедіи вообще: въ развитіи человѣческаго достоинства въ человѣкѣ, ибо нужно выстрадать свое развитіе, свое совершенство. Въ этомъ центрѣ всякой трагедіи, «и въ этомъ смыслѣ трагедія Коріолана полна захватывающаго интереса. Съ первого же дѣйствія предъ вами раскрыты всѣ условія жизни Коріолана и самъ герой, грубый, безсердечный, ужасный въ своемъ нелѣпомъ могуществѣ. Вы ждете, чѣмъ онъ кончить: неужели онъ уйдетъ такимъ же? Неужели колоссальная сила этого человѣка такъ и останется дикой стихіей?.... Въ

огромномъ горнилѣ Коріоланової души Шекспиръ слѣдить не за безсмысленнымъ кипѣніемъ расплавленного металла, а за тѣмъ, какъ формируется тамъ великий идеалъ человѣческаго достоинства и чести, наперекоръ стремленіямъ всего и всѣхъ»... А если такъ, то «смысль трагедіи становится ясна, и смерть Коріолана, вся его судьба не гнететъ насъ, какъ она ни ужасна. Наоборотъ, смерть, какъ заключеніе осмысленного, творческаго душевнаго процесса... примиряетъ насъ, какъ откровеніе свыше»... И такое «примиреніе» не является результатомъ искусственнаго авторскаго намѣренія, но непосредственно вытекаетъ изъ существа трагедіи. «Если Шекспиръ осмысливаетъ трагедію, то не за тѣмъ, чтобы примирять зрителей, а потому, что онъ видѣлъ смыслъ въ трагедіи... Шекспиръ, вдумываясь въ трагедію Коріолана, видѣлъ, что она пробудила въ немъ лучшія чувства, что она является для него не наказаніемъ за преступленіе..., а необходимымъ процессомъ развитія... Мы видимъ лишь поверхность явленій и не въ силахъ проникнуть до той глубины, где таятся корни, изъ которыхъ выростаетъ человѣческая судьба. Шекспиръ же видѣлъ ихъ, и безсмысленная, жестокая трагедія Коріолана получаетъ для него человѣчески понятный смыслъ. На мѣсто «случая», который является для современаго ученаго кореллативомъ «причины и слѣдствія», у Шекспира является законъ нашего внутренняго міра»...(I, 173, 186, 196 и 197).

Переходимъ къ трагедіи Макбета, которую Л. Шестовъ именуетъ «трагедіей категорического императива». Въ этой трагедіи вопросъ о смыслѣ жизни соединяется съ вопросомъ о сущности величайшей безсмыслицы — преступленія, трагедія эта показываетъ намъ, «какъ понималъ геніальный поэтъ преступниковъ и преступленіе и что примиряло его съ этимъ ужаснѣйшимъ изъ всѣхъ существующихъ цацоу'овъ» (I, 249). Ибо если есть хоть одно безсмысленное по существу явленіе — напримѣръ, преступленіе, — то міръ еще не оправданъ; а потому самый жестокій преступникъ, какой-нибудь Яго или Макбетъ, «долженъ оставаться для насъ человѣкомъ такимъ же, какъ и мы, по поводу которого мы должны требовать у жизни оправданія, какъ Лиръ (мы это еще увидимъ) требовалъ объясненія за свое несчастіе» (I, 253). Итакъ, въ чемъ же трагедія Макбета? Трагедія эта, по мнѣнію Л. Шестова, заключается въ борьбѣ человѣка съ «категорическимъ императивомъ», т.-е. съ долгомъ въ его кантовскомъ пониманіи. Съ категорическимъ императивомъ и вообще съ формальной этикой Канта ведеть неустанную борьбу Л. Шестовъ во всѣхъ своихъ книгахъ; борьбу эту онъ началъ своимъ анализомъ трагедіи Макбета. «Макбетъ не рѣшается убить Дункана не изъ-за Дункана, а чтобы не нарушать покоя своей души. Макбетъ, убивши Дункана, скрбить не о Дунканѣ, а о себѣ, о потерянномъ душевномъ мирѣ. У Канта именно это обстоятельство служить къ возвеличенію категорического императива. Это голосъ «разума» *an sich*, существующаго единственно затѣмъ, чтобы противостоять своимъ велѣніямъ Макбетовскимъ желаніямъ. «Разумъ» не говоритъ Макбету: Дунканъ такой же человѣкъ, какъ ты. Ты хочешь жить и онъ хочетъ жить — такъ зачѣмъ же ты убѣшь его? «Разумъ» грозитъ: не убивай ближняго, ибо ты будешь убійцей. Едва ли во всей человѣческой психикѣ можно найти что-либо болѣе обидное для достоинства человѣка, чѣмъ эта кантовская «совѣсть». Не убивай не изъ-за жертвы, а изъ-за предстоящихъ тебѣ непріятностей съ категорическими императивами! Здѣсь все: и глубокій человѣческій эгоизмъ, и слабость, и трусость»... (I, 268). Въ борьбѣ съ этими категорическими императивами — весь смыслъ трагедіи Макбета. Мы не можемъ останавливаться на этомъ интересномъ толкованіи трагедіи Шекспира Л. Шестовымъ и отсылаемъ читателя непосредственно къ самой книгѣ этого автора: приводимыя нами обширныя выписки изъ нея даютъ о ней лишь самое общее понятіе.

Однако и по тому немногому, что мы привели выше, вырисовывается съ достаточной определенностью отношеніе Л. Шестова къ проблемѣ смысла жизни. Оно создается для насъ еще болѣе яснымъ, когда мы остановимся на пониманіи Л. Шестовымъ трагедіи короля Лира: здѣсь вопросъ о смыслѣ жизни, о случайности или не-

случайности зла, о причинѣ и цѣли міаоу'а ставится наиболѣе остро, наиболѣе рѣзко. Понять, осмыслить, оправдать трагедію короля Лира — значитъ понять, осмыслить и оправдать всю человѣческую жизнь.

Королю Лиру восемьдесятъ лѣтъ; онъ на порогѣ смерти. И вдругъ — ошеломляющій ударъ, нечеловѣческія мученія. Неужели и они не случайны? Неужели и они имѣютъ смыслъ? Выгнанного изъ дома «злодѣйками-дочерьми» въ бурю и грозу короля Лира пріотицъ Глостеръ: за это у Глостера вырываются глаза. Неужели и это можно понять, оправдать, осмыслить? Любящая Корделія спасаетъ отца — и задушена своими сестрами; «ничего не можетъ быть ужаснѣе, чѣмъ эта случайная, неожиданная — ненужная, невидимому — смерть лучшей изъ женщинъ на глазахъ у старика отца, и безъ того вынесшаго столь нечеловѣческія пытки» (I, 202-203). И это тоже имѣеть смыслъ? Это тоже понятно? Это тоже можетъ быть оправдано?

Л. Шестовъ ставить всѣ эти вопросы и безъ колебанія отвѣчаетъ на нихъ: да. Жизнь можетъ быть оправдана, жизнь должна быть осмыслена, но понять и оправдать ее можетъ только великий поэтъ, которому дано видѣть глубокую сущность явлений, а не ихъ случайную поверхность. Такимъ великимъ поэтомъ былъ Шекспиръ и онъ открываетъ намъ смыслъ трагедіи короля Лира.

Въ чёмъ смыслъ этой трагедіи? Опять-таки въ томъ же, въ чёмъ смыслъ трагедіи вообще, въ чёмъ былъ смыслъ трагедіи Гамлета или Коріолана: нужно выстрадать свое развитіе, свое человѣческое достоинство. Гамлетъ былъ только «мыслителемъ» — трагедія сдѣлала его человѣкомъ; Коріоланъ былъ только воиномъ, только «тараномъ», но носилъ въ своей душѣ великія возможности; трагедія проявила ихъ и обратила его въ человѣка. Такъ и Лиръ: онъ былъ королемъ, въ немъ «every inch a King», каждый дюймъ — король; трагедія должна сдѣлать его человѣкомъ. Уже первое оскорблениe, нанесенное раздавшему свое царство королю, является началомъ страшной трагедіи: «король узнаетъ, что онъ человѣкъ и ничего больше, т.-е. бѣдное, голое, двуногое животное» (I, 216). Эту истину ему суждено выстрадать, ему суждено пройти тяжелый крестный путь. «За всю свою долгую жизнь онъ успѣль лишь научиться чувствовать себя королемъ... Но ему осталось еще понять, что и всѣ другие люди — короли». И когда онъ это пойметъ, онъ станетъ «такъ безмѣрно прекрасенъ въ своемъ трогательномъ величиі и могучей кротости...», что всѣ вынесенные имъ муки не только перестаютъ казаться намъ нелѣпыми, ненужными, но получаются въ нашихъ глазахъ глубокій смыслъ» (I, 227). Въ этомъ смыслѣ трагедіи короля Лира, въ этомъ смыслѣ всякой трагедіи. Трагедія, говорить Л. Шестовъ, вызываетъ необычайное напряженіе силъ; всѣ вопросы жизни возникаютъ передъ человѣкомъ, какъ они возникли передъ Лиромъ, съ той настойчивостью, которая исключаетъ всякую возможность отклоненія отвѣта. Лиръ выстрадалъ эти отвѣты и сталъ передъ смертью человѣкомъ: въ этомъ смыслѣ его трагедіи, въ этомъ отвѣть на вопросъ, эачъмъ ему трагедія? «Если трагедія наканунѣ смерти имѣеть смыслъ, — приведемъ мы въ заключеніе послѣднюю большую цитату изъ книги Л. Шестова: — если она не оказывается насмѣшиливою игрою адскихъ или — что еще хуже — равнодушныхъ силь; если то, что пережилъ Лиръ, нужно было ему — то этимъ снимаются всѣ обвиненія съ жизни. Вместо того, чтобы проклинать судьбу, мы, понявъ содержаніе ея «необъятныхъ книгъ», т.-е. Шекспира, благословимъ цѣлесообразность господствующаго надъ человѣкомъ закона»... «...тамъ, гдѣ для насы хаосъ, случай, безмысленная борьба мертвой, равнодушной, но безконечно могучей силы съ живымъ, чувствующимъ, но немощнымъ человѣкомъ, т.-е. тамъ, гдѣ для насы область нелѣпаго трагизма, тамъ поэтъ видѣть осмысленный процессъ духовнаго развитія. Подъ видимыми всѣмъ людямъ муками онъ открываетъ невидимую никому задачу жизни»... И въ этомъ смыслѣ того, что мы называемъ *трагической красотой*. «Если бы удары, обрушившіеся на бѣдную голову старца, были дѣломъ «слѣпой судьбы», «случая», ведущихъ людей къ страданію, безумію и смерти, то о трагической красотѣ

не могло бы быть и рѣчи. Мы могли бы говорить лишь о трагическомъ безобразії»... Трагическое безобразіе имѣло бы мѣсто при наличии нелѣпаго трагизма, трагическая красота обусловлена разумной необходимостью; трагическую красоту можетъ создать жизнь, а возсоздать — великий художникъ, которому ясень законъ разумной необходимости. «Найти тамъ законъ, гдѣ всѣ видятъ нелѣпость, отыскать тамъ смыслъ, гдѣ по общему мнѣнію не можетъ не быть безмыслицы, и не прибѣгнуть ко лжи, къ метафорамъ, къ натяжкамъ, а держаться все время правдиваго воспроизведенія дѣйствительности — это высшій подвигъ человѣческаго генія»... (I,234-235, 241).

Такой подвигъ совершилъ Шекспиръ; доказать это — цѣль книги Л. Шестова. «Цѣлые годы призракъ случайности человѣческаго существованія преслѣдовалъ его и цѣлые годы великій поэтъ безстрашно всматривался въ ужасы жизни и постепенно уяснялъ себѣ ихъ смыслъ и значеніе»... «Чѣмъ ужаснѣе представлялась ему дѣйствительность, тѣмъ настоятельнѣе чувствовалъ онъ потребность понять все то, что происходило вокругъ него... Поэтъ чувствовалъ, что нельзя жить, не примирившись съ жизнью. Пока есть Лиры, Гамлеты, Отелло; пока есть люди, случайно, въ силу рожденія или внѣшнихъ обстоятельствъ, ставшіе добычей несчастія или, что еще ужаснѣе, виновниками несчастія другихъ, преступниками; пока надъ человѣкомъ господствуешь слѣпая сила, опредѣляющая его судьбу — жизнь наша только «сказка, разсказанная глупцомъ»»... И Шекспиръ, по мнѣнію Л. Шестова, показалъ намъ, что слѣпой судьбы не существуетъ, что Нѣкто въ сѣромъ — миѳъ, что Случай — миражъ, фатаморгана. Случая нѣть — вотъ что говорить намъ Шекспиръ. «Если онъ показываетъ намъ законъ тамъ, гдѣ мы считаемъ неизбѣжнымъ случай, то лишь потому, что тамъ есть этотъ законъ, который мы не въ силахъ различить. Если судьба Лира, казавшаяся всѣмъ судьбой человѣка, которому раздробилъ голову случайно оборвавшейся съ дома кирпичъ, оказывается осмысленнымъ ростомъ его души, то не фантазія Шекспира украсила кирпичъ, а зоркость поэта прослѣдила всѣ результаты дѣйствія удара. Въ «Король Лиръ» Шекспиръ возвѣщаетъ великій законъ осмысленности явлений нравственного міра: *случая нѣть, если трагедія Лира не оказалась случаемъ*»... «А если такъ, то міаѳон есть лишь необъясненный случай (курс. нашъ). Участь Глостера и Корделіи, погибшихъ за короля, уже не наполняетъ нашу душу фантастическимъ ужасомъ, какъ и неожиданное явленіе природы не смущаетъ человѣка, достаточно вышколенного, чтобы понимать невозможность нарушенія закона причинности» (I, 280-281, 242-243).

Этимъ аккордомъ заканчивается книга Л. Шестова: случая нѣть, нелѣпаго трагизма нѣть, есть лишь осмысленная необходимость; а все нелѣпое, несправедливое, возмущающее душу — это только необъясненный случай...

V.

Выше мы почти всюду предоставляли слово самому Л. Шестову, не желая становиться между нимъ и читателями въ его апологіи трагедіи. Читатель выслушалъ такимъ образомъ убѣжденную и горячую рѣчь рыцаря Цѣлесообразности и непримиримаго врага Случая; насколько эта убѣжденная рѣчь убѣдительна — вотъ вопросъ, котораго мы еще не коснулись. А коснуться его необходимо, такъ какъ мы имѣемъ здѣсь передъ собой совершенно особое рѣшеніе проблемы о смыслѣ жизни, рѣшеніе, не совпадающее ни съ мистической, ни съ позитивной теоріей прогресса и въ корнѣ расходящееся съ построениями художественного творчества и Є. Сологуба и Л. Андреева.

Дѣйствительно, трудно найти большую противоположность міровоззрѣній, чѣмъ у Л. Андреева и Л. Шестова, автора книги о Шекспирѣ. «Нѣкто въ сѣромъ» у Л. Андреева — вѣдь для нравственного міра это тотъ самый Случай, та самая «слѣпая судьба», которую категорически отвергалъ Л. Шестовъ; по Л. Андрееву міромъ пра-

вить равнодушная сила, механические законы которой настолько же фатально необходимы въ мірѣ физическомъ, насколько случайны въ мірѣ нравственномъ; это та самая точка зрењія, которую Л. Шестовъ называлъ наивно-близорукой и которую онъ искренно презиралъ, считая ее удѣломъ «типического современного человѣка съ вѣрой во власть случая» (I, 43). Центральный вопросъ Л. Андреева: «зачѣмъ жить, если существуетъ смерть?» — представлялся Л. Шестову удѣломъ книжного человѣка, «мыслителя» въ родѣ Гамлета. Философія Гамлета на кладбищѣ — это дѣйствительно кладбищенская философія; черепа леденять ему кровь: «что жизнь, если рано или поздно всѣ мы будемъ такими?.. Мысль о смерти, иначе какъ въ видѣ голаго черепа ему не представляющейся..., торжествуетъ надъ нимъ. Онъ не чувствуетъ, что не изъ нея надо исходить»... Такъ говорить Л. Шестовъ о Гамлете и могъ бы повторить о Л. Андреевѣ. Ну, а Нѣкто въ сѣромъ? Нѣкто въ сѣромъ — это фантомъ, который долженъ быть покоренъ нами; мы должны взглянуть въ глаза Елеазара-Случая и оказаться сильнѣе его: «нельзя примириться съ Медузой, не покоривъ ее» (I, 84, 76). И Л. Шестовъ покоряеть ее, преодолѣваеть фантомъ Случая и ставить на его мѣсто принципъ осмысленной необходимости. Въ этомъ отношеніи, какъ видимъ, Л. Андреевъ и Л. Шестовъ — двѣ прямые противоположности. Кто изъ нихъ правъ? Оба правы.

Л. Шестовъ правъ, ибо онъ понимаетъ то, что иногда непонятно Л. Андрееву: онъ понимаетъ и принимаетъ *субъективную осмысленность* жизни; въ этомъ какъ-разъ и заключается вся суть его книги, доказывающей, что *личная трагедія осмыслена*. Эта мысль вскрыта въ книгѣ Л. Шестова настолько блестяще, что намъ къ ней нечего прибавлять. Человѣкъ долженъ выстрадать свое развитіе, долженъ очиститься и закалиться въ горнилѣ горя и муки, — и такое горе, такія муки всегда оправданы, всегда понятны: въ этомъ смыслѣ трагедіи, въ этомъ субъективный смыслъ жизни. Съ высоты такого принципа находить себѣ оправданіе и та Смерть, отъ которой съ такимъ ужасомъ бѣжитъ Л. Андреевъ. Именно потому и дѣнна жизнь, что существуетъ смерть, сказали мы, говоря о Л. Андреевѣ; эта мысль получаетъ теперь новое освѣщеніе: иногда жизнь дѣлается цѣнной, субъективно осмысленной только передъ взоромъ Смерти. Ибо пока на землѣ есть смерть, есть и трагедія; а личная трагедія для многихъ есть единственный путь къ субъективной осмысленности существованія. Шопенгауэръ гдѣ-то сказалъ, что если бы удалить изъ жизни гнетущую человѣка трагедію, то человѣкъ погибъ бы — какъ погибъ бы и въ томъ случаѣ, если бы устранить давленіе атмосферы на наше тѣло. Это сравненіе можно продолжить; можно сказать, что при чрезмѣрномъ увеличеніи атмосферного давленія человѣкъ тоже погибнетъ, будетъ раздавленъ, какъ онъ иногда бываетъ раздавленъ чрезмѣрной тяжестью нравственныхъ муки, непосильно тяжелой трагедіей. Но такие случаи не опровергаютъ общаго принципа: мы не можемъ жить въ атмосферномъ давленіи. Достоевскій выражалъ эту же мысль своимъ извѣстнымъ парадоксомъ: человѣкъ до страсти любить страданіе, эту единственную причину сознанія. «Любить» — объ этомъ можно спорить; но Достоевскій правъ въ томъ, что единственной причиной сознанія, дѣйствительно, часто бываетъ страданіе, трагедія: Л. Шестовъ показываетъ намъ это на типахъ Лири, Гамлета, Корiolана. Пока существуютъ страданія — существуетъ трагедія; но если даже въ какомъ-нибудь Zukunftstaatѣ страданія навѣки упразднятся, то все же не упразднится смерть; пока же на землѣ есть смерть — есть и личная трагедія; пока есть личная трагедія, очищающая и возвышающая человѣка — существуетъ субъективный смыслъ горя, муки, страданій, субъективный смыслъ человѣческой жизни. Поскольку муки эти субъективно осмыслены, поскольку осмыслена жизнь — постольку «разумная необходимость» становится на мѣсто «нелѣпаго трагизма», постольку побѣждается нами Нѣкто въ сѣромъ. Такъ Человѣкъ побѣждаетъ въ поединкѣ Нѣкоего въ сѣромъ, и мы видѣли выше, что побѣда эта остается непонятой Л. Андреевымъ. Ее понимаетъ, ее раскрываетъ намъ Л. Шестовъ: онъ показываетъ смыслъ трагедіи и тѣмъ самымъ вскрываетъ неясную для Л. Андреева субъективную осмысленность «жизни человѣка».

Но правъ и Л. Андреевъ, ставя надъ человѣкомъ своего Нѣкоего въ сѣромъ, эту слѣпую судьбу, этотъ ненавистный Л. Шестову Случай. Л. Андреевъ правъ потому, что всѣмъ своимъ творчествомъ онъ безсознательно вскрываетъ передъ нами основную ошибку тѣхъ разсужденій Л. Шестова, съ которыми мы познакомили читателя. Ошибку эту можно сформулировать проще всего такъ: Л. Шестовъ не видѣлъ и не хотѣлъ понять того, что элементы осмысленной трагедіи одного человѣка неизбѣжно являются въ то же самое время элементами безсмысленной драмы другого.

Пояснимъ двумя-тремя примѣрами. Вотъ передъ нами «жизнь Василія ѡивейскаго». Л. Андреевъ утверждаетъ, что надъ всей жизнью ѡивейскаго тяготѣлъ рокъ, что Нѣкто въ сѣромъ стоялъ со свѣчей въ рукѣ въ углу поповскаго дома; Л. Шестовъ, наоборотъ, покажетъ намъ внутреннюю осмысленность трагедіи бѣднаго попа: Василія ѡивейскаго, скажетъ онъ намъ, долженъ выстрадать свое человѣческое достоинство, и изъ темнаго, забитаго попа, какимъ онъ былъ въ началѣ разсказа, обратиться въ сильнаго и гордаго человѣка. Въ этомъ смыслѣ всякой трагедіи — мы это видѣли выше, — а значитъ, въ этомъ и смыслѣ трагедіи Василія ѡивейскаго. Кто правъ? Конечно, Л. Шестовъ: мы видѣли это, разбирая андреевскій разсказъ. А если такъ, то все горе, задавившее своею тяжестью Василія ѡивейскаго, тѣмъ самымъ и оправдывается; если такъ, то вмѣсто нелѣпаго трагизма передъ нами осмысленная необходимость, и все то, въ чёмъ Л. Андреевъ не видитъ смысла, имѣеть, слѣдовательно, вполнѣ определенный субъективный смыслъ. Пусть такъ. Но вотъ маленько замѣчаніе: мы помнимъ, что у Василія ѡивейскаго утонулъ, купаясь, шестилѣтній сынъ. Это горе легло свинцовой тяжестью на душу Василія ѡивейскаго. Мы только-что доказали, вслѣдъ за Л. Шестовымъ, что горе это было не безсмысленно, а имѣло вполнѣ определенный смыслъ въ душевной трагедіи Василія ѡивейскаго, было ступенькой въ его духовномъ развитіи... Еще разъ: пусть такъ. Пусть это горе, эта душевная мука отца имѣеть смыслъ и оправданіе; но гдѣ смыслъ и оправданіе не этой муки отца, а самой гибели ребенка! Вѣдь то, что для Василія ѡивейскаго является лишь элементомъ его личной осмысленной трагедии, то для его шестилѣтняго сына явилось элементомъ безсмысленной драмы: пошелъ купаться — и утонулъ, и нѣть больше черненькаго, тихонькаго мальчика Василія...

Возьмемъ другой примѣръ: вотъ передъ нами «жизнь Человѣка». Въ ней Л. Андреевъ не видитъ внутренняго смысла; Л. Шестовъ, наоборотъ, учить насть видѣть вполнѣ ясный субъективный смыслъ въ жизненной трагедіи Человѣка. Человѣкъ сумѣлъ вынести и голодную бѣдность, и пресыщенное богатство, и снова бѣдность и одинокую старость — и встрѣтилъ побѣдителемъ смерть; гнетущее горе, смерть сына, смерть жены не сломили Человѣка, онъ выстрадалъ свое человѣческое достоинство и жизнь его есть осмысленная трагедія. Но вотъ опять: смерть сына. Опять передъ нами безсмысленная драма. Пошелъ гулять сынъ Человѣка — молодой, красивый, начинаяющей жить — и кто-то бросилъ въ него камнемъ и разбилъ ему голову. Онъ умеръ. Смерть сына является для Человѣка только однимъ изъ элементовъ его осмысленной трагедіи; ну, а для самого этого убитаго камнемъ сына? Не повторяется ли здѣсь то самое, о чёмъ у насть уже была рѣчь при разборѣ творчества ѡ. Сологуба: одного распинаютъ, а другой въ это время єсть ананасный компотъ? (см. выше, стр. 26). Только тамъ у насть шла рѣчь объ эстетическихъ, а здѣсь объ этическихъ переживаніяхъ. Одно дѣло — повторимъ мы еще разъ — єсть ананасный компотъ, глядя на крестныя муки, а другое дѣло — быть распятымъ самому; оправдывать и объяснять безсмысленные страданія, безсмысленную драму одного человѣка осмысленной трагедіей другого только потому, что онъ одновременны — все равно, что строить знакомое уже намъ умозаключеніе: stat baculus in angulo, ergo pluit. А если такъ, то чѣмъ оправдаемъ мы гибель сына Человѣка? Случайно камень попадаетъ ему въ голову — и «молодое, полное жизни, надеждъ на будущее, веселое, прекрасное, радостное существо — слышали мы отъ Л. Шестова — вдругъ обращается въ негоднаго калѣку»; болѣе того — умира-

етъ. И пусть его смерть является элементомъ личной осмысленной трагедіи его отца; но для него самого, еще не знавшаго никакой трагедіи, еще только вступавшаго въ жизнь — этотъ ударъ камня явился элементомъ безсмысленной драмы.

Что отвѣтаетъ на все это Л. Шестовъ? Мы знаемъ его отвѣтъ: онъ взываетъ къ вѣрѣ въ осмысленность человѣческой жизни; вѣрить въ эту осмысленность — «великое дѣло!» (I, 87; см. выше, стр. 86). Плохо дѣло, разъ приходится прибѣгать къ такимъ аргументамъ! Другой аргументъ — заключеніе отъ частнаго къ общему; пріемъ, какъ извѣстно, не особенно рекомендуемый въ логикѣ... «Случая нѣть, — слышали мы, — если трагедія Лира не оказалась случаемъ». Пусть такъ; пусть въ трагедіи отнынѣ нѣть мѣста случаю; но въ драмѣ?!... Трагедія есть субъективный процессъ, развитіе явлений нравственного міра; драма же есть міацоу, она характеризуется отсутствіемъ этого субъективного процесса и чисто вѣнчаниемъ пересъченіемъ двухъ причинныхъ рядовъ: шель человѣкъ, на голову свалился камень. Л. Шестовъ намъ не доказалъ, что драмы нѣть, а есть только трагедія; онъ доказалъ лишь, что многія драмы можно объяснить, какъ трагедіи. Вотъ, напримѣръ, участъ Корделии: для насъ это только драма, только нелѣпое и случайное стеченіе обстоятельствъ; въ центрѣ нашего вниманія стоитъ трагедія Лира. Но если бы великій поэтъ, хотя бы тотъ же Шекспиръ, написалъ не трагедію «Король Лиръ», а трагедію «Корделия», т.-е. перенесъ фокусъ своего вниманія на душевную жизнь Корделии, то вся ея судьба стала бы для насъ осмысленной, а трагедіи Лира, наоборотъ, мы не смогли бы понять, отнесли бы ее къ области «нелѣпаго трагизма», сочли бы ее «драмой». Допускаемъ и это; допускаемъ сложный процессъ развитія нравственного міра Корделии; допускаемъ, что многія драмы можно объяснить, какъ трагедіи. А если такъ, — продолжаетъ Л. Шестовъ, — то драмы вообще нѣть, а міацоу есть лишь необъясненный случай (см. выше, стр. I, 88)... Вотъ обобщающее умозаключеніе отъ частнаго къ общему; въ немъ коренится вся ошибка Л. Шестова, заключающаго отъ «многія» ко «всѣмъ». Камень убиваетъ человѣка — гдѣ здѣсь «трагедія» для убитаго? На это не отвѣтить никакой Шекспиръ.

Эмпирическая очевидность говорить намъ, что существуютъ не только трагедіи, но и драмы; противъ этой очевидности выставляюсь требованіе вѣры: это — покушеніе съ негодными средствами. И самъ Л. Шестовъ не могъ не почувствовать, что «неладно что-то въ датскомъ королевствѣ», что въ изложенномъ имъ міровоззрѣніи есть какой-то locus minoris resistentiae, гдѣ снова Случай одерживаетъ побѣду надъ Целесообразностью. Эта ошибка Л. Шестова намъ теперь ясна; мы видимъ, что въ борьбѣ съ фантомомъ Случая побѣдителемъ оказался не Л. Шестовъ. И вопреки его доказательствамъ мы можемъ теперь сказать: да, случай есть и всегда будетъ существовать для человѣка; случай дѣлаетъ, между прочимъ, невозможной объективную осмысленность жизни человѣка. Но мы не будемъ стоять въ ужасѣ передъ этимъ фантомомъ, потому что мы уже признали отсутствіе объективного смысла жизни; а наличность случая нисколько не мѣшаетъ ея субъективной осмысленности. Мы не будемъ, подобно Л. Шестову, «благословлять цѣлесообразность господствующаго надъ нимъ закона», но и не будемъ, подобно ему, трепетать передъ мыслью о случайности человѣческой жизни — къ этому приводить насъ анализъ трагедіи и драмы, и въ этомъ состоить міровоззрѣніе имманентнаго субъективизма.

Ну, а куда же мы дѣнемъ трупикъ утонувшаго шестилѣтняго ребенка, чернень-каго и тихонькаго мальчика Василия? Какъ оправдаемъ мы нелѣпую смерть человѣка, которому камень случайно раздробилъ голову? Л. Шестовъ самъ увидѣлъ, что на это еще нужно отвѣтить — и даль отвѣтъ въ послѣдующихъ своихъ книгахъ, отказавшись отъ своей первоначальной точки зрѣнія.

VI.

Книга «Шекспиръ и его критикъ Брандесъ» характеризует собою своего рода эпоху «разумной дѣйствительности» для Л. Шестова. Нѣть драмы, есть только трагедія; нѣть случая, есть лишь цѣлесообразность; нѣть нелѣпаго трагизма, есть одна разумная необходимость. Такъ въ свое время Бѣлинскій тоже былъ непоколебимо убѣжденъ въ разумности всего существующаго... И недаромъ Л. Шестовъ, потерявъ вѣру въ разумную дѣйствительность, начинаетъ свою вторую книгу обширной цитатой изъ знаменитаго письма Бѣлинского, разрывающаго съ философіей «Егора Федорыча Гегелева». Вѣдь Бѣлинскій тоже пытался теоретически осмыслить все безсмысленное и тоже былъ вскорѣ вынужденъ отказаться отъ такой апологіи безсмысленного и признать, что причинная законосообразность еще не доказываетъ нравственной закономѣрности явлений.

Кстати, небольшое отступленіе, но любопытный вопросъ: какъ возможна, какъ психологически объяснима такая вѣра въ смыслъ безсмыслицы? Самъ Л. Шестовъ даетъ на это, хотя и по другому поводу, вполнѣ опредѣленный отвѣтъ: съ дѣтства нашъ мыслительный аппаратъ коверкаютъ наши воспитатели, заставляя вѣрить самымъ безсмысленнымъ вещамъ. Когда дѣти слышать разсказы о лѣшихъ, о русалкахъ, о вѣдьмахъ, то ихъ предупреждаютъ, что все это «сказки», въ которыхъ «про неправду все написано»; но тутъ же дѣтямъ сообщаютъ безапелляціоннымъ тономъ, что солнце неподвижно, что земля — вращающійся шаръ и т. п. А между тѣмъ «колдунъ, вѣдьма, дьяволъ — это только нѣчто новое, но понятное, не противорѣчащее очевидности. Вертящаяся же земля, неподвижное солнце, фиктивное небо и т. п. — все это вѣдь верхъ безсмыслицы для ребенка. И тѣмъ не менѣе это — истина, онъ знаетъ это навѣрное и съ этой неправдоподобной истиной онъ живеть цѣлые годы. Развѣ такое насилие надъ дѣтскимъ умомъ можетъ не изуродовать его познавательныя способности? Развѣ вѣра въ смыслъ безсмыслицы не становится его второй природой?» (III, 201-202). Это остроумное замѣчаніе Л. Шестовъ могъ бы примѣнить и къ себѣ, какъ автору книги о Шекспирѣ, которая вся проникнута этой вѣрой въ смыслъ безсмыслицы... Но скоро Л. Шестовъ увидѣлъ свою ошибку; онъ понялъ, что осмыслить безсмысленное не въ силахъ никакой Шекспиръ. Впослѣдствіи онъ самъ призналъ, что тщетна была попытка спрятаться за спину Шекспира отъ ужасовъ жизни: у Шекспира вовсе нѣть того полнаго «оправданія жизни», которое приписалъ ему Л. Шестовъ; въ произведеніяхъ Шекспира — писать впослѣдствіи Л. Шестовъ — «такъ много страшныхъ вопросовъ и ни одного удовлетворительного отвѣта» (IV, 180). Когда Шекспиръ писалъ своего «Гамлета», — говорить Л. Шестовъ въ другомъ мѣстѣ — то для него тогда «распалась связь временъ... Это значитъ — прежняя, безсознательная, дающаяся намъ всѣмъ даромъ вѣра въ цѣлесообразность и осмыслиность человѣческой жизни рушилась. Нужно сейчасъ же, немедленно, найти новую вѣру, иначе жизнь обращается въ непрерывную, невыносимую пытку. Но какъ это сдѣлать? Гдѣ найти вѣру? И есть ли такая вѣра на земль? ...Отвѣтъ не только не придетъ сейчасъ, но не придетъ и черезъ многіе годы, а Шекспиръ... будетъ жить съ сознаніемъ, что для него все погибло и что всѣ отвѣты, когда-либо дававшіеся на гамлетовскій вопросъ — были лишь пустыми словами»... (IV, 224-225). Вы понимаете, конечно, что здѣсь, какъ и всюду раньше, Шекспиръ только ширма, за которой скрывается Л. Шестовъ. У Шекспира рушилась вѣра въ осмыслиность и цѣлесообразность человѣческой жизни; Шекспиру нужно немедленно найти новую вѣру; Шекспиръ отнынѣ будетъ жить съ сознаніемъ невозможности отвѣта на вопросъ объ объективномъ смыслѣ жизни: здѣсь всюду пишется «Шекспиръ», а произносится «Левъ Шестовъ». Людямъ нашего роста всегда удобно стать подъ защиту такого великана, какъ Шекспиръ... Когда Л. Шестовъ вѣрилъ въ смыслъ жизни, онъ доказывалъ намъ его произведеніями Шекспира; теперь, когда эта его вѣра рушилась,

онъ снова тѣми же произведеніями Шекспира подкрѣпляетъ свою новую точку зрѣнія. Шекспиръ слишкомъ великъ, чтобы обойти его — слышали мы отъ Л. Шестова, — и каждый ищетъ опоры своему міровоззрѣнію въ интуиціяхъ великаго художника. И если бы мы пожелали подойти къ Шекспиру съ предвзятой тенденціей, то мы безъ труда сдѣлали бы его выразителемъ того міровоззрѣнія имманентнаго субъективизма, которое намѣчается въ настоящей книгѣ...

Итакъ, Л. Шестовъ отказался отъ своей старой точки зрѣнія, отъ вѣры въ неслучайность и ео ipso осмысленность существованія. Мы сейчасъ увидимъ, къ чему онъ теперь пришелъ, но пока, немного забѣгая впередъ, остановимся на вопросѣ — что сохранилъ въ дальнѣйшемъ Л. Шестовъ отъ своего міровоззрѣнія эпохи «разумной дѣйствительности».

И прежде всего надо отмѣтить, что Л. Шестовъ остался и остается до сихъ поръ типичнымъ «субъективистомъ», какимъ онъ былъ въ первой своей книгѣ. Лишь только «объективное» касается своимъ крыломъ міра внутреннихъ переживаній человѣка, то Л. Шестовъ ужъ тутъ какъ тутъ, чтобы протестовать противъ такой узурпациіи правъ субъективнаго міра: мы это видѣли на его полемикѣ съ Тѣномъ и ему подобными Сергеями Николаевичами изъ горныхъ обсерваторій. Съ высоты своихъ обсерваторій смотря на жизнь эти объективные, безстрастные «мыслители» и считаютъ человѣка только средствомъ для міровой цѣли; страданія, радости, муки человѣка для нихъ не существуютъ какъ нѣчто реальное. Все XIX-ое столѣтіе представляется Л. Шестову заполненнымъ борьбой протестующихъ индивидуалистовъ художниковъ — Байрона, Мюссе, Гейне — съ торжествующими свою побѣду мыслителями въ родѣ Тѣна (I, 12-13 и сл.). Мы подчеркиваемъ это противопоставленіе, такъ какъ во второй книгѣ Л. Шестова найдемъ аналогичное противопоставленіе «философіи» и «проповѣди» (таковъ даже подзаголовокъ этой книги), а въ третьей — подобное же противопоставленіе «трагедіи» и «обыденности». Во всѣхъ этихъ случаяхъ, какъ увидимъ, объективное, общеобязательное противопоставляется субъективному; во всѣхъ этихъ случаяхъ мы имѣемъ передъ собой непримиримую борьбу съ разными видами объективизма. Для Л. Шестова объективисты — это люди, «признающіе абсолютное значеніе кирпича», того самого кирпича, который согласно всѣмъ законамъ науки, падая, разбиваетъ голову мимопроходящему человѣку; это люди — относящіе къ «кирпичу» съ восторгомъ. Мы видѣли, что въ своей первой книгѣ Л. Шестовъ попробовалъ отрицать за этимъ «кирничемъ» (т.-е. за случаемъ въ нравственномъ мірѣ человѣка) всякое значеніе; онъ желалъ этимъ одновременно отнять почву и у объективистовъ и у тѣхъ людей, которые относятся къ «кирпичу» съ ненавистью, которые «съ отчаяніемъ и проклятіемъ приняли за единственный законъ для человѣческой жизни — случай» (I, 25).

Здѣсь, замѣтимъ къ слову, есть еще нѣсколько возможныхъ рѣшеній вопроса; мы укажемъ только то, къ которому слѣдуетъ прійти съ точки зрѣнія имманентнаго субъективизма. Оно заключается въ слѣдующемъ: при пересѣченіи двухъ причинныхъ рядовъ, внутренняго и внѣшняго человѣку, мы должны рассматривать получившееся явленіе двояко — субъективно и объективно. Вмѣстѣ съ объективистами необходимо признать хотя и не «абсолютное значеніе кирпича», но во всякомъ случаѣ его закономѣрное значеніе; фактъ «паденія кирпича» — мы все время говоримъ фигулярно — наука въ правѣ изучать съ объективной точки зрѣнія закона причинности. Но при этомъ нѣть никакой необходимости раздѣлять восторги передъ «кирничемъ» нѣкоторыхъ крайнихъ объективистовъ, различныхъ Сергеевъ Николаевичей изъ горныхъ обсерваторій. Это съ одной стороны. Съ другой — это же явленіе мы оцѣниваемъ съ точки зрѣнія субъективной, исходя изъ основного принципа этическаго индивидуализма: человѣкъ — цѣль. И съ этой точки зрѣнія «кирпичъ» не приводить насть въ отчаяніе; не стоимъ мы передъ нимъ также и въ «грустномъ недоумѣніи», потому что не приписываемъ жизни никакой объективной цѣли, которую могъ бы раз-

бить «кирпичъ» своимъ паденіемъ: въ этомъ — характернѣйшая черта имманентнаго субъективизма. Поэтому мы боремся не съ объективной наукой, а лишь съ объективнымъ телеологизмомъ, который пытается увѣрить насъ въ существованіи лежащей вънась цѣли. Въ этой борьбѣ съ объективизмомъ Л. Шестову принадлежитъ видное мѣсто, хотя его точка зрењія не совпадаетъ съ только-что изложенной. Какъ бы то ни было, но субъективизмъ Л. Шестова наглядно проявляется во всѣхъ его книгахъ; мы еще будемъ слѣдить за этими проявленіями, будетъ ли то ненависть ко всякому обобщающему «ratio», или къ категорическому императиву, или вообще ко всякимъ нормамъ. А теперь возвращаемся къ тому моменту творчества Л. Шестова, когда для него «распалась связь временъ» — т.-е., говоря его же словами, окончательно рушилась вѣра въ целесообразность и осмысленность человѣческой жизни, вѣра, которую онъ такъ горячо старался внушить читателю (а прежде всего самому себѣ) въ книге о Шекспирѣ. Такъ часто бываетъ: передъ окончательнымъ невѣріемъ особенно горяча бываетъ послѣдняя вспышка вѣры; стоить вспомнить одного Василія Оивейскаго. Съ этихъ поръ въ творчествѣ Л. Шестова наступаетъ новый, второй и пока послѣдній періодъ; этотъ переломъ творчества произошелъ между первой и второй его книгами. Вторая и послѣдующа книга Л. Шестова тѣсно связаны между собой одной и той же идеей; книга же о Шекспирѣ стоить совершенно особнякомъ, но составляетъ естественное предисловіе «a contrario» ко всему его послѣднему творчеству. Въ ней мы имѣемъ утвержденіе: жизнь осмыслена, и смыслъ этотъ проявляется въ стремлениіи къ человѣческому достоинству, къ свѣту, сознанію, правдѣ, добрѣ... А въ остальныхъ его книгахъ — мы сейчасъ увидимъ, какъ въ нихъ трактуется то самое «добро», трубадуромъ котораго Л. Шестовъ былъ въ своей книжѣ о Шекспирѣ...

Итакъ, мы стоимъ теперь передъ проблемой новаго отвѣта на старый вопросъ: гдѣ и въ чёмъ оправданіе жизни? Только положеніе сильно осложняется теперь тѣмъ сознаніемъ, къ которому пришелъ Л. Шестовъ: случай — есть, объективнаго смысла жизни — нѣть. Не угодно ли при этихъ условіяхъ оправдать человѣческую жизнь — и смерть Корделіи, и случайно разбитую камнемъ голову человѣка, и трупикъ утонувшаго черненькаго и тихонькаго мальчика Василія? Слово за Л. Шестовымъ.

VII.

Передъ нами лежитъ трупъ шестилѣтняго ребенка, а мы ищемъ оправданія жизни въ «добрѣ» — эту общепринятую безсмыслицу вскрываетъ Л. Шестовъ въ своей книжѣ «Добро въ ученіи гр. Толстого и Ф. Нитше» (подзаголовокъ: «Філософія и проповѣдь»). Мы ищемъ оправданія въ «добрѣ» — т.-е. въ исполненіи «долга», въ нравственномъ величиі, въ стремлениіи къ человѣческому достоинству въ борьбѣ за истину, справедливость, въ исполненіи общеобязательныхъ этическихъ нормъ. О цѣнности всего этого говорить пока не будемъ, но не ясно ли, что все это «добрѣ» вмѣстѣ взятое не въ силахъ оправдать ни одной слезинки ребенка, ни одной изъ безчисленныхъ драмъ, ни одного изъ тѣхъ маюч'овъ, которыми переполнена жизнь? Вотъ новая, противоположная прежней точка зрењія Л. Шестова; онъ развиваетъ ее въ книжѣ о Толстомъ и Нитше, вскрываетъ ее на жизни и творчествѣ этихъ двухъ громадныхъ людей и мыслителей, подобно тому какъ раньше пользовался для такой же цѣли Шекспиромъ.

Разорвавъ съ теоріей «разумной действительности», Бѣлинскій требовалъ отъ жизни, отъ философіи отчета «во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суетѣ, инквизиціи, Филиппа II и пр., и пр. ... Я не хочу счастья и даромъ, если не буду спокоенъ на счетъ каждого изъ моихъ братьевъ по крови»... Этими словами Бѣлинскаго начинаетъ Л. Шестовъ свою книгу, въ этихъ словахъ видить онъ выраженіе «сущности философской задачи» (II, стр. V и II, 93) и слѣдить, какъ решалась эта задача Толстымъ и Нитше.

Какъ рѣшалась, какъ рѣшается эта задача, все та же задача о смыслѣ жизни? Л. Шестовъ видить два пути ея рѣшенія: путь проповѣди и путь философіи. «Проповѣдникъ», по терминологіи Л. Шестова, это родной братъ тому «мыслителю», о которомъ была рѣчь по поводу Гамлета въ книгѣ о Шекспирѣ; оба они свой міръ орѣховой скорлупы считаютъ вселенной, а вселенную замыкаютъ въ орѣховую скорлупу теоріи, императива, нормы. Живая жизнь вытѣсняется теоріями, которые твердо рѣшаютъ вопросы о смыслѣ жизни; въ этихъ теоріяхъ «вполнѣ точно и определенно будетъ выяснено, почему Филиппъ II и исторія терзали и терзаютъ людей, и ежели что-нибудь останется проблематическимъ, то развѣ нѣсколько вопросовъ теоріи познанія, о пространстве и времени, причинности и т. д. Но съ этими вопросами, какъ извѣстно, время терпить...» (И, стр. VIII). Все это — «проповѣдь», которая въ области этики сводится къ провозглашенію принциповъ гуманности, общеобязательныхъ моральныхъ нормъ и вообще всего того «добра», которымъ пытаются осмыслить жизнь. Совсѣмъ не то «философія», которая стремится дѣйствительно выяснить, а не только затушевать шумихой словъ гнетущіе человѣка вопросы о смыслѣ бытія. Но такая философія — дѣло безмерно тяжелое; въ ней, какъ мы уже слышали отъ Л. Шестова, все вопросы и ни одного удовлетворительного ответа; такая философія тяжела, жить ею безмѣрно трудно. А силы человѣческія ограничены, даже силы титановъ духа и мысли; вотъ почему даже Толстой, даже Нитцше въ извѣстной части своего философскаго пути вдругъ покидаютъ «философію» и переходятъ къ «проповеди» (II, 92). «Где остановилась философія вслѣдствіе ограниченности человѣческихъ силъ, тамъ начинается проповѣдь» (II, 203).

Все творчество Толстого — разрѣшеніе одной и той же стоящей передъ нимъ философской задачи о смыслѣ жизни, обѣ оправданіи міра. «Война и миръ» — истинно философское произведеніе, говорить Л. Шестовъ; въ этомъ геніальномъ романѣ Толстой требуетъ отчета у судьбы на счетъ каждого изъ своихъ братьевъ по крови, допрашиваетъ природу за каждого человѣка и приходить къ заключенію, что «ответственность за человѣческую жизнь нужно искать выше, вне нась» (II, 93 и 77). Но въ то же время въ этомъ романѣ, какъ и въ «Аннѣ Карениной», слышатся начинающіеся мотивы проповѣди; Левинъ твердо увѣренъ, что жизнь его «не только не безсмыслена, но имѣетъ несомненный смыслъ добра» (II, 12). Въ чемъ же этотъ смыслъ добра? И что такое это «добрь» — любовь къ ближнимъ, гуманность, состраданіе или что-нибудь иное? И какимъ образомъ это «добрь» можетъ оправдать хотя бы одно безсмысленное человѣческое горе? Эти вопросы «философіи» особенно остро стали передъ Толстымъ вскорѣ послѣ «Анны Карениной» и выражены имъ въ знаменитой статьѣ: «Мысли, вызванныя переписью въ Москвѣ». Онъ увидѣлъ во время переписи лицомъ къ лицу голодныхъ, холодныхъ и униженныхъ жителей Ляпинского ночлежнаго дома — и передъ нимъ съ новой силой встали старые вопросы о смыслѣ жизни, о смыслѣ мірового зла, въ немъ вспыхнуло «ожесточеніе противъ таинственной и упорной неразрѣшимости мучительныхъ жизненныхъ вопросовъ» (II, 94). «Такъ нельзя жить, нельзя такъ жить, нельзя» — вотъ къ чему онъ пришелъ. Что же оставалось дѣлать? Жить безнадежностью, жить отчаяніемъ? Безмѣрно трудна «философія» даже для титана. И Толстой пришелъ, какъ мы всѣ знаемъ, къ «проповѣди», къ проповѣди того самаго добра, которое бессильно оправдать жизнь. Онъ сталъ проповѣдникомъ самоусовершенствования, нравственности, долга, физического труда, цѣломудрія и многихъ другихъ столь же почтенныхъ вещей. Но основное свойство «проповѣди» то, что она неспособна рѣшить мучительные исходные вопросы ни теоретически, ни практически. Практически — «развѣ ляпинские жители (послѣ проповѣди Толстого) стали иными, развѣ ихъ судьба стала менѣе ужасной? Нѣть, само собою разумѣется; ляпинцы забыты: лучше сталъ самъ гр. Толстой»: онъ сталъ «сильнѣе, бодрѣе, веселѣе и добрѣе», по мѣрѣ того какъ началъ исполнять предписанія своей проповѣди (II, 36);

но вѣдь это же не есть практическое разрѣшеніе вопроса о ляпинцахъ? А теоретически — развѣ вся эта проповѣдь Толстого, какъ и всякая проповѣдь, способна объяснить, оправдать, осмыслить хоть одну слезу въ мірѣ? Такова въ общихъ чертахъ та точка зрењія, съ которой Л. Шестовъ разбираетъ творчество Толстого въ первой половинѣ своей книги.

Вторая половина ея посвящена подобному же разсмотрѣнію жизни и творчества Нитцше. Здѣсь еще болѣе подчеркивается, что «добро» не только не можетъ оправдать жизни вообще, но — что еще хуже — даже губить отдельную жизнь, всецѣло покорившіяся «доброму». Нитцше, говорить Л. Шестовъ, служилъ «доброму», вель добродѣтельную жизнь нѣмецкаго профессора, занимался научной «проповѣдью», изучалъ Шопенгауера — «и во имя всего этого, что почиталось имъ тогда самымъ важнымъ и нужнымъ, отказывался отъ действительной жизни... Онъ учился и училь всему, что считалъ важнымъ, нужнымъ, серьезнымъ и за этимъ дѣломъ совсѣмъ позабыль о жизни». Но вотъ пришла безжалостная болѣзнь, обрекшая его на полное уединеніе — и только тогда онъ вступилъ въ область «философіи», только тогда онъ взглянуль въ глаза жизни, сталъ мучительно размышлять объ ея смыслѣ, ея оправданіи. Онъ поняль тогда, что «добро», которому онъ служилъ, безсильно само по себѣ оправдать и осмыслить жизнь, что напрасно онъ видѣлъ въ этомъ «добрѣ» — Бога, оправданіе міра. «Онъ во всей полнотѣ провѣриль на себѣ выдвигаемую гр. Толстымъ теперь (т.-е. въ періодѣ «проповѣди») формулу: «добро есть Богъ», т.-е. ничего, кромѣ добра, не нужно искать въ жизни», — провѣриль и убѣдился, что «добро» не есть «Богъ», что оно не спасаетъ человѣка, а лишь позволяетъ ему тѣшиться самообманомъ. Самообманъ этотъ — все то же отсыланіе отъ Понтія къ Пилату, которое намъ такъ хорошо знакомо: не находя смысла въ *своей* жизни, мы прячемся за нормой «любви къ ближнему» и считаемъ себя въ безопасности, какъ страусъ, закопавшій голову въ песокъ. А между тѣмъ, какъ можетъ эта «любовь къ ближнему» осмыслить нашу жизнь, если жизнь сама по себѣ не имѣеть ни смысла, ни оправданія? За спиною нормы, правила, императива мы хотимъ спрятаться отъ сознанія трагедіи нашей жизни; Нитцше поняль это и выразилъ съ удивительной глубиной. «Нитцше хотѣль... «любовью къ ближнимъ» заполнить свое существованіе, закрыться отъ грозныхъ призраковъ, посѣщавшихъ его. И вотъ что изъ этого вышло. Добро сказало ему: «вы убѣгаете къ ближнему отъ самихъ себя и хотите изъ этого еще свою добродѣтель сдѣлать, но я насквозь вижу ваше самоотреченіе». Подчеркнутыя слова принадлежатъ Нитцше (*«Also sprach Zarathustra»; Von der Nächstenliebe*). Нитцше поняль всю безсмыленность бѣгства отъ личной трагедіи къ ближнему; онъ поняль тогда, говорить Л. Шестовъ, поняль своимъ тяжелымъ опытомъ, что все это «добро» — какъ бы оно ни называлось: любовь къ ближнему, состраданіе и т. п. — «ничего принести не можетъ и что задача философа въ иномъ: не пропагандировать любовь къ ближнему и состраданіе, а справиться съ этими чувствами, отвѣтить на вопросы, которые они задаютъ»... Это значитъ — отвѣтить на вопросы о трупикѣ утонувшаго ребенка, о смерти неповинной Корделіи, о всякому возмущающемъ насъ мѣрою, объ участіи каждого изъ нашихъ братьевъ по крови. И вотъ нитцшевскій Заратустра «ищетъ прежде всего понять міръ, найти осмыленность земныхъ ужасовъ — великаго несчастья, великаго безобразія, великой неудачи»... Онъ приходитъ этимъ путемъ къ мучительно-тяжелой «философіи»; въ чёмъ она состояла — мы это сейчасъ увидимъ. Но философія эта, слышали мы, ставить такъ много страшныхъ вопросовъ и даетъ такъ мало удовлетворительныхъ отвѣтовъ! И самъ Нитцше, подобно Толстому, не выдержалъ тяжести философствованія; задыхающимся подъ этой тяжестью «нужно оправдать какъ-нибудь себя, нужно забыть прошлое, нужно спастись, избавиться отъ страшныхъ вопросовъ, на которые нѣть настоящихъ отвѣтовъ. И Нитцше обращается къ старому, испытанному средству, которое уже столько разъ исцѣляло больныя и измученныея человѣческія сердца — къ проповѣди». Такой «проповѣдью»

Л. Шестовъ считаетъ нитцшевскій идеалъ *Übermensch'a*, сверхчеловѣка, «который у него играет роль толстовского «добра», ибо онъ имъ такъ же импонируетъ и его именемъ такъ же давить и уничтожаетъ людей, какъ и гр. Толстой своимъ «добромъ»; такой «проповѣдью» Л. Шестовъ считаетъ весь нитцшевскій аристократизмъ, весь этотъ «паѳосъ разстоянія» и тому подобныя построенія. «Такъ прятались отъ дѣйствительности гр. Толстой и Нитzsche. Но можетъ ли ихъ проповѣдь закрыть на-всегда отъ людей вопросы жизни? Можетъ ли «добро» или *Übermensch* примирить человѣка съ несчастіемъ, съ безсмыслицей нашего существованія?» Конечно, нѣтъ. И отвѣты на эти вопросы Л. Шестовъ ищетъ не въ «проповѣди» Толстого и Нитzsche, а въ ихъ «философіи» (II, 21-23, 153, 169, 180-182, 200-207).

VIII.

Въ чёмъ же эта «философія»? И какъ отвѣчаетъ она — поскольку можетъ отве-тить — на всѣ эти вопросы? Какъ примиряетъ она человѣка съ безсмыслицей существо-вованія, съ «нелѣпымъ трагизмомъ», съ драмой?

Философія Толстого и Нитzsche даетъ на эти вопросы, по мнѣнію Л. Шестова, одинъ общій отвѣтъ; отвѣтъ этотъ гласить: *amor fati*. «Моя формула человѣческаго величія заключается въ словахъ *amor fati*, — говоритъ Нитzsche: — не желать измѣнить ни одного факта въ прошедшемъ, въ будущемъ, вѣчно; не только выносить необходимость (еще менѣе скрывать ее: всякий идеализмъ есть ложь предъ лицомъ необходимости), но любить ее»... И въ другомъ мѣстѣ: «*amor fati*: пусть это будетъ отнынѣ моей любовью. Я не хочу воевать съ безобразіемъ. Я не хочу обвинять, не хочу даже обвинять обвинителей. Не видѣть — въ этомъ пусть будетъ все мое отрицаніе»... И эти мысли, замѣчаетъ отъ себя Л. Шестовъ, даютъ полное выраженіе тѣмъ настро-еніямъ Толстого,, въ силу которыхъ онъ отвернулся отъ ляпинцевъ, ибо не могъ «воевать съ безобразіемъ», котораго нѣть возможности уничтожить; Толстой предпочелъ «не видѣть», предпочелъ молчаливо признать, что — говоря словами Нитzsche — «не должно желать быть врачомъ у безнадежно больного». И поскольку Толстой фило-софъ, а не проповѣдникъ — онъ признаетъ, что именно *amor fati*, а не «добро» должно быть маякомъ нашей жизни.

Развѣ можетъ «добро» отвѣтить намъ на вопросъ о смерти человѣка, хотя бы того самого Ивана Ильича, о которомъ намъ рассказалъ Толстой? «Какъ въ своей душѣ гр. Толстой объясняетъ эту ужасную трагедію ни въ чёмъ неповиннаго человѣка? Его отвѣтъ — проповѣдь: любите ближняго и трудитесь. Но обѣ этомъ его не спрашиваютъ, обѣ этомъ онъ самъ себя не спрашиваетъ. Прочитавъ Ивана Ильича, мы вовсе не интересуемся узнать, какъ намъ спастись отъ его ужасной участіи. Наоборотъ, вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ мы требуемъ отчета о каждой жертве истории, условій и т. д. (о каждой жертвѣ случаевъ — подразумѣвается между прочимъ подъ этимъ «и т. д.» Л. Шестовъ), и не только не желаемъ лѣзть на верхнюю ступень развитія, но, наоборотъ, готовы бро-ситься съ нея внизъ головой, если намъ не отвѣтятъ за Ивана Ильича»... (II, 134).

Но не одну только такую «проповѣдь» мы находимъ въ творчествѣ Толсто-го, а и глубокую «философію», исповѣдующую *amor fati*, любовь къ неизбѣжному. Проповѣдникъ-Толстой твердить намъ: «добро есть вѣчная высшая цѣль нашей жиз-ни. Какъ бы мы ни понимали добро, жизнь наша есть не что иное, какъ стремленіе къ добру, т.-е. къ Богу» («Что такое искусство»); а философъ-Толстой отрицаєтъ — вѣрнѣ: отрица́лъ — такое «служеніе добру, какъ исключительную и сознательную цѣль жиз-ни... Какъ въ «Войнѣ и мирѣ», такъ и въ «Аннѣ Карениной» гр. Толстой не только не вѣритъ въ возможность обмѣна жизни на добро, но считаетъ такой обмѣнъ неестест-веннымъ, фальшивымъ, притворнымъ...» (II, 7). Въ «Войнѣ и мирѣ» во имя «добра»

отказалась оть «жизни» Соня — и для Толстого она только «пустоцвѣть». Отсюда выводъ: «можно и должно стараться «быть хорошимъ»..., но это только поэзія существованія, а не жизнь. Здоровый инстинктъ долженъ подсказать истинный путь человѣку. Кто, соблазнившись ученіемъ о долгѣ и добродѣтели, проглядить жизнь, не отстоить вовремя своихъ правъ — тотъ «пустоцвѣть»... (II, 9). Прежде всего — жизнь, на первомъ планѣ — жизнь. «И всякий, кто жиль, какъ бы онъ ни жиль, даже безнравственно, пошло, грубо, не вызывалъ негодованія гр. Толстого... Все живое живеть по-своему и имѣть право на жизнь. Одни — лучше, другіе — хуже; одни — маленькие, другіе — крупные люди; но клеймить, отлучать оть Бога никого не нужно. Спорить нужно только съ Наполеонами, желающими отнять у насъ человѣческое достоинство, да съ Сонями, такъ неудачно втирающимися своими безрезультатными добродѣтелями въ богатую и полную жизнь» (II, 79). Такъ формулируетъ Л. Шестовъ основной выводъ «Войны и мира». Жизнь пріемлется во всей ея полнотѣ, право на жизнь признается за каждымъ.

Ну, а смерть, гибель, слезы? Въ отвѣтъ — amor fati. Князь Андрей умираетъ — съ неизбѣжностью надо примириться; мало того — ее надо любить. Князь Андрей умеръ — но жива Наташа, живъ Пьеръ: «я не виноватъ, что я живъ и хочу жить, и вы тоже» — это слова Пьера.

Смерть принимается какъ неизбѣжное. А безсмысленныя страданія, драма, міаоров? Отъ нихъ надо отойти, какъ Толстой отошелъ оть ляпинцевъ, ибо не должно желать быть врачемъ безнадежно больного... Тяжела, мучительна, невыносима эта философія (впрочемъ, тысячи нитцшеанцевъ сдѣлали себѣ весьма портативную и легкую «аморальную философію» изъ этой философіи Нитцше); жить этой философіей — значитъ жить безнадежностью и страданіемъ. Любить необходимость! Это значитъ: любить жизнь и все живое, но любить и все безобразное, все нелѣпое, все ужасное; это значитъ: любить «зло» настолько же, насколько и «добро», стать «по ту сторону доброго и злого»...

У О. Сологуба есть одно небольшое стихотвореніе, какъ-разъ на тему о раздѣленіи «добра» и «зла»; поэтъ разсказываетъ намъ, какъ «въ первоначальномъ мерцаныи, раньше свѣтиль и огня», боги возвзвали его «думать-гадать» о міросозданіи:

И совѣщались мы троє,
Радостно жизнь расцвѣла.
Но — на благое и злое
Я раздѣлилъ всѣ дѣла.
Боги во гнѣвѣ суровомъ
Прокляли злое и злыѣ,
И раздѣляющимъ словомъ
Былъ я отторженъ отъ нихъ...

Теперь Л. Шестовъ, вслѣдъ за Нитцше, исправляетъ ошибку опрометчиваго поэта и несправедливыхъ боговъ: становясь по ту сторону благого и злого, мы снова имѣемъ передъ собой нерасколотое, цѣльное мірозданье, мы снова находимъ отторгнувшихъ насъ боговъ, мы снова примиряемъ человѣка съ міромъ, не пытаясь «добромъ» оправдать или осмыслить «зло». Становясь по ту сторону доброго и злого, мы тѣмъ самыми неизбѣжно приходимъ къ amor fati; мы не объясняемъ міръ, мы принимаемъ міръ. Все безсмысленное зло, всякая драма, всякий нелѣпый случай не могутъ быть нами осмыслены; мы не можемъ отвѣтить на вопросъ «зачѣмъ». Единственный выходъ — посмотрѣть жизни прямо въ глаза и принять ее, со всѣмъ ея добромъ и зломъ. «Въ жизни — пишетъ Л. Шестовъ — есть зло; стало быть, его нельзя отрицать, проклинать; отрицаніе и проклятія бессильны. Самое страстное негодующее слово не можетъ и мухи убить. Нужно выбирать между ролью «нравственнаго» обличителя,

имѣющаго противъ себя весь міръ, всю жизнь, и любовью къ судьбѣ, къ необходимости, т.-е. къ жизни, какой она является на самомъ дѣлѣ, какой она была отъ вѣка, какой она будетъ всегда» (II, 189). Это и есть *amor fati*. Отвернуться отъ безобразія, отъ безнадежности, отъ ляпинцевъ, какъ Толстой — этого мало для Нитцше, ему нужно было большее: «онъ хотѣлъ, долженъ былъ любить всю эту отвратительную действительность, ибо она была въ немъ самомъ и спрятаться отъ нея не было куда. *Amor fati* — не выдуманъ имъ, какъ и вся его философія, къ которой онъ былъ приведенъ желѣзной силой этого *fatum'a*. И потому тотъ, кто вздумалъ бы опровергать Нитцше, прежде долженъ былъ бы опровергнуть жизнь, изъ которой онъ почерпалъ свою философію» (II, 188).

Теперь ясно, каково могло быть отношеніе Нитцше — а мы знаемъ, что имея въ немъ Нитцше говорить съ нами Л. Шестовъ — къ тому «доброму», которое якобы осмысливаетъ нелѣпый трагизмъ жизни. Въ первой своей книгѣ Л. Шестовъ, какъ мы видѣли, возводилъ на пьедесталъ представителя идеи «добра», «долга», «нравственного величія» — Брута; теперь же для Л. Шестова Бруты — безконечно несчастные люди, пожертвовавшіе автономному доброму жизнью, своей и чужой. Теперь Л. Шестовъ понимаетъ, что «совѣсть», категорический императивъ, можетъ мучить не только за зло, но и за добро, не только Макбетовъ, но и Брутовъ; совѣсть можетъ мучить и того человѣка, который всегда былъ «добродѣтеленъ» и всегда думалъ, что «въ подчиненіи правилу — высшій смыслъ жизни» (II, 67). На примѣрѣ Нитцше Л. Шестовъ показываетъ, какъ «совѣсть» принимается за это, казалось бы, несвойственное ей дѣло: «вмѣсто того, чтобы корить, проклинать, предавать анаемѣ, отлучать отъ Бога и людей человѣка за то, что онъ былъ «дурнымъ», она преслѣдуjeтъ его за то, что онъ былъ «хорошимъ»! (Чувствуетъ ли читатель, въ чемъ связь всего этого съ темой андреевскаго разсказа «Тьма»? — И.-Р.). ...Оказывается, что совѣсть бичуетъ не только за то, что человѣкъ преступилъ «правила», но и за то, что онъ относился къ нимъ со всѣмъ тѣмъ уваженіемъ, о которомъ говорить Кантъ»... (II, 156, 171).

Конечно, это не общее правило: всегда останутся добродѣтельные Бруты и Порціи, стоящіе внѣ подобной трагедіи духа. Достойная жена Брута, Порція, умираетъ во имя «добра» страшной смертью — глотаетъ раскаленный уголь; ее Л. Шестовъ иронически ставить въ примѣръ всѣмъ апологетамъ добра, какъ самоцѣли: «глотайте угли — а тамъ уже исторія васъ не забудетъ и соорудить вамъ памятникъ, каждому отдельно, или всѣмъ вмѣстѣ, если васъ наберется много. Это ли не утѣшеніе? Это ли не оправданіе жертвъ и требовательности автономной морали?» (IV, 242). Но самъ онъ категорически отказывается глотать угли, отказывается возводить въ законъ «доброму», отказывается жертвовать дѣйствительностью идеализму, отказывается отъ идеализма и оправдываетъ «насѣкомое» (вспомните стихотвореніе въ прозѣ Тургенева подъ этимъ заглавіемъ), оправдываетъ «дѣйствительную жизнь, съ ея ужасами, несчастіемъ, преступленіями, пороками»...; онъ утверждаетъ, что «зло» нужно не меныше, если не больше, чѣмъ «добр», что и то и другое необходимо для человѣческаго существованія и развитія. «Нитцше былъ первымъ изъ философовъ, который осмѣлился прямо и открыто протестовать противъ исключительной требовательности добра, желавшаго, чтобы, вопреки всему безконечному разнообразію дѣйствительной жизни, люди признавали его «началомъ и концомъ всего», какъ говорить графъ Толстой. Правда, Нитцше видѣлъ одно дурное въ «добрѣ» и просмотрѣлъ въ немъ все хорошее, отступивъ тѣмъ самымъ отъ своей формулы — *amor fati*» (II, 190 — 197, 208). Но все же онъ правъ въ главномъ, въ основномъ: «добр» не есть «Богъ», не есть смыслъ жизни всего существующаго. «Нужно искать того, что выше состраданія, выше добра. Нужно искать Бога» — этими словами Л. Шестовъ заканчиваетъ свою вторую книгу.

IX.

Случай — побѣдилъ: такъ можно определить отношеніе второй книги Л. Шестова къ первой, гдѣ велась со «случаемъ» такая ожесточенная борьба, поединокъ Человѣка и Нѣкоего въ сѣромъ. Есть только два пути, на которыхъ эта побѣда слѣпой судьбы, случа, міровой необходимости, Нѣкоего въ сѣромъ — не въ названіи дѣло — является обоядоострой: путь ненависти и путь любви. Человѣкъ побѣждѣнъ только тогда, когда онъ рабски покорень, когда онъ самъ признаетъ себя побѣженнымъ; онъ не побѣждѣнъ до тѣхъ поръ, пока жгучая ненависть или яркая любовь горятъ въ его душѣ. Есть еще и третій путь, путь имманентнаго субъективизма, но о немъ мы не будемъ пока говорить, какъ и о первомъ пути, который мы видѣли на примѣрѣ андреевскаго Человѣка; по второму же пути идетъ Л. Шестовъ, съ нитцшевскимъ девизомъ «amor fati»: не ярмо жестокаго владыки несетъ человѣкъ, а преклоняется предъ нимъ sua sponte, добровольно слагаетъ гимны тому, что проклинаютъ его собратья. Но любовь эта — особаго рода; это любовь жгучая, острыя, болыя, по временамъ тѣсно граничащая съ ненавистью; безнадежность — неизбѣжная спутница такой любви. Это та любовь, при которой хочется «упасть на полъ, кричать и биться головой объ полъ» (V, 14) — и этой темѣ Л. Шестовъ впослѣствіи посвятилъ свою замѣчательную статью о Чеховѣ. Безнадежность эта — неизбѣжная спутница той *философіи трагедіи*, которой Л. Шестовъ посвятилъ свою третью книгу и вообще всѣ свои послѣдующія работы.

Въ этихъ работахъ мы найдемъ новыя формулировки тѣхъ мыслей, съ которыми только-что познакомились по книгѣ о Нитцше и Толстомъ. Теперь Л. Шестовъ привлекаетъ къ нимъ для подтвержденія своей мысли и Достоевскаго. Amor fati — вотъ, по его мнѣнію, вся подпочвенная, подпольная философія Достоевскаго, который «изъ катарги вынесъ убѣжденіе, что задача человѣка не въ томъ, чтобы плакать надъ Макаромъ Дѣвшинскимъ и мечтать о такомъ будущемъ, когда никто никого уже не будетъ обижать, а всѣ устроятся спокойно, радостно и пріятно (т.-е. цѣль не въ «добрѣ», не въ «гуманности», — И.-Р.), а въ томъ, чтобы умѣть принять дѣйствительность со всѣми ея ужасами. Не хотѣлось, о, какъ не хотѣлось ему принимать эту катаржную истину!» (III, 237). Но въ этой катаржной истинѣ — вся основа «философіи», которую теперь Л. Шестовъ называетъ *философіей трагедіи* противопоставляемой *философіи обыденности*, т.-е. «проповѣди». «Въ законахъ природы, въ порядкѣ, въ наукѣ, въ позитивизмѣ и идеализмѣ — залогъ несчастья, въ ужасахъ жизни — залогъ будущаго. Вотъ основа философіи трагедіи: къ этому приводятъ скептицизмъ и пессимизмъ...» (III, 229). Эти ужасы жизни надо «принять, признать и можетъ быть, наконецъ, понять», говорить Л. Шестовъ; понять — ибо разъ они нами признаны и приняты, то этимъ самымъ фактомъ принятія они и оправданы. И Л. Шестовъ снова возвращается къ философіи Толстого, указывая намъ, что «Толстой находить возможнымъ принять безъ ожесточенія жизнь такой, какова она есть»... (Впрочемъ на этотъ разъ оказывается, что amor fati Толстого есть не что иное, какъ своеобразная апология мѣщанства — на эту тему мы найдемъ у Л. Шестова очень тонкія замѣчанія: III, 70-76). И снова Л. Шестовъ возвращается къ Нитцше и слѣдить шагъ за шагомъ, какъ отъ философіи и морали обыденности сама жизнь вела мыслителя путемъ страданія къ философіи и морали трагедіи; онъ слѣдить, какъ этимъ же путемъ задолго до Нитцше пришелъ къ тому же выводу, къ той же «катаржной истинѣ» Достоевскій. Все это читатель долженъ самъ прочесть (или перечесть) у Л. Шестова, чтобы еще разъ убѣдиться въ тонкости замѣчаній, въ оригинальности концепцій этого автора и — что всего важнѣе — въ мучительномъ его исkanіи отвѣта на все тѣ же карамазовскіе вопросы. Мы не послѣдуемъ за нимъ на этотъ разъ, но остановимся только на нѣкоторыхъ основныхъ пунктахъ воззрѣній Л. Шестова, на вопросахъ уже затронутыхъ нами выше.

Когда-то Л. Шестовъ упорно отказывался видѣть въ жизни драму, нелѣпый трагизмъ, случай, шаою; теперь, принявъ девизомъ «amor fati», онъ окольнымъ путемъ возвращается съ другого конца къ своему прежнему воззрѣнію на «разумную действительность». Л. Шестовъ отказался, мы это знаемъ, отъ мысли осмыслить жизнь путемъ отрицанія случая, путемъ объясненія драмы: это путь невозможный, непроходимый — рационализировать до конца дѣйствительность не въ силахъ человѣка, и въ этомъ отношеніи Л. Шестову пришлось отказаться отъ разумной, т.-е. раціонализированной дѣйствительности, къ которой онъ хотѣлъ привести насъ въ книгу о Шекспирѣ. Но вѣдь *amor fati* есть опять-таки признаніе разумной дѣйствительности, вѣдь *amor fati* есть въ такомъ случаѣ «восторгъ передъ кирпичемъ», столь ненавистный въ прежнее время Л. Шестову. Правда, это признаніе разумной дѣйствительности сопровождается у Л. Шестова отказомъ отъ попытки раціонализировать эту дѣйствительность (ср. IV, 73). Ненависть ко всякаго рода *ratio* теперь становится характерной для Л. Шестова; именно вслѣдствие этого онъ отказывается объяснять драму, шаою, случай. Теперь Л. Шестовъ уже не пытается отвѣтить на вопросъ «зачѣмъ»; онъ помнить, что эта попытка его закончилась крахомъ. Зачѣмъ камень раздробилъ голову человѣку? — на это отвѣта нѣтъ; есть лишь *вѣра*: *amor fati*. Но вѣра эта не мѣшаетъ Л. Шестову на ряду съ декларацией правъ человѣка предъ обществомъ установить и декларацию его безправія передъ законами природы: для него «ясно до осозаемости», что въ мірѣ есть какая-то непобѣдимая сила, давящая и уродующая человѣка; и кто однажды побывалъ въ ея желѣзныхъ лапахъ (говоря это, Л. Шестовъ имѣеть между прочимъ въ виду Чехова), тотъ навсегда утратилъ вкусъ къ идеалистическимъ самообольщеніямъ (III, 32; V, 50, 52). Такъ, ненавида, Л. Шестовъ «любить» необходимость; ясно, что и прежняя ненависть къ случаю, несмотря ни на какую *amor fati*, осталась у Л. Шестова во всей силѣ. Законы природы, законы необходимости во внѣшнемъ мірѣ — вѣдь они являются въ то же время слѣпою судьбой, случаемъ для міра внутренняго; въ этомъ смыслѣ случай и необходимость понятія не только коррелятивныя, соотносительныя, но даже и адекватныя другъ другу: мы уже видѣли, что именно таково воззрѣніе Л. Шестова. И съ этой точки зрѣнія непримирумая борьба «философіи трагедіи» съ законами необходимости является явнымъ продолженіемъ борьбы со «случаемъ» въ книгу о Шекспирѣ.

Вотъ почему люди трагедіи «пытаются открыть отсутствіе закономѣрности уже здѣсь, на землѣ, подлѣ себя»; вотъ почему «порядокъ и гармонія давять ихъ, они задыхаются въ атмосферѣ естественности и законности»; вотъ почему «для нихъ постоянство есть предикать величайшаго несовершенства»; вотъ почему они «охраняютъ противъ необходимости» и цѣлый міръ и одного человѣка; вотъ почему, наконецъ, они такъ ненавидятъ общебязательность, норму, и видѣть, какъ мы знаемъ, «залогъ несчастья — въ законахъ природы, въ порядкѣ, въ наукѣ, въ позитивизмѣ и идеализмѣ»... (III, 213-229). Это обусловливаетъ и цѣль философіи трагедіи. Философія трагедіи «борется не съ общественнымъ мнѣніемъ; ея настоящій врагъ — «законы природы», людскія же сужденія ей страшны лишь настолько, насколько своимъ существованіемъ они подтверждаютъ вѣчность и неизмѣнность законовъ»... (III, 239). Отсюда ужасъ передъ всякимъ «міровоззрѣніемъ», передъ всякой обобщающей схемой, передъ всякой нормой, всякой «идеей»... Л. Шестовъ вспоминаетъ гениальное выраженіе короля Лира:

.....отъ медвѣдя
Ты побѣжишь; но, встрѣтивъ на пути
Бушующее море — къ пасти звѣря
Пойдешь назадъ...

Медвѣдь — это ужасы жизни; бушующее море — общія идеи. «Достоевскій — иллюстрируетъ свою мысль Л. Шестовъ — побѣжалъ отъ дѣйствительности, но, встрѣтивъ на пути идеализмъ, пошелъ назадъ: всѣ ужасы жизни не такъ страшны, какъ выдуманныя совѣстыю и разумомъ идеи» (III, 96). Всѣ эти идеи — царство философіи обыденности; это та самая «Стѣна», о которой у насъ была уже рѣчь по поводу Л. Андреева, та самая «стѣна», о которую люди трагедіи, говоря словами Л. Шестова, «предпочитаютъ лучше расшибить голову, чѣмъ примириться съ ея (стѣны) непроницаемостью»... Въ борьбѣ съ этой «стѣной» — весь паѳосъ философіи трагедіи; и часто человѣкомъ трагедіи «овладѣваетъ отчаяніе отъ сознанія, что взятая имъ на себя задача невыполнима, что трагедія въ концѣ концовъ должна уступить обыденности...» (III, 232). Но всегда съ новымъ подъемомъ силъ принимается трагедія за борьбу для того, чтобы сломать эту стѣну, выйти «по ту сторону доброго и злого», за предѣлы царства общихъ идей и категорического императива. Въ этомъ стремленіи «за предѣлы предѣльного» — романтизмъ философіи трагедіи, несмотря на все ея реалистическое пріятіе міра дѣйствительности, всѣхъ ужасовъ жизни.

X.

Позволю себѣ небольшое отклоненіе въ сторону, чтобы связать философію трагедіи съ хорошо знакомыми намъ андреевскими и сологубовскими мотивами солипсизма и одиночества; по этой боковой тропинкѣ мы, впрочемъ, скорѣе всего придемъ къ самому центру философіи трагедіи. Дѣйствительно, для Л. Шестова начало философіи трагедіи лежитъ въ одиночествѣ. Столкнувшись лицомъ къ лицу съ ужасомъ жизни, испытавъ крушеніе различныхъ нормъ и императивовъ, понявъ все безсиліе «гуманности» и «добра» осмыслить жизнь — человѣкъ «впервые въ жизни испытываетъ то страшное одиночество, изъ которого его не въ силахъ вывести ни одно самое преданное и любящее сердце. *Здесь-то и начинается философія трагедіи*», — подчеркиваетъ Л. Шестовъ (III, 87). Это на горькомъ опыте узналъ Нитцше (ср. II, 23, 103, 114 и III, 152, 176), испыталъ это и Толстой — вспомнимъ еще разъ его «Исповѣдь», — пришелъ къ этому и Достоевскому, какъ ни боролся онъ съ такой «каторжной истиной». Но не надо думать, что только такимъ титанамъ духа и мысли уготованы оцѣ и желчь одиночества и трагедіи: каждому изъ насъ жизнь подносить эту горькую чашу, а если мы не примемъ ея изъ рукъ жизни, то намъ приготовить ее смерть... У Л. Шестова есть на эту тему остроумное и мѣткое замѣчаніе: «Нитцше — говорить Л. Шестовъ — поставилъ когда-то такой вопросъ: можетъ ли осель быть трагическимъ? Онъ оставилъ его безъ отвѣта, но за него отвѣтилъ гр. Толстой въ «Смерти Ивана Ильича» (V, 10). Это не только остроумно, это глубоко вѣрно сказано: да, Толстой геніально показалъ намъ, что «осель» — т.-е. всякий человѣкъ посредственности, обыденности, мѣщанства — неизбѣжно становится трагическимъ предъ лицомъ смерти.

Вспомнимъ Аміеля, этого типичаго человѣка обыденности: что за потрясающій трагизмъ, что за безконечное одиночество! «...Даже наши самые интимные друзья не знаютъ нашихъ бесѣдъ съ Царемъ Ужаса. Есть мысли, которыхъ нельзя повѣрить другому; есть печали, которые не раздѣляются. Нужно даже изъ велиководушія скрывать ихъ. Мечтаешь одинъ, страдаешь одинъ, умираешь одинъ, одинъ занимаешь и домъ изъ шести досокъ»... Мы помнимъ, кто говорить эти удивительныя по силѣ чувства слова: не Нитцше, Толстой или Достоевскій, даже не О. Сологубъ, Л. Андреевъ или Л. Шестовъ, — нѣть, ихъ говорить Аміель, одинъ изъ безчисленныхъ Ивановъ Ильичей, ихъ говорить «осель», ставшій трагическимъ. Онъ взглянулъ въ глаза Елеазара-Смерти — и сталъ одинокъ; онъ сталъ одинокъ — и въ этомъ было начало его трагедіи. И пока на землѣ есть смерть, до тѣхъ поръ трагедія неуничтожима — это мы уже знаемъ; пока на землѣ есть смерть, до тѣхъ поръ одиночество не только первое, но и послѣднее

слово философії трагедії, ібо смерть єсть то «непоправимое несчастье», корого не избѣжать ни геній, ни Івань Ильичъ. А «быть непоправимо несчастнымъ — постыдно, — слышимъ мы оть Л. Шестова: — непоправимо несчастный человѣкъ лишается покровительства земныхъ законовъ. Всякая связь между нимъ и обществомъ порывается навсегда. И такъ какъ рано или поздно каждый человѣкъ осужденъ быть непоправимо несчастнымъ, то, стало-быть, последнее слово философії — одиночество...» (курс. подл.). Нужно идти къ одиночеству, къ абсолютному одиночеству, — слышимъ мы въ другой разъ оть нашего автора: — «послѣдній законъ на землѣ — одиночество... Résigne-toi, mon coeur, dors ton sommeil de brute!» (IV, 67, 89, 97). И одиночество снова приводить насъ такимъ образомъ къ безнадежности, внѣ которой нѣть философії трагедії.

Résigne-toi, mon coeur, dors ton sommeil de brute, — этими словами Бодлера начинаетъ и заканчиваетъ Л. Шестовъ свою статью о Чеховѣ, о творчествѣ изъ ничего, о философії безнадежности. Случая нѣть, а значитъ жизнь осмысленна, говорилъ когда-то Л. Шестовъ въ своей книжѣ о Шекспирѣ; случай есть, а значитъ жизнь безсмысленна, говорить онъ теперь въ статьѣ о Чеховѣ (см. выше, стр. 80). Случай есть. Камень падаетъ и раздробляетъ голову проходящему мимо человѣку — и мы бессильны передъ этимъ случайнымъ фактомъ. Что дѣлать? «Съ совершившимся фактомъ мириться нельзя, не мириться тоже нельзя, а середины нѣть», — говорить Чеховъ; ему и его героямъ остается только, по его же словамъ, «упасть на полъ, кричать и биться головой объ полъ»... Здѣсь царство безнадежности, жизнь ничѣмъ, творчество изъ ничего. Выхода нѣть. И человѣку остаются только вѣчныя колебанія и шатанія, неопределенные блужданія, безпричинныя радости, безпричинное горе; остается трагедія, остается безнадежность. Вместо всякихъ «зачѣмъ» можно только «колотиться, безъ конца колотиться головой о стѣну. Къ чему это приведеть? И приведеть ли къ чему-нибудь? Конецъ это или начало? (— отсюда взялъ Л. Шестовъ заглавіе своей послѣдней книги). Можно видѣть въ этомъ залогъ новаго, нечеловѣческаго творчества, творчества изъ ничего?» (V, 14, 62, 67). На всѣ эти вопросы Л. Шестовъ, устами Чехова, отвѣчаетъ намъ — «не знаю»... Résigne-toi, mon coeur — и постараитесь полюбить свою бѣдную, больную, нелѣпую жизнь...

Но если все это такъ, если послѣдній законъ на землѣ — одиночество и послѣднее слово философии трагедії — безнадежность; если всѣ нормы, всѣ «*a priori*» и императивы потерпѣли крушеніе; если мы не можемъ, такимъ образомъ, избѣжать подполья, — то какимъ же путемъ сможемъ мы избѣгнуть принятія слѣдующаго вывода подпольного человѣка: «...на дѣлѣ мнѣ надо знаешь чего? Чтобъ вы провалились, вотъ чего. Мнѣ надо спокойствія. Да я за то, чтобъ меня не беспокоили, весь свѣтъ сейчасъ за копейку продамъ. Свѣту ли провалиться иль мнѣ чаю не пить? Я скажу, что свѣту провалиться, а чтобъ мнѣ чай всегда пить...» (Достоевскій, «Записки изъ подполья»). Что можетъ противопоставить философія трагедії этимъ словамъ? Ничего. Она вполнѣ принимаетъ ихъ, она подтверждаетъ, что «весь міръ и одинъ человѣкъ столкнулись межъ собой и оказалось, что это дѣлѣ силы равной величины»... *Pereat mundus, fiat*: такова въ явномъ видѣ эта «каторжная истина», съ тайнымъ ужасомъ принимавшаяся Достоевскимъ и составляющая великую «декларацію правъ», возвѣщенную Ніццше. Да погибнетъ міръ, но да буду я — вотъ основной, универсальный законъ философії трагедії; а потому въ абсолютномъ эгоизмѣ слѣдуєтъ видѣть великое свойство человѣческой природы (III, 174-180, 235, 242 и IV, 127).

Какъ относимся мы ко всему этому — скажемъ потомъ. А теперь невольно напрашивается предположеніе, что оть одиночества и оть теоріи абсолютного эгоизма Л. Шестовъ долженъ перейти къ теоретическому эгоизму — т.-е. солипсизму. Этого вопроса Л. Шестовъ, въ противоположность Ф. Сологубу и подобно Л. Андрееву, касается только мимоходомъ и не съ достаточной ясностью. Онъ иронически замѣчаетъ,

что солипсизмъ, какъ теорія, настолько нелѣпъ, что его и опровергать не стоить, — и ядовито прибавляетъ къ этому: «кстати, какъ извѣстно, опровергнуть его и нѣть никакой возможности». Повидимому Л. Шестову хотѣлось бы — на что онъ не рѣшается — провозгласить, подобно Ф. Сологубу: все и во всемъ Я, и только Я, и нѣть иного, и не было, и не будетъ; ему хотѣлось бы связать солипсизмъ съ культомъ безпочвенности (IV, 153, 157) и оправдать этимъ свою теорію абсолютнаго эгоизма. Мы знаемъ однако изъ примѣра Ф. Сологуба, что если солипсизмомъ и можно оправдать что бы то ни было, то во всякомъ случаѣ не жизнь, не смерть, не случай. Кстати будетъ отмѣтить здѣсь одинъ намѣренно пропущенный нами мотивъ творчества Ф. Сологуба, діаметрально противоположный шестовскому ужасу передъ случаемъ: это мотивъ «вѣчнаго возвращенія», давно уже извѣстный въ философіи и воскрешенный въ послѣднее время Нитцше. Л. Шестовъ стоитъ въ ужасѣ передъ фантомомъ Случая, а теорія вѣчнаго возвращенія говорить ему, что случай этотъ повторялся уже миллионы разъ при абсолютнотождественной обстановкѣ и еще миллионы разъ повторится... Хорошее утѣшеніе! Оно въ миллионы разъ увеличиваетъ нелѣпость жизни, безмыслицу каждого отдельнаго случая... «Какой новый смыслъ могло дать его жизни — говоритъ Л. Шестовъ про Нитцше — обѣщаніе вѣчнаго возвращенія? Что могъ онъ почерпнуть въ убѣжденіи, что его жизнь, такая, какой она была, со всѣми ея ужасами, уже несчетное количество разъ повторялась и, затѣмъ, столь же несчетное количество разъ имѣеть вновь повториться безъ малѣйшихъ измѣненій?» (III, 204-207). Есть отъ чего впасть въ ужасъ и отчаяніе! Это и случается съ Ф. Сологубомъ, когда къ нему приходитъ мысль о вѣчномъ возвращении.

Что было, будеть вновь.
Что было, будеть не однажды, —

говорить поэтъ («Пламенныи Кругъ»), и считаетъ эту мысль о вѣчномъ возвращеніи — страшнымъ сномъ, мучающимъ человѣка:

Мнѣ страшный сонъ приснился, —
Какъ будто я опять
На землю появился
И началъ возрастать, —
И повторился снова
Земной ненужный строй
Отъ дѣтства голубого
До старости сѣдой.

И кончивъ путь далекій,
Я началъ умирать, —
И слышу судъ жестокій: —
Возстань, живи опять!

Такіе сны снятся поэту. Сонъ этотъ былъ бы страшень наяву, если бы вѣчное возвращеніе сопровождалось сознаніемъ повторяемости и памятью о каждомъ изъ пережитыхъ миговъ... Скучная исторія была бы тогда жизнъ! Но, къ нашему счастью, такая выдающаяся память удѣлъ немногихъ избранныхъ, въ родѣ Пиѳагора, который *dicitur meminisse se gallum fuisse* — помнилъ, что былъ когда-то пѣтухомъ... Онъ былъ пѣтухомъ, теперь стала Пиѳагоромъ, затѣмъ станетъ еще чѣмъ или кѣмъ-нибудь — это еще не такъ скучно, тутъ все же есть значительное разнообразіе; но неудобно ли вамъ миллионы разъ повторить до послѣдней черточки вмѣстѣ со всѣмъ міромъ всю прежнюю жизнь: пѣтуха такъ пѣтуха, Пиѳагора такъ Пиѳагора... И если вы даже

повѣситесь подъ вліяніемъ такой ужасной мысли, то это нисколько вамъ не поможетъ: это будетъ значить, что вы уже миллионы разъ именно такъ кончали свою жизнь и миллионы разъ именно такъ ее окончите...

Всѣмъ предыдущимъ мы хотимъ еще разъ подчеркнуть, что нелѣпость жизни — а значитъ и безконечно усиливающая эту нелѣпость идея вѣчнаго возвращенія — страшна только для тѣхъ, кто желаетъ стоять на уже отвергнутой нами объективно-телеологической точкѣ зрења; всѣ эти ужасы безсильны надъ человѣкомъ, стоящимъ на почвѣ имманентнаго субъективизма. Допустимъ, что человѣчество переживаетъ — слѣдовательно и я переживаю — въ тысячу первый разъ одну и ту же до юты жизнь, хоть я и не помню своихъ прежнихъ переживаний; и такой процессъ повтореній не будетъ имѣть конца. Ну такъ что же? Развѣ отъ этого для меня небо становится менѣе голубымъ, звѣздная ночь менѣе чарующей, поцѣлуи женщины менѣе опьяняющими, борьба за великие (субъективно-телеологические!) идеалы менѣе насыщной, шумъ валовъ моря менѣе мощнымъ, ненависть къ мѣщанству менѣе жгучей? «Страшный сонъ» Ф. Сологуба не такъ страшенъ, какъ онъ его рисуетъ; цѣль въ настоящемъ — этихъ двухъ словъ достаточно, чтобы преодолѣть фантомъ безмысленности вѣчнаго возвращенія, безмысленности жизни, фантомъ, специально приспособленный для пугливыхъ объективныхъ телеологовъ.

Цѣль — въ настоящемъ. Было бы странно, если бы такой типичный субъективистъ, какъ Л. Шестовъ, не стоялъ на этой точкѣ зрења имманентнаго субъективизма. Но онъ стоитъ на ней — и не трудно видѣть, что въ этомъ одно изъ центральныхъ положеній философіи трагедіи. Всѣ теоріи прогресса, и мистическая и позитивная, одинаково ненавистны человѣку трагедіи; оправданіе настоящаго будущимъ — худшій изъ видовъ того фарисейскаго «добра», которымъ совершенно добросовѣстно самообольщаются столь многіе мистики и еще болѣе многочисленные позитивисты. И съ великодѣйной ясностью вскрываетъ Л. Шестовъ причины ненависти Достоевскаго къ тому «хрустальному дворцу», подъ которымъ авторъ «Записокъ изъ подполья» понималъ всеблаженное устроеніе человѣчества въ грядущемъ Zukunftstaatъ. Мы приведемъ длинную выдержку — читатель на насъ за это не посѣтуетъ. «Вопросъ идетъ о томъ, — говоритъ Л. Шестовъ, — можетъ ли примирить хрустальное зданіе Достоевскаго съ его прошлой, настоящей, съ его вѣчной каторгой? И отвѣтъ на него дается рѣзко отрицательный: нѣть, не можетъ. Если задача человѣка обрѣсти счастье на землѣ, то, значитъ, все навсегда погибло. Эта задача уже невыполнима, ибо развѣ будущее счастье можетъ искупить несчастье прошлаго и настоящаго? Развѣ судьба Макара Дѣвшкина, котораго оплевываютъ въ XIX столѣтіи, становится лучше отъ того, что въ XXII столѣтіи никому не будетъ дозволено обижать своего ближняго? Не только не лучше, а хуже. Нѣть, если уже на то пошло, такъ пусть же навѣки несчастье живеть среди людей, пусть и будущихъ Макаровъ оплевываютъ... Достоевскій не хочетъ всеобщаго счастья въ будущемъ, не хочетъ, чтобы это будущее оправдывало настоящее. Онъ требуетъ иного оправданія и лучше предпочитаетъ до изнеможенія колотиться головой обѣ стѣну, чѣмъ успокоиться на гуманномъ идеалѣ»... (III, 99). Вы понимаете, конечно, что Л. Шестовъ говорить это не только о Достоевскомъ, но прежде всего и о самомъ себѣ. Ему не нужны всѣ эти теоріи прогресса, съ ихъ попытками оправдать настоящее будущимъ; онъ ищетъ «иного оправданія». Какого? Вѣдь «никакія гармоніи, никакія идеи, никакая любовь или прощеніе, словомъ, ничего изъ того, что отъ древнѣйшихъ до новѣйшихъ временъ придумывали мудрецы, не можетъ оправдать безмыслицу и нелѣпость въ судѣ отдельнаго человѣка» (III, 120). Какого же «иного оправдания» жаждетъ Л. Шестовъ? Отвѣтъ гласить: *amor fati*. Читатель видѣтъ теперь, что *amor fati* есть одно изъ возможныхъ выражений принципа цѣли въ настоящемъ. Не надо оправдывать настоящее будущимъ, мрачную драму двадцатаго вѣка свѣтлой пасторалью двадцать второго столѣтія, или еще болѣе свѣтлой мистеріей, имѣющей

воспослѣдовать тогда, когда «времени больше не будетъ», когда мы вѣдь будемъ «auf Wolken sitzend, Psalmen singen», говоря ядовитыми словами Гейне; нельзя оправдывать имманентное настоящее трансцендентнымъ будущимъ. Надо принять это настоящее такимъ, каково оно есть; надо принять цѣликомъ вѣдь ужасы жизни и предоставить трансцендентныя утѣшенія вѣроятимъ: «...все вѣдь жизни лишь «человѣческое, слишкомъ человѣческое» — и вѣдь этомъ спасете, надежда, новая заря...» (III, 182). Къ признанію настоящаго за самоцѣль приходитъ такимъ образомъ, вѣдь концѣ концовъ, и философія трагедіи.

XI.

Мы очертили сѣ достаточной подробностью главныя стороны міровоззрѣння Л. Шестова; намъ осталось теперь сказать нѣсколько словъ обѣ его послѣднихъ работахъ и перейти къ общимъ выводамъ.

Міровоззрѣніе Л. Шестова, система Л. Шестова... Какъ неустанно сражается этотъ писатель со всякаго рода общими идеями, системами, міровоззрѣніями, и какъ фатально замыкаются его мысли вѣ кругъ вполнѣ опредѣленной философской схемы! Онъ пытается бороться съ этимъ, онъ не хочетъ стоять на твердой почвѣ, онъ пишетъ вѣ формѣ отрывочныхъ афоризмовъ свой «опытъ адогматического мышленія», «Апоѳеозъ безпочвенности» — и все сіе вотще. Пока литературныя произведенія пишутся словами, а не нотами, до тѣхъ поръ напрасно взывать: «de la musique avant toute chose, et tout le reste est littérature»... Это исполнимо только вѣ области чистой лирики, но не философскаго творчества — хотя бы и художественно-философскаго (какимъ является творчество Л. Шестова), т.-е. творчества, сотканнаго и изъ «musique» — поскольку оно художественное, и изъ «littérature» — поскольку оно философское. И вѣ концѣ концовъ самъ Л. Шестовъ вынужденъ признать, что есть истины общеобязательныя, съ которыми не справится никакой бунтъ (IV, 190); онъ не признаетъ зато, что у него самого есть схема, міровоззрѣніе — но для нась это болѣе чѣмъ ясно. Философія — и проповѣдь; трагедія — и обыденность; «добро» — и amor fati: вѣ эту схему вкладываетъ Л. Шестовъ всѣ свои мысли, всѣ свои книги, начиная съ работы о Толстомъ и Ницше. Онъ борется со схемами — и безсиленъ выйти изъ нихъ; онъ не навидить «міровоззрѣнія» — и самъ создаетъ одно изъ нихъ... Старая исторія! Нѣть убѣждений — вѣ этомъ былъ убѣждень Пигасовъ (вѣ «Рудинѣ»); нѣть и не должно быть теорій — такова была теорія Писарева... Человѣкъ безсиленъ измѣнить организацію своего познающаго аппарата: всякое познаніе есть схематизація, всякой связный рядъ воззрѣній есть уже міровоззрѣніе.

Любопытно прослѣдить, какъ борется самъ съ собой Л. Шестовъ, какъ пытается онъ разрушить связность воззрѣній самой формой письма — афоризмами вѣ своемъ «Апоѳеозъ безпочвенности». Онъ разрѣшаетъ себѣ, онъ почти возводить вѣ принципъ противорѣчія, непослѣдовательности; онъ радъ, когда видить и чувствовать ихъ у себя: ему кажется тогда, что онъ избавился отъ ненавистной общей идеи, отъ системы, отъ міровоззрѣнія. «Нѣть идеи, нѣть идей, — съ торжествомъ провозглашаетъ онъ, — нѣть послѣдовательности, есть противорѣчія, но вѣдь этого именно я и добивался...» (IV, 3). Добиваться непослѣдовательности — вотъ неосторожное слово! Неосторожное потому, что искусственно добиться непослѣдовательности и противорѣчій очень не трудно, но не къ этому же стремится Л. Шестовъ! Противорѣчія могутъ прійти сами; добиваться же ихъ Л. Шестову понадобилось для того, чтобы избавиться отъ системы, отъ схемы: «зачѣмъ міровоззрѣніе?»... (IV, 4). Человѣкъ по десять разъ на день мѣняеть свои убѣжденія и міровоззрѣнія,увѣряетъ нась Л. Шестовъ; но — странное дѣло! — самъ онъ вотъ уже десять лѣтъ твердо стоять на одномъ и томъ же міровоззрѣніи, провозглашая философію трагедіи. И по жестокой ироніи случая, какъ-разъ вѣ

«Апоеозъ беспочвенности», такомъ разбросанномъ и противорѣчивомъ со стороны вѣнѣшней формы, быть можетъ, ярче всего сказывается уже извѣстная намъ философія Л. Шестова... «Мыслей къ нему приходило много и иногда очень живыхъ и интересныхъ, но не сплетались онъ въ одну крѣпкую, длинную нить, а бродили въ головѣ словно коровы безъ пастуха», — разсказываетъ Л. Андреевъ про одного изъ своихъ героеvъ («Губернаторъ»): какъ хотѣлось бы Л. Шестову имѣть право приложить къ себѣ эти не совсѣмъ любезныя слова! Идеалъ Л. Шестова — «незаконченныя, беспорядочныя, хаотическія, не ведущія къ заранѣе поставленной разумомъ цѣли, противорѣчивыя, какъ сама жизнь, размышенія» (IV, 5), т.-е. именно мысли, бродящія въ головѣ словно коровы безъ пастуха... Но ужъ такая горькая судьба преслѣдуетъ Л. Шестова: въ то время, какъ нѣкоторые писатели (не въ именахъ дѣло) страстно жаждутъ хоть какого-нибудь міровоззрѣнія, тщетно, пытаясь создать хоть какую-нибудь системку, — у нихъ мысли играютъ въ чехарду или бродятъ въ головѣ словно коровы безъ пастуха; и въ то же время стройное міровоззрѣніе является удѣломъ ненавидящаго всякия системы Л. Шестова...

Въ «Апоеозъ беспочвенности» Л. Шестовъ выставляетъ все новые и новые иллюстраціи и аргументы для доказательства прежнихъ своихъ, уже извѣстныхъ намъ мыслей. Кромѣ Толстого, Достоевскаго, Нитцше, онъ привлекаетъ въ качествѣ свидѣтелей еще и Тургенева, Чехова, Гейне, Ибсена — послѣднихъ двухъ въ статьѣ «Предпослѣдня слова», представляющей непосредственное продолженіе «Апоеоза беспочвенности» (см. т. V). Небезынтересно будетъ замѣтить, что «Апоеозъ беспочвенности» первоначально былъ написанъ какъ одно цѣлое, подъ заглавіемъ «Тургеневъ и Чеховъ»; отмѣтимъ также, что, по промелькнувшимъ въ печати извѣстіямъ, Л. Шестовъ подготавляетъ въ настоящее время къ печати работу объ Ибсенѣ. Конечно, и эта работа, въ какую бы форму она ни вылилась, будетъ только развитиемъ уже вполнѣ опредѣлившейся системы мыслей Л. Шестова, какъ это случилось и съ «опытомъ адогматического мышленія» — «Апоеозомъ беспочвенности». За ранѣе можно предсказать, что мы услышимъ отъ Л. Шестова про Ибсена: услышимъ то же самое, что уже слышали о Толстомъ, о Достоевскомъ, о Нитцше. Л. Шестовъ покажетъ намъ, что Ибсенъ сначала былъ преданъ «доброму», а впослѣдствіи, когда жизнь была уже прожита, онъ увидѣлъ, что добро не помогло ему осмыслить жизнь, что жизнь его безплодно растрата, что безвозвратно погибла жизнь, пропала жизнь: это и выразилъ Ибсенъ въ своей драмѣ «Когда мы, мертвые, пробуждаемся», отрекаясь устами Рубека отъ прежней «проповѣди» во имя отвергнутой ранѣе жизни — Ирены (см. V, 150). И что дурного въ томъ, если именно такова будетъ старая схема новой книги Л. Шестова? Схема — условность; схема — лѣса при постройкѣ зданія; схемой надо пользоваться, но стоять выше нея.

Эту же знакомую намъ схему мы находимъ и въ «Апоеозѣ беспочвенности» и въ сборникѣ статей «Начала и Концы». Теперь Л. Шестовъ съ еще большей силой возстаетъ противъ того самого вопроса «зачѣмъ», на которомъ когда-то была построена вся его книга о Шекспирѣ; онъ теперь признается, что случай, драма, (міацоу — необъяснимы, что на вопросъ о смыслѣ жизни нѣть отвѣта. Смысла, «правды» — нѣть на землѣ; но — «правды нѣть и выше: для меня такъ это ясно, какъ простая гамма», говоритъ пушкинскій Сальери. «Нѣть ни одного человѣка на землѣ, — замѣчаетъ Л. Шестовъ, — который бы въ этихъ простыхъ и глубокихъ словахъ не узналъ бы собственныхъ мучительнѣйшихъ сомнѣній. Отсюда вытекаетъ трагическое творчество... Мы съ испугомъ и недоумѣніемъ останавливаемся при видѣ уродства, болѣзни, безумія, нищеты, старости, смерти» (IV, 66). Прежде Л. Шестовъ при видѣ всего этого задавалъ себѣ вопросъ — «зачѣмъ?» и пытался отвѣтить на него путемъ анализа трагедій Шекспира; теперь онъ самъ высмѣиваетъ «метафизику» своего прежняго отвѣта. При видѣ всего этого безумнаго ужаса жизни, — говоритъ онъ, — «нужно или, стис-

нувъ зубы, молчать, или объяснить. Вотъ за дѣло объясненія и берется метафизика. Тамъ, гдѣ обыкновенный здравый смыслъ останавливается, метафизика считаетъ себя въ правѣ сдѣлать еще одинъ шагъ. «Мы видѣли, говорить она, много случаевъ, когда страданія, съ первого взгляда казавшіяся нелѣпыми и ненужными, потомъ оказывались имѣющими глубокій смыслъ. Можетъ быть и тѣ, которыхъ мы не умѣемъ объяснить, все-таки имѣютъ свое объясненіе»... И такъ далѣе, и такъ далѣе: еще цѣлыхъ двѣ страницы иронически продолжаетъ свою рѣчь отъ лица «метафизики» Л. Шестовъ. Конечно, онъ говорить о себѣ самомъ той эпохи, «когда легковѣренъ и молодъ онъ былъ», когда онъ смѣло утверждалъ, что «случая нѣть, а міаю есть лишь необъясненный случай», когда онъ ничтоже сумнялся заявлялъ, что нѣть нелѣпаго трагизма, а есть лишь разумная необходимость. А теперь... теперь, если бы въ руки Л. Шестова попала міодержавная власть, съ какимъ наслажденіемъ послалъ бы онъ къ чорту эту «разумную необходимость» и безъ дальнихъ размышеній устранилъ бы съ земли всѣ страданія, все безобразіе, всѣ неудачи! (IV, 182-184).

Но разъ власти этой въ рукахъ нѣть — «остается одно средство: вопреки традиціямъ, теодицеямъ, мудрецамъ и, прежде всего, самому себѣ — продолжать по-прежнему прославлять матерію природу и ея великую благость. Пусть съ ужасомъ отшатнется отъ насъ будущія поколѣнія, пусть исторія заклеймить наши имена, какъ имена измѣнниковъ общечеловѣческому дѣлу — мы все-таки будемъ слагать гимны уродству, разрушенію, безумію, хаосу, тьмѣ. А тамъ — хоть трава не расти» (IV, 158). Остается, такимъ образомъ, апоѳеозъ жестокости, остается *amor fati*... И хотя въ одномъ изъ своихъ афоризмовъ Л. Шестовъ и старается увѣрить себя, что *amor fati* есть только временное перемиріе съ дѣйствительностью, что «подъ личиной дружбы старая вражда продолжаетъ жить и готовится страшная месть» (IV, 72), но это только безсодержательные слова безъ всякаго реального значенія. Нѣть, онъ безповоротно принимаетъ всѣ ужасы дѣйствительности, твердыи голосомъ говорить имъ: да будетъ такъ. Спрашивать онъ давно пересталъ; осмыслить жизнь все равно нельзя, на «зачѣмъ» все равно нѣть отвѣта. Въ этомъ случаѣ права молодость, — говорить Л. Шестовъ: — она никогда не спрашиваетъ. «О чѣмъ ей спрашивать? Развѣ пѣсня соловья, майское утро, цвѣтокъ сирени, веселый смѣхъ и всѣ прочіе предикаты молодости требуютъ истолкованія? Наоборотъ, всякое истолкованіе къ нимъ сводится. Настоящіе вопросы впервые возникаютъ у человѣка при столкновеніи со зломъ. Заклевалъ ястребъ соловья, увили цвѣты, заморозиль Борей смѣявшагося юношу и мы въ испугѣ начинаемъ спрашивать... А разъ начинаются вопросы — нельзя, да и ненужно торопиться съ отвѣтами. И тѣмъ менѣе — предвосхищать ихъ. Соловей умеръ и не будетъ больше пѣть, человѣкъ, его слушавшій, замерзъ, уже не слыхать ему больше пѣсенъ. Положеніе такъ очевидно нелѣпое, что только при очевидномъ же желаніи во что бы то ни стало сбыть вопросъ можно стремиться къ осмыщеному отвѣту. Отвѣтъ будетъ, долженъ быть нелѣпымъ — если не хотите его, перестаньте спрашивать...» (IV, 154; курс. нашъ). Этимъ Л. Шестовъ окончательно зачеркиваетъ всю свою книгу о Шекспирѣ, окончательно упраздняетъ вопросъ «зачѣмъ». Жизнь должна быть принята нами со всѣми ея ужасами, ибо смысла этихъ ужасовъ намъ не дано разгадать; болѣе того, прибавимъ мы отъ себя, этого смысла и вовсе не существуетъ. Тщетны поиски за *рергетиум mobile*, котораго не можетъ быть, пока существуетъ законъ сохраненія энергіи; тщетны попытки обоснованія объективнаго смысла жизни, пока человѣкъ есть человѣкъ, а не пресловутый сверхчеловѣческій гений Лапласа.

Интересно отмѣтить, какъ у Л. Шестова, несмотря на весь его субъективизмъ, иногда прорывается своеобразная «тяга къ объективизму». Задыхаясь порою подъ гнетомъ своего фатализма, онъ ищетъ спасенія въ «метафизическихъ утѣшенніяхъ». Такъ пріятно помечтать на утѣшительную тему: а вдругъ и безмыслица имѣть смыслъ?! И притомъ смыслъ объективный. А вдругъ окажется, что всѣ ужасы земли — это только

испытаніе человѣческаго духа: «кто выдержить ихъ, кто отстоить себя, не испугавшись ни Бога, ни дьявола съ его прислужниками — тотъ войдетъ побѣдителемъ въ иной міръ...» (V, 174). А вдругъ окажется, что самая вопіющая нелѣпость — напримѣръ, безсмысленная старость Плюшкина — имѣть вполнѣ опредѣленное объективное значеніе: «кто знаетъ? можетъ быть, онъ (Плюшкинъ) дѣлаетъ свое возложенное на него природой, серьезное и важное дѣло...» (IV, 90). Но мы уже видѣли, какъ отвѣчаетъ Л. Шестовъ на всѣ эти «метафизическая утѣшенія», на всѣ эти «а вдругъ» и «можетъ быть», на всю эту идеологическую отрыжку его былыхъ надеждъ и упований на разумную дѣйствительность: вспомните его ироническую рѣчь отъ лица метафизики, приведенную нами страницу выше. Всѣ эти объективные соблазны, столь заманчивые для слабыхъ духомъ людей, въ концѣ концовъ бессильны надъ Л. Шестовымъ, хотя онъ иногда и платить имъ дань; вообще же онъ категорически отказывается искасть объективный смыслъ въ жизни человѣка: онъ принимаетъ лишь субъективный смыслъ этой жизни. Для него развитіе, прогрессъ не имѣть объективной цѣли; онъ заявляетъ, что прогрессъ во времени есть чистѣйшее заблужденіе (если имѣть въ виду объективную цѣль этого прогресса); «вѣроятнѣе всего, и есть развитіе, — говорить онъ, — но направление этого развитія есть линія перпендикуляра къ линіи времени. Основаніемъ же перпендикуляра можетъ быть любая человѣческая личность» (V, 127). Подчеркнутыя нами слова выражаютъ собою въ скрытомъ видѣ все ту же нашу мысль о субъективной цѣлесообразности нашихъ переживаний и о самоцѣльности каждого данного момента.

На этомъ пунктѣ, связывающемъ философію трагедіи съ положеніями имманентнаго субъективизма мы и закончимъ наше знакомство съ философско-художественнымъ творчествомъ Л. Шестова. Хотѣлось бы еще подробнѣе, чѣмъ мы это сдѣлали выше, остановиться на замѣчательной статьѣ о Чеховѣ, въ которой философія трагедіи такъ близко приближается къ философіи безнадежности; на глубокой по мысли статьѣ «Похвала Глупости», которую до сихъ поръ еще многіе проницательные критики считаютъ только блестящимъ полемическимъ фельетономъ; — но приходится ограничиться тѣмъ немногимъ, что попутно говорили мы выше объ этихъ статьяхъ, особенно о первой изъ нихъ. Намъ осталось теперь бросить общій взглядъ на все философское творчество Л. Шестова въ его цѣломъ, посмотреть на его выводы и результаты съ той же точки зрѣнія, съ которой мы оцѣнивали творчество Ф. Сологуба и Л. Андреева.

XII.

Когда одинъ изъ критиковъ «поймалъ» Л. Шестова на противорѣчіи, то послѣдній иронически отвѣтилъ критику: «что правда — то правда. Поймалъ. Только зачѣмъ ловить было? И развѣ такъ книги читаются? По прочтеніи книги нужно забыть не только всѣ слова, но и всѣ мысли автора и только помнить его лицо»... (V, 121; ср. V, 190). Это относится не ко всякой книгѣ, но несомнѣнно относится къ книгамъ Л. Шестова, особенно къ такой, какъ «Апоѳеозъ безпочвенности». Подчеркивать въ ней противорѣчія — напрасный трудъ: вѣдь самъ авторъ заявляетъ намъ, что противорѣчій онъ только и добивался! Но эти противорѣчія не мѣшаютъ намъ помнить лицо автора книгъ о Нитцше, Толстомъ и Достоевскомъ.

Мы не будемъ поэтому останавливаться на цѣломъ рядѣ частныхъ вопросовъ, въ которыхъ видимъ у Л. Шестова противорѣчія и ошибки въ постановкѣ или рѣшеніи; все это — не существенно. Мы ограничимся лишь двумя рѣзкими штрихами, которые рельефнѣе всего очерчиваютъ «лицо» Л. Шестова: съ одной стороны это — *amor fati*, съ другой — психологія подпольного человѣка. На этихъ двухъ вопросахъ выяснится съ достаточной ясностью, что цѣнно и дорого для насъ въ художественно-философ-

комъ творчествѣ Л. Шестова и что, наоборотъ, является для насъ совершенно непріемлемымъ.

Л. Шестовъ началъ свою литературную дѣятельность ожесточенной борьбой съ мнѣніемъ о безмысленности, о случайности жизни. Онъ утверждалъ, какъ мы помнимъ, что необъяснимаго случая нѣть, а есть лишь случаи необъясненные. Взглядъ этотъ возможенъ, но обусловливается такимъ крайнимъ объективизмомъ, который къ лицу только великодѣлнымъ Сергеемъ Николаевичамъ изъ горныхъ обсерваторій. На такой астрономической вышкѣ Л. Шестовъ не могъ оставаться долгое время и скоро спустился изъ этихъ возвышенныхъ мѣстъ на землю, къ житейской безмыслицѣ, къ неоправданной случайности, ко всѣмъ чернымъ тѣнямъ земли. Пришлося признать власть Случая. Для Л. Шестова это значило прійти къ абсолютному пессимизму и абсолютному скептицизму. Онъ пришелъ къ нимъ, но онъ и прошелъ черезъ нихъ, найдя спасеніе въ *amor fati*: отъ дождя онъ бросился въ воду. Случай есть, онъ неизбѣженъ, непобѣдимъ — такъ буду же я любить этотъ случай, любить необходимость (это все равно), любить смерть, несправедливость, несчастья, всѣ черныя тѣни земли. Л. Шестовъ пришелъ къ тому же пріятію міра, которое мы уже видѣли у О. Сологуба:

Я люблю мою темную землю
И, въ предчувствіи вѣчной разлуки,
Не одну только радость пріемлю,
Но, смиренно, и тяжкія муки.
Ничего не отвергну въ созданы...

Это былъ единственный выходъ, оставшійся Л. Шестову, какъ въ свое время и О. Сологубу. «Разсудку вопреки», Л. Шестовъ пытался отстоять смыслъ мірового зла, смыслъ *ratio*, но убѣдился, что разумъ здѣсь безсиленъ; отсюда ненависть Л. Шестова ко всякому *ratio** и признаніе имъ вопреки всему въ мірѣ этого мірового зла, принятие міра въ его цѣломъ, *amor fati*. Разумъ не можетъ отвѣтить на вопросъ «зачѣмъ», а потому надо принять міръ безъ всякихъ вопросовъ. «Уже не стараешься предвидѣть и объяснять, а ждешь принимая все непоправимое за должно», — говорить Л. Шестовъ; и въ этихъ простыхъ и немногихъ словахъ ключъ къ его философіи (ср. IV, 91). Смерть Корделии, трупъ ребенка, собственныя безнадежныя страданія — все это непоправимо и не можетъ быть раціонализировано и логически оправдано; все это нельзя логически *оправдать*, но можно только *принять* или *не принять*, отвергнуть. Въ послѣднемъ случаѣ мы имѣемъ передъ собой бунтъ человѣка противъ Бога, противъ міра; какъ возможно подобное непріятіе міра и къ какимъ логическимъ послѣдствіямъ оно ведетъ — обѣ этомъ у насъ еще будетъ рѣчь, а какъ возможно такое пріятіе міра — это мы видѣли на примѣрѣ Л. Шестова. Онъ принимаетъ міръ и тѣмъ самимъ оправдываетъ его (логично, но не логически), онъ съ отчаяніемъ и безнадежностью въ душѣ любить его, онъ со скрежетомъ зубовъ обнимаетъ его.

Есть, бываетъ такая любовь, сопряженная съ отчаяніемъ; достаточно вспомнить Достоевскаго, съ такой потрясающей силой развившаго этотъ мотивъ (въ новѣйшей русской литературѣ можно назвать Валерія Брюсова, — см. его стихотворенія «Въ застѣнкѣ», «Видѣніе крыльевъ» и др.). Любовь Настасии Филипповны къ Идіоту, любовь Дмитрія Карамазова къ Грушенькѣ — вотъ *amor fati* Л. Шестова, вотъ его любовь къ мучительной действительности, любовь, сопряженная съ отчаяніемъ:

Люблю я отчаяніе мое безмѣрное,
Намъ радость въ послѣдней каплѣ дана.

*.) Это сближаетъ Л. Шестова съ неизвѣстнымъ ему (да и вообще малоизвѣстнымъ) нѣмецкимъ мыслителемъ Банзеномъ (I. Bahnsen), который исходилъ изъ утвержденія анти-логичности сущаго. Его главныя произведения «Der Widerspruch im Wissen und Wesen der Welt» (1882 г.), «Mosaiken und Silhouetten» и др. дѣлаютъ изъ него замѣчательного предшественника Л. Шестова.

И только одно я здѣсь знаю вѣрное:
Нужно всякую чашу пить до дна, —

эти строки З. Гиппіусъ Л. Шестовъ недаромъ считаетъ такими поэтическими, глубокими, правдивыми (IV, 281): въ нихъ выражается основное чувство человѣка, пришедшаго къ пріятію міра.

Въ этомъ принятіи міра — цѣнная и дорогая для нась черта творчества Л. Шестова. Имманентный субъективизмъ требуетъ принятія міра и тѣмъ самыемъ оправдываетъ его, не раціонализируя; это принятіе, это оправданіе — дѣло не логики, а психологіи, не силлогистическихъ построеній, а душевныхъ переживаній. Я принимаю этотъ міръ, со всѣми его ужасами, со всей его объективной безсмысленностью, потому что вижу субъективную осмысленность жизни; вы, быть можетъ, проклянете и не пріймете этотъ міръ именно изъ-за его объективно не осмысленныхъ ужасовъ: спора здѣсь быть не можетъ, логика здѣсь бессильна. Логика здѣсь бессильна, а потому мы, ничего не доказывая, никого не убѣждая, только говоримъ, что если мы хотимъ жить, то должны принять этотъ міръ, какъ онъ есть. И мы принимаемъ его, какъ въ концѣ концовъ приняли его и О. Сологубъ, и Л. Андреевъ, и Л. Шестовъ, какъ безсознательно принимаютъ его почти всѣ живущіе въ этомъ мірѣ.

Мы принимаемъ міръ. Значить ли это, однако, что для нась обязательна та психологія, которую мы очертили выше, психологія любви съ надрывомъ, любви со скрежетомъ зубовнымъ, психологія подпольного человѣка и его *amor fati*? Для Л. Шестова принимать міръ значитъ любить его ужасы, значитъ «слагать гимны уродству, разрушению, безумію, хаосу, тьмѣ»; не принимать значитъ для него проклинать. Неужели же *tertium non datur*? Неужели же я могу только или любить, или проклинать паровозъ, случайно раздавившій на смерть близкаго мнѣ человѣка? Неужели же я могу только или любить, или проклинать камень, раздробившій голову ребенку? Да, я могу проклинать, могу ненавидѣть того, кто бросилъ этотъ камень, того, кто не остановилъ вовремя паровозъ. Но... но вѣрить въ Машиниста вселенной мы предоставляемъ трансцендентистамъ разныхъ ранговъ и степеней; имъ есть кого любить или кого ненавидѣть. Мы же отказываемся проклинать или любить самый фактъ, мы не будемъ ни любить, ни ненавидѣть самую машину. Ребенокъ бѣть стулъ, о который сильно ударился, Ксерксъ велѣль высѣчь разсердившее его море; но мы не дѣти и не дикари... и, прибавимъ также, не подпольные люди. Психологія и тѣхъ, и другихъ, и третьихъ намъ понятна, но значитъ ли это, что мы должны ее раздѣлять? И любопытно: взрослые смотрятъ со снисходительной улыбкой на ребенка, воюющаго со стуломъ, но тутъ же сами въ бессильной злобѣ шлютъ проклятія слѣпой механической силѣ, причинившей имъ душевную боль... Надо стать выше этой дѣтской психологіи. Надо принять міръ и не сражаться со стульями. Но неужели же намъ надо любить эти стулья, любить эту причинившую намъ боль слѣпую механическую силу? Странное зрѣлище — ребенокъ, цѣлающій тотъ стулъ, о который онъ ушибся... Да, странное зрѣлище. И насколько проста и элементарна психологія дѣтей и дикарей, настолько сложна психологія подпольного человѣка...

XIII.

Психологія подпольного человѣка — это наиболѣе характерная черта, съ которой навсегда останется въ нашей памяти «лицо» Л. Шестова. И опять-таки — какъ и въ случаѣ съ *amor fati* — намъ остается лишь отмѣтить, что дорого и цѣнно для нась въ этой чертѣ и что, наоборотъ, совершенно непріемлемо.

Высшая степень индивидуализма, отказъ отъ всякихъ трансцендентныхъ утѣшений; ненависть ко всякой попыткѣ — позитивной или мистической, безразлично — оп-

равданія настоящаго будущимъ; глубокая личная трагедія; личность, какъ вершина міра — всѣ эти главныя свойства подпольного человѣка дѣлаютъ его личную трагедію міровой трагедіей. Но несмотря на все это, есть одна черта, которая рѣзко отдѣляеть насъ отъ подпольного человѣка. Эта черта — соціальность: инстинктъ, совершенно атрофированный у подпольного человѣка и безконечно дорогой для насъ.

Pereat mundus, fiam, да погибнетъ міръ, но да буду я. «Свѣту ли провалиться или мнѣ чаю не пить? Я скажу, что свѣту провалиться, а чтобы мнѣ чай всегда пить»... Такъ говорить подпольный человѣкъ. Можетъ ли онъ такъ говорить? Смѣеть ли онъ такъ говорить? Да, можетъ; да, смѣеть. Кто или что запретить ему такъ говорить и такъ думать: Богъ, въ котораго онъ не вѣритъ, или категорический императивъ, котораго онъ не признаетъ? Возьмемъ самый крайній случай осуществленія этихъ подпольныхъ идей: въ романѣ Зола «Парижъ» ученый химикъ, изобрѣтатель страшно сильнаго взрывчатаго вещества, собирается взорвать чуть ли не половину Парижа; представимъ себѣ, что вещество это въ миллионы разъ сильнѣе и что подпольный человѣкъ действительно можетъ однимъ ударомъ взорвать весь земной шаръ... Или другой примѣръ: въ романѣ Н. Лопатина «Чума» передъ нами подпольный человѣкъ, тоже знаменитый ученый, профессоръ Хребтовъ, ненавидящій весь человѣческій родъ и заражающій Москву чумою *)... Что вы можете выставить противъ такихъ людей? Многое, конечно: сумасшедшій домъ, смирительную рубашку, висѣлицу... Но развѣ палка аргументъ? — скажемъ мы, пародируя извѣстныя слова Нитzsche; — съ какихъ же это поръ argumentum baculum является доводомъ въ пользу «добра», «гуманности» и всего того, что такъ ненавистно подпольному человѣку? Pereat mundus, fiam; pereat mundus, fiat voluntas mea — вѣдь это опредѣленныя идеи, противъ которыхъ палка бессильна, какъ бессильны и всѣ пушки міра. Съ идеей можетъ бороться только идея.

Какую же идею можемъ мы противопоставить абсолютному эгоизму подпольного человѣка? — Подпольные люди — не выдумка художника или философа, но фактъ; идеи подпольныхъ людей — не менѣе яркіе факты; какіе же факты можемъ мы противопоставить имъ со своей стороны? На это впервые въ русской литературѣ отвѣтилъ Достоевскій, какъ впервые открылъ онъ намъ глаза и на подпольного человѣка. Достоевскій (а въ настоящее время Л. Шестовъ) достаточно компетентный свидѣтель того, что подпольные люди, подпольныя идеи существуютъ... И вотъ что интересно: вскрывъ передъ нами сущность подпольныхъ идеи въ своихъ геніальныхъ «Запискахъ изъ подполья», Достоевскій немедленно же, въ слѣдующемъ же своемъ произведеніи, «Преступленія и наказанія», съ не меньшей геніальностью противопоставилъ подпольнымъ идеямъ идеи «надпольныя», выражаясь по аналогіи. Въ этомъ главный смыслъ «Преступленія и наказанія», главный смыслъ душевной драмы Раскольникова. Утвержденіе своей личности Раскольниковъ хочетъ довести до отрицанія другихъ личностей; на пути къ этому не весь земной шаръ ему надо взорвать, а всего-на-всего одну старушонку убить. Онъ убиваетъ ее во имя утвержденія своего я, во имя принципа «pereat mundus, fiam», во имя заповѣди абсолютнаго эгоизма: «я цѣль, все остальное средство»; и немедленно послѣ убийства передъ нимъ открывается идея утвержденія чужого Я, во имя заповѣди этическаго индивидуализма: «человѣкъ — самоцѣль».

Вотъ та надпольная идея, которую мы противопоставляемъ подпольной. Замѣтьте: только противопоставляемъ, ни на минуту не собираясь убѣждать или побѣждать ею подпольного человѣка; вѣдь здѣсь опять-таки логика бессильна, здѣсь опять область психологіи. Подпольный человѣкъ въ правѣ не принять этого нашего переживанія, какъ мы не принимаемъ его переживаній; оставимъ же его въ нравственномъ подпольѣ и отнесемся къ нему съ уваженiemъ, такъ какъ самъ же онъ училъ

*)Обращаемъ, кстати, вниманіе читателей на этотъ романъ, оставшійся, кажется, совершенно незамѣченнымъ. Если г. Н. Лопатинъ начинающій авторъ — какъ можно заключить изъ чисто вѣнчаной неопытности его пріемовъ, — то нельзя не удивляться сжатости мысли и силѣ чувства, съ какими написанъ этотъ его романъ.

нась «уважать великое безобразіе, великую неудачу, великое несчастіе»... (Почему только «великое»? — всяко!). Ибо, поистинѣ, великое несчастіе — имѣть атрофированнымъ чувство утвержденія чужого я... Это чувство — несомнѣнныи фактъ, не менѣе несомнѣнныи, чѣмъ абсолютный эгоизмъ подпольного человѣка. Идея противостоять идеѣ, фактъ противостоить факту; и мы, чаще всего безсознательно, склоняемся на ту сторону, которая соотвѣтствуетъ нашей духовной организації.

Все это приводить насъ къ чувству соціальности, какъ суммы утвержденыхъ чужихъ я, къ чувству, столь чуждому для подпольного человѣка. Этого чувства у него нѣть — такова психологія подпольного человѣка; она — фактъ, но изъ этого факта вовсе не слѣдуетъ, что онъ универсаленъ, необходимъ, что существуетъ онъ и только онъ. А между тѣмъ подпольный человѣкъ, устами Л. Шестова, требуетъ признанія за этимъ фактамъ, за своей подпольной психологіей, универсального значенія. *«Pereat mundus, fiam: для всѣхъ людей, въ концѣ концовъ, существуетъ только этотъ одинъ послѣдній законъ, — заявляетъ Л. Шестовъ; — ...но великие болѣе или менѣе смѣло выражаютъ его, а невеликіе — таять про себя. Законъ же остается одинъ для всѣхъ»* (курсивъ Л. Шестова). Не въ правѣ ли мы въ его универсальности видѣть признакъ его силы и признать поэтому, что «санкція истины» за героемъ подполья?» (III, 242). Нѣть, не въ правѣ, — можемъ отвѣтить мы, — и не въ правѣ по двумъ очень простымъ причинамъ. Во-первыхъ: какъ вамъ нравится эта ссылка на универсальность, какъ на «санкцію истины», со стороны мыслителя, который неустанно борется со всякими универсальными, общеобязательными истинами, который даже философію опредѣляетъ, какъ ученіе о ни для кого не обязательныхъ истинахъ (V, 128). И вдругъ — истина абсолютного эгоизма является общеобязательной, универсальной, закономъ для всѣхъ! Откуда намъ сіе? Тутъ дѣло не въ противорѣчіи, а въ характерности этого противорѣчія: борясь съ универсальностью, приходится въ то же время опираться на нее! Но это только къ слову; необходимо было отмѣтить, что ссылка на универсальность совсѣмъ не къ лицу подпольному человѣку. Во-вторыхъ — и это гораздо важнѣе — никакой универсальности мы въ данномъ случаѣ передъ собой не имѣмъ. И когда Л. Шестовъ вопрошааетъ насъ: «не слѣдуетъ ли въ абсолютномъ эгоизмѣ видѣть неотъемлемое и великое, да, великое (курсивъ Л. Шестова) свойство человѣческой природы?» (IV, 127), то мы на это отвѣчаемъ: великое это свойство или нѣть — обѣ этомъ пока спорить не будемъ, но что оно не «неотъемлемое», не универсальное, не всеобщее — это уже совершенно несомнѣнно. Психологія подпольного человѣка, покоящаяся на этомъ свойствѣ — фактъ, и мы его принимаемъ какъ та-ковой; но не менѣе «неотъемлемый» фактъ и психологія надпольного человѣка, съ его утвержденіемъ не только своего, но и чужого я. Соціальные инстинкты не менѣе сильны въ людяхъ, чѣмъ индивидуальные: это забываютъ тѣ, которые хотѣли бы сдѣлать абсолютный эгоизмъ закономъ для всѣхъ и обратить весь родъ людской въ явныхъ или тайныхъ подпольныхъ людей, въ подпольныхъ людей *de facto* или *in potentia*. Но это — покушеніе съ негодными средствами.

Противъ психологіи подпольного человѣка бессильны какіе бы то ни было логические аргументы, какъ бессильны они и во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда мы имѣмъ передъ собой разные типы мышленія или чувствованія. Вспомните великодѣльного Сергея Николаевича изъ горной обсерваторіи: чѣмъ можно опровергнуть его крайній объективизмъ? Ничѣмъ. Можно только противопоставить его трансцендентному объективизму нашъ имманентный субъективизмъ, который для Сергея Николаевича является настолько же неопровергимымъ. Такъ и въ этомъ случаѣ: психологіи подпольного человѣка мы противопоставляемъ настолько же несомнѣнную психологію надпольного человѣка. Свѣту ли провалиться или мнѣ чаю не пить? — ставить вопросъ подпольный человѣкъ и отвѣтаетъ: свѣту провалиться, а чтобы мнѣ чай всегда пить. (Гдѣ онъ будетъ пить чай, если свѣту провалится — этимъ вопросомъ подпольный человѣкъ не задается). Отвѣтъ надпольного человѣка какъ-разъ обратный: мнѣ

провалиться, но чтобъ всему свѣту всегда чай пить. *Pereat mundus, fiam*, пусть погибнетъ міръ, но да буду я, говорить подпольный человѣкъ; *peream, fiat mundus*, пусть погибну я, но да будетъ міръ, говорить надпольный человѣкъ. И въ этомъ — величайшее утвержденіе личности человѣка, величайшее проявленіе этическаго индивидуализма: кто душу свою погубить, тотъ спасеть ее...

Во всемъ этомъ подпольный человѣкъ видить только «общая идеи», «самопожертвованіе», «добро», «гуманность» и вообще всѣ тѣ старыя слова, которыя онъ привыкъ ставить въ ироническія кавычки. И онъ правъ: для него это только «слова, слова, слова», ибо не обладаетъ онъ тѣмъ чувствомъ, которое лежитъ въ основѣ этихъ словъ, чувствомъ утвержденія чужого я, чувствомъ соціальности. Но вѣдь такое чувство существуетъ, это — фактъ, и противъ этого факта бессильны всѣ подпольныя идеи. Абсолютный эгоизмъ — вѣдь это не только несознанный инстинктъ, но и «общая идея» (столь ненавистная подпольному человѣку); этическій индивидуализмъ — вѣдь это не только «общая идея», но и врожденный инстинктъ. Здѣсь идея стоить противъ идеи, фактъ противъ факта, переживаніе противъ переживанія; споръ становится излишнимъ, невозможнымъ. И да будетъ здѣсь, по евангельскому завѣту, наше слово «да, да» или «нѣть, нѣть», а что сверхъ того, то все равно бессильно дать перевѣсь той или иной точкѣ зрења. Передъ нами подпольная психологія и надпольная психологія; намъ остается только склониться на ту или на другую сторону. Третьяго пути нѣть, если не считать такимъ третьимъ путемъ трагическое положеніе буриданова осла...

XIV.

Насколько безповоротно приходитъ Л. Шестовъ къ подпольной психологіи, настолько же рѣшительно склоняемся мы къ психологіи надпольной, въ той ея модификаціи, которая ясна для прочитавшихъ предыдущая страницы. Мы стоимъ на почвѣ глубокаго индивидуализма, мы принимаемъ личность за вершину міра, но именно потому мы и не можемъ ограничиться утвержденіемъ только своего я, принимая за средство все остальное: этому противится непосредственное чувство. И какими страшными словами ни называйте вы это чувство — «моралью», «любовью къ ближнему», «категорическимъ императивомъ» и т. п., — какія ироническія кавычки ни ставьте, все же это чувство остается первичнымъ фактомъ, съ которымъ мы должны считаться, съ которымъ мы не можемъ не считаться. Подпольный человѣкъ пытается преодолѣть это чувство (если оно у него не атрофировано), пытается стать выше его, стать по ту сторону добра и злого, ибо, говорить онъ, чувство это («гуманность», «любовь къ ближнему», «добро» и т. п.) бессильно оправдать міръ, бессильно осмыслить хоть одну слезу. Да, это такъ; но что это доказывается? Только то, что нельзя искать въ «добрѣ» объективного оправданія жизни — мы помнимъ, какъ ярко освѣтилъ эту мысль Л. Шестовъ въ своей книгѣ о Толстомъ и Нитцше. И именно на такой точкѣ зрења стоить имманентный субъективизмъ, не признающій въ жизни никакого объективнаго смысла и видящій цѣль въ настоящемъ. Для нась, какъ и для Л. Шестова, ненавистны всѣ мистическія и позитивныя попытки оправданія настоящаго будущимъ, всѣ трансцендентныя утѣшенія, всѣ стремленія оправдать будущимъ добромъ настоящее зло; но все это нисколько не колеблетъ несомнѣнности факта утвержденія чужого я, нисколько не колеблетъ свойственнаго человѣку чувства соціальности.

Здѣсь лежитъ выходъ изъ подполья — для желающихъ выйти оттуда; здѣсь причина возможности тѣхъ соціальныхъ идеаловъ, которые такъ ненавистны подпольному человѣку. Для подпольного человѣка всякий соціальный идеалъ есть попытка оправдать будущимъ настоящее; вотъ почему онъ ненавидитъ и презираетъ всѣ эти идеалы. Пусть наши соціальные идеалы станутъ когда-нибудь дѣйствительностью, пусть на землѣ воцарятся миръ, любовь и справедливость; но, спрашивается, «развѣ

будущее счастье можетъ искупить несчастье прошлого и настоящего? Развѣ судьба Макара Дѣвшкина, котораго оплевываютъ въ XIX столѣтіи, становится лучше оттого, что въ XXII столѣтіи никому не будетъ дозволено обижать своего ближняго? Не только не лучше, а хуже. *Нѣть, если уже на то пошло, такъ пустъ же навѣки несчастье живетъ среди людей, пустъ и будущихъ Макаровъ оплевывають*» (III, 99; курсивъ нашъ). Мы уже приводили эти слова Л. Шестова, въ которыхъ такъ характерно выражается подпольная философія. Ихъ неприкрыты, голый смыслъ таковъ: если я несчастливъ, то какъ смѣютъ люди быть счастливыми? (Замѣтимъ въ скобкахъ, что теперь читателю должна быть ясна уже отмѣченная нами связь между подпольной философіей и темой андреевского разсказа «Тьма»). Если я несчастливъ теперь, то пустъ же всѣ люди будутъ несчастны навѣки; а потому — долой всякие соціальные и гуманные идеалы и да здравствуетъ безнадежность!

Мы знаемъ, что такая философія, такая психологія — возможны. Но мы знаемъ также, что кромѣ этой философіи и психологіи озлобленного человѣка есть и другая, провозглашающая: *regeam, fiat mundus!* Это не значитъ, конечно, чтобы я считалъ себя только средствомъ, только кирпичемъ для зданія Zukunftstaat'a; это значитъ, что социальный идеалъ есть часть моего общаго, субъективно-телеологического идеала. Цѣль жизни — въ настоящемъ, объективного смысла жизни нѣть; но въ мои субъективные цѣли входитъ борьба за лучшее будущее человѣчества: *не потому, чтобы это лучшее будущее оправдывало печальное настоящее и прошлое, а потому что къ этому приводитъ меня мое непосредственное чувство утверждения чужого я, т.-е. инстинктъ соціальности, чувство любви къ человѣку.* Базаровъ возненавидѣлъ мужика при мысли, что мужикъ этотъ черезъ двѣsti лѣтъ будетъ въ бѣлой избѣ жить, а изъ него, Базарова, въ это время лопухъ будетъ расти: отъ насъ далека эта подпольная озлобленность, ибо сильнѣе ея наше непосредственное чувство. У кого этого непосредственного чувства нѣть, тотъ, конечно, никогда не выйдетъ изъ нравственного подполья на свѣтъ божій. Смыслъ нашей жизни не въ томъ, что мы боремся за счастье грядущихъ поколѣній; субъективный смыслъ нашей жизни — въ ней самой, въ непосредственныхъ переживанияхъ: это для насъ несомнѣнно. Но какимъ образомъ отсюда можно вывести, что, слѣдовательно, эта борьба за грядущее счастье не должна входить въ наши непосредственные переживания — это для насъ непонятно.

Соціальность — вотъ рѣзкая черта, отдѣляющая насъ отъ психологіи подпольного человѣка. Но социальность эта для насъ не оправдываетъ мїра, не осмысливаетъ жизни и въ этомъ отношеніи мы еще болѣе рѣзко расходимся съ тѣми изъ надпольныхъ позитивистовъ или мистиковъ, которые пытаются оправдать жизнь земную или небесную Zukunftstaat'омъ. Соціальность для насъ не конечная цѣль, а вѣчно-текущій процессъ, одна изъ суммарныхъ частей субъективно осмысленной жизни. И это признаніе субъективного смысла жизни, признаніе цѣли не въ будущемъ, а настоящемъ — признаніе, столь ненавистное громадному большинству и мистиковъ и позитивистовъ — сближаетъ насъ съ философіей подпольного человѣка. Вслѣдъ за Л. Шестовымъ, авторомъ книги о Шекспирѣ, мы признаемъ субъективную осмысленность личной трагедіи, хотя въ то же время видимъ и всю безмысленность драмы; выше мы выяснили, что именно драма, *міаоу*, случай — дѣлаютъ для насъ совершенно невозможной объективную осмысленность жизни человѣка. Будущее для насъ не оправдываетъ и не осмысливаетъ настоящаго, а потому цѣль мы видимъ не въ будущемъ, но именно въ этомъ настоящемъ, являющемся самоцѣлью. Любая личность, говоря словами Л. Шестова, можетъ быть основаніемъ перпендикуляра къ линіи времени; и именно по этому перпендикуляру, а не по линіи времени, идетъ субъективно-осмысленный процессъ развитія, въ которомъ каждый данный моментъ есть самоцѣль. Стоя на этой точкѣ зреїнія, мы не будемъ оправдывать имманентное настоящее трансцендентнымъ будущимъ, а пріймемъ это настоящее, пріймемъ мїръ: «все

въ жизни лишь человѣческое, слишкомъ человѣческое, и въ этомъ спасеніе, надежда, новая заря», — слышали мы отъ Л. Шестова.

Мы принимаемъ міръ — это опять сближаетъ насъ съ подпольной философіей; но сближеніе это чисто вѣнчнее. Мы опять вынуждены отстаивать свое принятіе міра и противъ людей трагедіи и противъ людей обыденности. Подпольный человѣкъ требуетъ отъ насъ не только принятія міра, но и прославленія всѣхъ его ужасовъ, любви ко всему непоправимому; читатель помнить, почему мы отказались раздѣлить такой *amor fati*. Но тутъ къ намъ подходитъ типичный представитель обыденности, благонамѣренный чиновникъ Негодящевъ (изъ романа Помяловскаго «Мѣщанско счастье») и тоже требуетъ принятія міра безъ дальнихъ разсужденій: «прочь вопросы! Ихъ жизнь разрѣшить, только бери ее такъ, какъ она есть:... безъ смысла жизнь — живи безъ смысла, худо жить — живи худо»... Мы не хотимъ оскорблять подпольного человѣка, сопоставляя его философію съ этой философіей «трансцендентального чиновничества», по ядовитому слову Помяловскаго; но нельзя не указать на то общее, что ихъ сближаетъ: это общее — *пассивность* по отношенію къ жизни, къ принимающему міру. Л. Шестовъ, напримѣръ, категорически заявляетъ, что *amor fati* неизбѣжно влечетъ за собой квѣтизмъ (II, стр. XIV). Здѣсь снова, послѣ вѣнчняго сближенія, мы глубоко расходимся по существу съ подпольной философіей; и снова раздѣляющей чертой является соціальность, во имя которой философія имманентнаго субъективизма должна быть глубоко *активной* въ своемъ отношеніи къ міру, должна быть философіей не покоя, а движения и борьбы за субъективно-teleологические нравственные и социальные идеалы. Несомнѣнно: нашъ путь и путь подпольного человѣка расходятся въ разныя стороны — теперь это достаточно ясно; къ тому же его путь лежить въ подпольѣ, а нашъ по землѣ; но пути эти перекрещаются въ нѣсколькихъ мѣстахъ, и на перекресткахъ этихъ мы можемъ время отъ времени сходиться съ подпольнымъ человѣкомъ. И какъ бы мы ни расходились въ концѣ концовъ съ подпольной психологіей и философіей, но для насъ всегда останутся глубоко цѣнными личная трагедія подпольного человѣка, его мучительные поиски за правдой жизни, за смысломъ жизни, его смѣлый взглядъ въ глаза жизни и смерти, его непримиримый индивидуализмъ, его отказъ отъ всякихъ трансцендентныхъ утѣшений. Все это дорого для насъ и въ творчествѣ Л. Шестова, все это придаетъ его философско-художественному творчеству неумирающее значение, все это дѣлаетъ творчество Л. Шестова насыщеннымъ и необходимымъ для каждого изъ насъ. Остаться съ Л. Шестовымъ не можетъ никто, но пройти черезъ него долженъ всякий.

XV.

Значеніе Л. Шестова въ русской литературѣ, въ исторіи русской мысли вполнѣ определяется всѣмъ сказаннымъ выше. Подобно Т. Сологубу, Л. Шестовъ — одинокая вершина, не примыкающая къ той горной цѣпи, которая, соединенная прочной преемственной идейной связью, проходить черезъ всю русскую литературу. Быть можетъ, и для Т. Сологуба и Л. Шестова можно установить эту идейную связь, если смотрѣть на нихъ, какъ на *идеологовъ декадентства*; однако развитіе этого взгляда, какъ оно ни интересно, вывело бы насъ далеко за предѣлы нашей задачи. Но если даже Л. Шестовъ и былъ идеологомъ декадентства, то все же онъ слишкомъ своеобразенъ, слишкомъ самъ по себѣ, все же онъ остается одинокой вершиной, доступъ на которую открыть, по его же выраженію, «*nur f眉r die Schwindelfreie*». Мы не должны бояться головокруженія и должны слѣдовать за Л. Шестовымъ по узкимъ, трудно проходимымъ, лежащимъ надъ пропастями тропинкамъ; пройти этотъ путь, сказали мы, долженъ всякий, оставаться же съ Л. Шестовымъ не можетъ никто именно потому, что Л. Шестовъ такой одинокій, такой своеобразный писатель. Каждая его книга — съ этого утвержденія мы

начали знакомство съ Л. Шестовымъ — есть книга «für Alle und Keinen»; для всѣхъ — такъ какъ Л. Шестовъ ставить вопросы мучительные для всѣхъ; для никого — такъ какъ слишкомъ своеобразны отвѣты, которые даетъ Л. Шестовъ. «Учениковъ» и «школы» у Л. Шестова, къ счастью для него, никогда не будетъ. Но зато, къ несчастью, у него можетъ быть нѣчто худшее, чѣмъ «школа» и «ученики»: у него можетъ явиться стадо послѣдователей, которые сдѣлаютъ съ философіей трагедіи нѣчто въ родѣ того, что сдѣлали съ идеями Нитцше безчисленныя стада «нитцшеанцевъ» разныхъ сортовъ и степеней...

Самъ Л. Шестовъ прошелъ черезъ Нитцше такъ же, какъ прошелъ раньше че-резъ Достоевскаго и Толстого; но никогда онъ не былъ «нитцшеанцемъ». Онъ пережилъ Нитцше, онъ перечувствовалъ и передумалъ его чувства и мысли въ глубинѣ своей души, онъ даль намъ своеобразную — быть можетъ, лучшую во всей міровой литературѣ — интерпретацію идеи Нитцше, но «нитцшеанцемъ» онъ не былъ никогда, никогда не выкраивалъ онъ изъ Нитцше ярлыки и шаблоны на всѣ случаи жизни, никогда не проповѣдывалъ той упрощенной морали, которой стада нитцшеанцевъ загрязнили выстраданныя мысли Нитцше. И то, что случилось не такъ давно съ Нитцше, теперь, повидимому, станетъ участью Л. Шестова. Конечно, у насъ не будетъ цѣлыхъ стадъ «шестовцевъ», но по нѣкоторымъ признакамъ можно судить, что его собираются провозгласить и уже провозглашаютъ своимъ духовнымъ отцомъ всѣ современные эпигоны декадентства, какъ въ области художественной, такъ и въ области критической мысли. Быть можетъ, Л. Шестовъ былъ безсознательнымъ идеологомъ декадентства, но теперь выродившіеся эпигоны декадентства хотятъ провозгласить его своимъ идеологомъ; его хотятъ считать своимъ «учителемъ» всѣ тѣ, у кого на недѣль семь пятницъ, у кого мысли играютъ въ чехарду (— вѣдь самъ Л. Шестовъ провозглашаетъ «апоѳеозъ безпочвенности!»), всѣ тѣ, у кого никогда не бывало никакихъ нравственныхъ запросовъ и сомнѣній (— вѣдь самъ Л. Шестовъ борется съ «добромъ» и «гуманностью!»), всѣ тѣ, у кого отроду не было двухъ послѣдовательныхъ мыслей (— вѣдь самъ Л. Шестовъ «добивается противорѣчій!»), всѣ тѣ, которые не доросли ни до какого міровоззрѣнія, которые хотятъ избавить себя отъ обязанности мыслить логически, которые хотятъ имѣть право *bona fide* воспѣвать «похвалу глупости»...

Среди современныхъ эпигоновъ декадентства не мало такихъ людей — не въ именахъ дѣло; и всѣ они хотѣли бы примазаться къ имени Л. Шестова, чтобы именемъ его невозбранно творить всякую моральную и логическую пакость... То, что перестрадалъ, перечувствовалъ, передумалъ Л. Шестовъ, эти господа хотятъ надѣть на себя, какъ готовое платье въ магазинѣ; они хотятъ имѣть право на опошленные ими выводы философіи трагедіи, будучи всего на всѣхъ авторами философіи водевиля. Считать своимъ «учителемъ» или идеологомъ Л. Шестова они имѣютъ такое же право, съ какимъ безчисленные нитцшеанцы могли считать себя учениками Нитцше. И то, что нѣкогда сказалъ о своихъ «ученикахъ» Нитцше, то Л. Шестовъ можетъ съ не меньшимъ основаніемъ повторить обѣ этихъ своихъ послѣдователяхъ: «мнѣ нужно обвести оградой свои слова и свое ученіе, чтобы въ нихъ не ворвались свиньи»... Эти «свиньи», скажемъ мы словами Л. Шестова, прослышиали, что кто-то почему-то возсталъ противъ логики, противъ морали и вообразили себѣ, что это онъ поднялся на защиту ихъ дѣла... И Л. Шестову слѣдовало бы поторопиться обвести оградой свои слова отъ этихъ незванныхъ друзей и союзниковъ. Или, можетъ быть, онъ убѣжденъ, что отъ такихъ «учениковъ» не спасеть никакая ограда? По его меланхолическому замѣчанію, ««свиньи» проникаютъ всюду, ибо имъ и черезъ ограду перебираться не нужно»... (II, 177). Въ такомъ случаѣ другое дѣло...

Но все это только къ слову; никакія «свиньи» не могутъ запятнать своимъ признаніемъ и помѣшать намъ высоко цѣнить философско-художественное творчество Л. Шестова. И эта высокая оцѣнка значенія Л. Шестова тѣмъ болѣе безпристрастна,

что мы, какъ видѣль читатель, расходимся съ нимъ въ очень и очень многомъ. Л. Шестовъ воспѣваетъ «божественную безпочвенность», мы ищемъ твердую почву подъ ногами; Л. Шестовъ ненавидить и разрушаетъ «міровоззрѣніе», мы строимъ его: во всемъ этомъ мы съ нимъ принципіальные, непримирамые противники. «Чѣмъ занимается большинство писателей? — ставить вопросъ Л. Шестовъ и иронически отвѣчаетъ: — строятъ міровоззрѣнія и полагаютъ при этомъ, что занимаются необыкновенно важнымъ, священнымъ дѣломъ!» (V, 28). Этимъ «священнымъ дѣломъ», какъ ясно изъ всего предыдущаго, занимается и авторъ настоящей книги, а Л. Шестовъ считаетъ своимъ «священнымъ долгомъ» вести борьбу со всякими міровоззрѣніями: это ли не діаметральная противоположность взглядовъ, это ли не коренное и непримирамое противорѣчіе! И однако это не мѣшаетъ намъ чрезвычайно высоко цѣнить міровоззрѣніе — да, *міровоззрѣніе* Л. Шестова. А что у Л. Шестова, этого неутомимаго *Weltanschauungenfresser'a* (это двухъяршинное и не поддающееся переводу нѣмецкое слово такъ хорошо характеризуетъ автора «Апоѳеоза безпочвенности!»), что у Л. Шестова, говоримъ мы, есть свое міровоззрѣніе, съ вполнѣ опредѣленными принципами и методологическими пріемами — это мы считаемъ уже достаточно доказаннымъ (см. выше гл. XI).

Но какъ бы ни расходились наши міровоззрѣнія, мы всегда будемъ помнить, что въ міровоззрѣніи Л. Шестова ставится и своеобразно рѣшается безконечно важная проблема о смыслѣ человѣческой жизни; мы будемъ помнить, что этотъ вопросъ о смыслѣ жизни является центральнымъ вопросомъ всего творчества Л. Шестова, что жизнь и смерть онъ разсматриваетъ подъ аспектомъ случайности, и то борется съ этимъ аспектомъ-фантомомъ, то подчиняется ему и хочетъ любить его; мы будемъ помнить, что какъ бы ни рѣшалъ Л. Шестовъ вопросъ о смыслѣ жизни, но всегда для него цѣлью являлась человѣческая личность, цѣлью являлись человѣческія переживанія настоящаго, а не будущаго. И все это выражено Л. Шестовымъ такъ законченно и съ такою силою мысли и чувства, что только нашей величайшей литературной беззаботностью можно объяснить то обстоятельство, что въ то время какъ Л. Андреева въ широкой публикѣ знаютъ всѣ, а Т. Сологуба многіе — Л. Шестова почти совсѣмъ не знаютъ, почти совсѣмъ не читаютъ...

Имманентный субъективизмъ. (Вмѣсто заключенія).

I.

Постановка вопроса о смыслѣ жизни и рѣшеніе этого вопроса — такова главная цѣль настоящей книги. Изучая выше художественно-философское творчество Т. Сологуба, Л. Андреева и Л. Шестова, мы мало-помалу приходили въ то же самое время къ некоторому законченному циклу идей, къ нѣкоторому «міровоззрѣнію», отвѣчающему на вопросъ о смыслѣ существованія. Намъ осталось теперь связать воедино всѣ эти попутно разбросанные нами замѣчанія, положенія, выводы и дать въ видѣ одного цѣлаго это воззрѣніе имманентного субъективизма, какъ мы его назвали выше. Этимъ мы и заключимъ нашу работу.

Но по пути къ этому передъ нами возникаетъ еще одна задача, которую можно опредѣлить какъ генетическое оправданіе имманентного субъективизма. Мы хотимъ показать, что имманентный субъективизмъ имѣть за собою долгій путь развитія въ исторіи русской общественной мысли, что онъ не случайная бутада, не «плѣнной

мысли раздраженье», а вполнѣ последовательно и преемственно развивавшееся міровоззрѣніе. Конечно, это преемственное развитіе не есть еще «санкція истины», но для насъ важно показать связь имманентнаго субъективизма съ общимъ развитіемъ русской общественной мысли; важно потому, что мы, какъ извѣстно читателю, стоимъ на почвѣ соціальности. Имманентный субъективизмъ не есть обособленное, далекое отъ жизни, одинокое, подпольное міровоззрѣніе; міровоззрѣніе это связывает личность съ міромъ, настояще — съ прошлымъ и будущимъ. И мы ищемъ въ прошломъ подтвержденія нашихъ взглядовъ, мы учимся избѣгать ошибокъ прошлаго, мы обязаны прошлому всѣмъ нашимъ міровоззрѣніемъ, какъ ни переработано оно нашей мыслью, нашими переживаниями.

Этотъ мимолетный взглядъ на прошлое покажетъ намъ, что кромѣ мистического и позитивнаго рѣшенія вопроса о смыслѣ жизни, въ исторіи русской мысли минувшаго вѣка существовало, шло и развивалось то рѣшеніе этого вопроса, то міровоззрѣніе, которое мы старались сдѣлать яснымъ на предыдущихъ страницахъ. Вопросъ о смыслѣ жизни въ русской литературѣ — эта интереснѣйшая тема могла бы лечь въ основу обширной исторіи русской литературы, если бы историки ея не предпочитали проторенныхъ и избитыхъ тропинокъ; мы же не имѣемъ возможности дать здѣсь даже и общаго очерка на эту тему *). Мы ограничимся лишь однимъ эпизодомъ изъ исторіи русской мысли, эпизодомъ наиболѣе характернымъ: прослѣдимъ за первой на философской почвѣ смѣнной мистической теоріи прогресса — позитивной, а ихъ обѣихъ — міровоззрѣніемъ имманентнаго субъективизма; затѣмъ въ самыхъ общихъ чертахъ отмѣтимъ дальнѣйшую эволюцію этого взгляда. Читатель увидить тогда, что нашъ взглядъ есть лишь развитіе того, что въ теченіе всего девятнадцатаго вѣка сознательно и безсознательно провозглашали и выражали своимъ творчествомъ многочисленные представители русской интеллигенціи, русской литературы. И когда мы окинемъ взглядомъ исторію русской мысли, то убѣдимся, какое цѣнное наслѣдство отъ прошлаго имѣемъ мы, стоящіе на почвѣ имманентнаго субъективизма; мы убѣдимся также, что «последнее слово» въ вопросе о смыслѣ жизни, сказанное Ф. Сологубомъ, Л. Андреевымъ и Л. Шестовымъ, является тѣсно связаннымъ со всѣмъ прошлымъ русской литературы. И тогда мы заключимъ нашу работу скатой характеристикой нашего міровоззрѣнія, богатые сознаніемъ, что міровоззрѣніе это тѣсно связано съ лучшимъ изъ прошлаго, и богатые надеждой, что поэтому ему предстоить и широкое будущее.

II.

Родоначальникомъ имманентнаго субъективизма въ русской литературѣ является Герценъ. Какими путями русская мысль пришла къ этой теоріи — мы подробно говорили объ этомъ въ другомъ мѣстѣ **), такъ что теперь отмѣтимъ только, какъ на этихъ путяхъ рѣшали (а еще чаще обходили сторонкой) вопросъ о смыслѣ существованія.

Обращаемся сразу къ тому поколѣнію русской интеллигенции, которое впервые вооружилось серьезными философскими знаніями для рѣшенія вопроса о смыслѣ жизни человѣка, жизни человѣчества.

*) Для того, кто знакомъ съ нашей «Исторіей русской общественной мысли», должно быть ясно, что въ ней исторія русской литературы рассматривается съ точки зрењія, родственной изложенному выше. Тамъ аріадниной нитью служить индивидуализмъ, въ смыслѣ примата личности; это одна изъ модификацій имманентнаго субъективизма. Вопросу о цѣли въ настоящемъ, о субъективизмѣ, о телеологизмѣ, объ объективной и субъективной цѣлесообразности, о теоріяхъ прогресса — тамъ посвящено много страницъ, вопросъ о смыслѣ жизни заполняетъ тамъ почти цѣликомъ главы о Герценѣ, о Чеховѣ и другія. Все это объясняетъ наши нижеслѣдующія частыя ссылки на «Ист. русск. общ. мысли», ибо тѣсная идеяная связь этой «Исторіи» и настоящей книги есть фактъ, который намъ хотѣлось бы особенно подчеркнуть.

**) «Исторія русской общественной мысли», т. I, гл. VII-VIII, особенно страницы 360-365 (по 2-му изд.). То, что мы называли тамъ «философско-историческимъ индивидуализмомъ», есть именно то самое, что теперь обозначено нами какъ имманентный субъективизмъ.

Оружіє это было шеллінгіанство, последователями котораго въ двадцатыхъ годахъ были «любомудры» — Веневитиновъ, кн. В. Одоевскій, Иванъ Кирѣвскій, Кошелеў и др. (предшественники позднѣйшаго славянофильства), а въ тридцатыхъ годахъ — Станкевичъ и его друзья. Для Шеллинга целесообразность имѣть не субъективное, а объективное значеніе, она существует не только въ нашемъ сужденіи, но и во всемірномъ процессѣ, въ «міровой душѣ» — такъ называлъ Шеллингъ природу. Развитіе міра есть постепенное откровеніе абсолютного, целесообразное движеніе къ тождеству свободы и необходимости; въ трагедіи человечества мы не марionетки, а творцы своихъ ролей, ведущіе действие къ сліянію съ Богомъ — къ концу всемірной исторіи. Все эти положенія геніальной философіи Шеллинга были усвоены нашими шеллінгіанцами двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, впервые обосновавшими на философской почве мистическую теорію прогресса. Оправданіе міра они искали въ области трансцендентнаго; видя нелепость жизни, ея ужасы, безсмыслицу, они были уверены, что всему этому не можетъ не быть въ конце концовъ полнаго объясненія и оправданія, ибо — «es herrschet eine Allweise Gute über die Welt» (любимая фраза Станкевича). Надъ міромъ царить Премудрая Благость, а потому все зло жизни, всѣ ужасы смерти, вся безсмыслица случая — все это получаетъ свое объясненіе и оправданіе при свѣтѣ философской мысли, философской вѣры. «Меня угѣшаетъ, мой другъ, вѣра въ кроткую десницу, распостертую надъ главой созданья. Слѣпая Анаукѣ не тяготѣеть надъ бытіемъ вселенной, но міры падаютъ, шумятъ океаны, борются воли людей; а паденіе міровъ, стремленіе волнъ и борьба волей суть, можетъ быть, вздохи Единаго, Безпредѣльнаго, Всеблагого! Благодарю Провидѣніе»... Эти слова Станкевича очень характерны для русскихъ шеллінгіанцевъ двадцатыхъ-тридцатыхъ годовъ; въ нихъ мы видимъ трансцендентное оправданіе міра на почвѣ признанія объективной цѣлесообразности мірового процесса.

На этой же почвѣ признанія объективной осмысленности міра Станкевичъ и его друзья остались и въ послѣдующемъ періодѣ — періодѣ своего гегельянства, когда весь міръ представлялся имъ въ видѣ одной саморазвивающейся Идеи. «Истина только въ объективности» — провозгласилъ Бѣлинскій вслѣдъ за Бакунинымъ, и исходя отсюда, пришелъ къ своей знаменитой теоріи «разумной дѣйствительности»; онъ принялъ міръ въ его ужасахъ, ибо оправданіемъ ему служилъ абсолютный, саморазвивающійся Духъ. Друзья Бѣлинского (Бакунинъ, Станкевичъ и др.) понимали, что «Bessarione furioso» неправильно толкуетъ гегельянскую дѣйствительность, но и для нихъ абсолютный Духъ служилъ оправданіемъ міру — на этой почвѣ сходились всѣ русскіе гегельянцы. «...Они не понимаютъ, что такое «дѣйствительность», — писалъ Грановскому Станкевичъ про Бѣлинского и его сторонниковъ: — ...о дѣйствительности пусть прочтутъ въ «Логикѣ» (Гегеля), что дѣйствительность въ смыслѣ непосредственности, внѣшняго бытія — есть случайность; что дѣйствительность, въ ея истинѣ, есть Разумъ, Духъ»... Итакъ, какъ ни понимать дѣйствительность, все равно объективный смыслъ мірового процесса есть основной фактъ, съ высоты котораго наши гегельянцы оправдывали, принимали, понимали міръ. Когда къ умирающему Станкевичу зашелъ одинъ его знакомый, художникъ Марковъ (это имя слѣдовало бы сохранить отъ забвенія, такъ какъ въ Марковѣ читатель сейчасъ увидить человѣка вѣчнаго карамазовскаго типа, непримиримаго субъективиста, противника всѣхъ гегельянскихъ метафизическихъ утѣшеній), когда этотъ Марковъ, говоримъ мы, «закидалъ» Станкевича философскими вопросами и сомнѣніями о смыслѣ зла въ мірѣ, обѣ оправданіи міра, то на все это Станкевичу «было ему трудно отвѣтить»... «Я никогда почти — признается Станкевичъ — не дѣлаю себѣ такихъ вопросовъ. Въ мірѣ господствуетъ духъ, разумъ: это успокаиваетъ меня насчетъ всего. Но его (Маркова) требованія не эгоистичекія — нѣть! Существованіе одного голоднаго нищаго довольно для него, чтобы разрушить гармонію природы. Тутъ трудно отвѣтить что-нибудь, тутъ помогаетъ характеръ, по-

могаетъ невольная вѣра, основанная на знаніи разумнаго начала»... Да, тутъ трудно отвѣтить что-нибудь, тутъ объективистамъ всегда приходится ссылаться на вѣру... И не характерно ли, что искушенный въ философской мудрости Станкевичъ теряется передъ категорически поставленнымъ вопросомъ о сочетаніи зла съ «гармоніей природы»?

Эта теорія объективной цѣлесообразности, объективной осмысленности жизни стала, наконецъ, слишкомъ тяжелой для нашихъ гегельянцевъ; мало-по-малу они стали чувствовать, что задыхаются на этой своей слишкомъ возвышенной философской позиції. Протестъ противъ объективизма нарасталъ постепенно. Сперва, еще въ разгаръ увлеченія гегельянствомъ, мы находимъ у того же Станкевича легкую иронію надъ объективной точкой зрењія. Напримѣръ: «...какія чувства волнуютъ твою морю подобную душу? спросишь ты. Гмъ! Душа — что такое душа? — *Reflexion in sich*. Что море? — *Reflexion in anderes*. Солнце соединило атомы на радость и горе, и это единеніе называется: рабъ божій Николай»... Эта почтительная иронія не помѣшала Станкевичу оставаться до смерти убѣжденнымъ гегельянцемъ, объективистомъ, вѣрующимъ въ объективную цѣлесообразность и въ объективный смыслъ жизни; окончательно разорвать съ гегельянствомъ, съ мистической теоріей прогресса суждено было Бѣлинскому.

Какъ и почему Бѣлинскій отшатнулся отъ объективизма, какъ проклялъ онъ то Общее, на которое раньше возлагалъ всѣ надежды и въ которомъ видѣлъ смыслъ и оправданіе всего — объ этомъ намъ приходилось уже говорить въ другомъ мѣстѣ *). Отказавшись отъ метафизическихъ утѣшеній трансцендентнымъ, Бѣлинскій сперва впаль въ холодное отчаяніе, которое прорывалось у него и позднѣе — именно потому, что онъ не былъ въ состояніи найти сразу точку опоры. Ему все казалось, что разъ въ жизни нѣть объективной целесообразности, то нѣть и никакой. «Жизнь — ловушка, а мы — мыши; инымъ удается сорвать приманку и выйти изъ западни, но большая часть гибнетъ въ ней, а приманку развѣ понюхаетъ... Глупая комедія, чортъ возьми! Будемъ же пить и веселиться, если можемъ, нынѣшній день нашъ — вѣдь нигдѣ на нашъ вопль нѣту отзыва!»... Пока у людей есть въ запасѣ метафизическая утѣшенія, вѣра, то они могутъ переносить зло и ужасы жизни; нѣть этой вѣры — и лучшіе изъ людей «молча и гордо, твердымъ шагомъ идутъ въ ненасытимое жерло смерти... Трагическое положеніе, воскликнешь ты съ улыбкой торжества (Бѣлинскій все это пишетъ Боткину). Дитя, полно тебѣ играть въ понятія, какъ въ куклы! Твое трагическое — безсмыслица, злая насмѣшка судьбы надъ бѣднымъ человѣчествомъ!»

Объективнаго смысла въ жизни нѣть, это ясно теперь Бѣлинскому; а разъ нѣть объективнаго смысла, то нѣть и никакого: зачѣмъ все это, когда все умреть, и вы, и я, и горы? — вопрошаешь, какъ помнимъ, одинъ изъ андреевскихъ героевъ. Въ этомъ переходномъ настроеніи, близкомъ къ непріятію міра, былъ въ то время и Бѣлинскій. «Я не понимаю, къ чему все это и зачѣмъ: вѣдь всѣ умремъ и стнемъ — для чего-жъ любить, вѣрить, надѣяться, страдать, стремиться, страшиться? Умираютъ люди, умираютъ народы, умреть и планета наша»... И всѣ эти мысли Бѣлинскій высказываетъ въ томъ самомъ 1840 году, когда начинавшійся разрывъ съ «Егоромъ Федорычемъ Гегелевымъ» заставилъ его отказаться отъ вѣры въ объективную целесообразность, въ объективную осмысленность жизни, въ основы положенія того, что мы условно назвали мистической теоріей прогресса.

Но отказавшись отъ всего этого и послѣ краткаго периода отмѣченныхъ выше колебаній, Бѣлинскій пришелъ не къ имманентному субъективизму, а къ позитивной теоріи прогресса: слишкомъ страшно было совершенно отречься отъ надежды на возможность объективнаго смысла жизни; лучше было возложить упованіе на свѣтлое будущее человѣчества и этимъ свѣтлымъ будущимъ освѣтить и освятить мракъ на-

*) «Ист. русск. общ. мысли», т. I, гл. VI, особенно стр. 268-273.

стоящаго: «мы должны страдать, чтобы нашимъ внукамъ было легче жить»... Здѣсь Бѣлинскій сошелся съ тѣмъ теченіемъ русской мысли, которое уже съ начала тридцатыхъ годовъ имѣло своими представителями Герцена и его друзей и которое характеризовалось идеалами соціализма, въ формѣ сенъ-симонизма сперва и фурьеизма позднѣе. Достаточно извѣстно, какъ Бѣлинскій въ началѣ сороковыхъ годовъ съ обычной своей страстью проповѣдавъ и исповѣдавъ это ученіе соціализма, которое стало для него «идею идеи, бытіемъ бытія»; въ немъ онъ видѣлъ оправданіе міра, объективный смыслъ жизни. Не будемъ останавливаться на этомъ періодѣ вѣры Бѣлинскаго въ позитивную теорію прогресса, но замѣтимъ, что во второй половинѣ сороковыхъ годовъ онъ уже охладѣлъ къ соціализму, хотя социальность и осталась на всегда его девизомъ. Это охлажденіе объясняется между прочимъ (если не главнымъ образомъ) пониманіемъ безсилія какой бы то ни было позитивной теоріи прогресса оправдать міръ, отвѣтить на карамазовскіе вопросы. Самъ того не сознавая, Бѣлинскій все чаще и чаще сходилъ съ зыбкой почвы признанія объективной осмысленности жизни и становился на точку зрѣнія имманентнаго субъективизма. Уже въ своемъ знаменитомъ письмѣ (отъ 1-го марта 1841 г.), въ которомъ окончательно былъ сформулированъ разрывъ съ Гегелемъ, Бѣлинскій требовалъ отчета о каждомъ изъ братій по крови — и мы помнимъ, какъ комментируетъ Л. Шестовъ эту знаменитую фразу. Здѣсь начало если не міровоззрѣнія, то настроенія имманентнаго субъективизма, и съ этихъ поръ настроенія эти не перестаютъ звучать у Бѣлинскаго. «Что мнѣ въ томъ, что моимъ или твоимъ дѣтямъ будетъ хорошо, если мнѣ скверно, и если не моя вина въ томъ, что мнѣ скверно?» Теперь Бѣлинскій понимаетъ, что «въ каждомъ моментѣ человѣка есть современная этому моменту потребности и полное ихъ удовлетвореніе», что для оправданія настоящаго безсмысленно ссылаться на будущее; теперь онъ соглашается, что никакое будущее совершенство, ни земное, ни небесное, не искупаетъ безсмыслицы несовершенства настоящаго времени, что осмысливать настоящее несовершенство человѣческой жизни можно только настоящимъ же. «Совершенство есть идея абстрактнаго трансцендентализма, и потому оно подлѣйшая вещь въ мірѣ, — писалъ Бѣлинскій уже за годъ до смерти. — Человѣкъ смертенъ, подверженъ болѣзни, голоду, долженъ отстаивать съ бою жизнь свою — это его несовершенство, но имъ-то и великъ онъ, имъ-то и мила и дорога ему жизнь его»...

Одни эти замѣчательныя слова показываютъ намъ, какъ близко подошелъ Бѣлинскій къ міровоззрѣнію имманентнаго субъективизма, охладѣвъ и къ мистической и къ позитивной теоріямъ прогресса. Почти въ это же самое время Герценъ впервые и съ блестящей ясностью формулировалъ эту новую точку зрѣнія въ своей геніальной книжѣ «Съ того берега»; послѣ двухъ десятилѣтій страстной вѣры въ «совершенство», въ саморазвивающуюся природу и идею, въ оправданіе настоящаго будущимъ, русская мысль пришла къ имманентному субъективизму. И геніальнымъ выразителемъ этого міровоззрѣнія былъ Герценъ.

III.

На почвѣ «соціальности» Герценъ твердо стоялъ еще съ самаго начала тридцатыхъ годовъ. Но какъ-разъ къ тому времени, когда Бѣлинскій въ началѣ сороковыхъ годовъ провозгласилъ своимъ девизомъ «соціальность», Герценъ сталъ мало-по-малу — сначала незамѣтно для самого себя — создавать міровоззрѣніе имманентнаго субъективизма. Оно складывалось въ его сознаніи постепенно — мы можемъ убѣдиться въ этомъ, читая замѣчательный герценовскій дневникъ 1842-1845 гг. То тамъ, то сямъ мимоходомъ касается Герценъ вопроса о цѣли жизни, вопроса о случаѣ и случайности; ставить вопросъ, мелькомъ отвѣтывать на него, черезъ нѣсколько времени снова возвращается къ нему и снова даетъ прежній отвѣтъ, одинаково далекій и отъ мистической

и отъ позитивной теоріи прогресса. Въ спорѣ со славянофилами, типичными представителями мистической теоріи прогресса, Герценъ уже вполнѣ ясно подчеркивалъ основное положеніе имманентнаго субъективизма.

Это было еще въ 1842 году. Но только пятью годами позднѣе Герценъ окончательно сформулировалъ свои воззрѣнія на смыслъ жизни человѣка и человѣчества, на случай, на целесообразность; онъ сдѣлалъ это въ первой главѣ своей книги «Съ того берега». Эта удивительная книга — ее и самъ Герценъ считалъ лучшимъ изъ всего написаннаго имъ — является началомъ новой эпохи русской мысли. Здѣсь мы не будемъ говорить о томъ, что книга эта начала собою эру русскаго народничества, что и славянофильство и западничество съ этихъ поръ оказались одинаково превзойденными; мы остановимся только на проявленіи въ этой геніальной книгѣ тѣхъ воззрѣній, которыя мы объединяемъ названіемъ «имманентнаго субъективизма».

Воззрѣнія эти ярко и выпукло обрисованы Герценомъ въ главѣ «Передъ грозой» — первой и, быть можетъ, самой блестящей главѣ изъ всей книги. Глава эта написана въ формѣ діалога, дѣйствительно происходившаго въ 1847 г. между Герценомъ и И. П. Галаховымъ (о немъ см. въ XXIX главѣ «Былого и Думь»). Галаховъ упорно отстаивалъ позицію объективизма, позитивную теорію прогресса, цѣль въ будущемъ, а Герценъ шагъ за шагомъ тяжелыми ударами разбивалъ всѣ эти объективно-телеологическія теоріи съ точки зрѣнія того міровоззрѣнія, которое мы назвали имманентнымъ субъективизмомъ. Съ удивительной силою вскрывалъ Герценъ трусость мысли большинства объективистовъ, которые съ ужасомъ бѣгутъ отъ мысли о безмысленности жизни, обѣ отсутствіи въ ней объективнаго смысла. Чтобы заглушить эти рѣчи внутренняго голоса, человѣкъ готовъ схватиться за все, онъ торопится опьянить себя пошлостью обыденной жизни, вѣрою, виномъ, мистицизмомъ — чѣмъ ни попало, лишь бы скрыть отъ себя истину, что жизнь не имѣеть никакого объективнаго смысла. И вся человѣческая жизнь проходить большею частью «въ этой боязни изслѣдовать, чтобы не увидать вздоръ изслѣдуемаго»...

Ist denn so groß das Geheimnis, was Gott und die Welt und der Mensch sei? Nein, doch niemand hört's gerne — da bleibt es geheim,* — эти слова (Гёте) недаромъ взялъ эпиграфомъ Герценъ къ своему діалогу съ Галаховымъ. Да, что жизнь не имѣеть объективнаго смысла — niemand hört's gerne; большинство предпочитаетъ заткнуть уши, закрыть глаза или, подобно страусу, спрятать голову, чтобы не видѣть и не слышать. На полѣ битвы остаются только вооруженные вѣрою объективисты: они вѣрятъ, что жизнь ихъ и жизнь человѣчества направлена къ нѣкоторой конечной цѣли, что настоящее оправдывается и объясняется будущимъ, что грядущее земное или небесное блаженство придаетъ объективный смыслъ человѣческой жизни. И когда имъ говорять, что ихъ вѣра не есть аргументъ въ пользу истины, когда «трансцендентной неочевидности» ихъ вѣры противопоставляютъ эмпирическую очевидность безмысленности жизни человѣка и жизни человѣчества, — тогда они растерянно хватаются за любые аргументы, лишь бы доказать «нелѣпость» міровоззрѣнія имманентнаго субъективизма.

«Какъ же это? — возражаетъ, напримѣръ, Галаховъ Герцену: — въ природѣ все такъ цѣлесообразно, а цивилизациѣ, высшее усилиѣ, вѣнецъ эпохи, выходить безцѣльно изъ нея?... Въ вашей философіи исторіи есть что-то возмущающее душу — для чего эти усилия? Жизнь народовъ становится праздной игрой, лѣпитъ, лѣпитъ по песчинкѣ, по камешку, а тутъ опять все рухнется на землю и люди ползутъ изъ-подъ развалинъ, начинаютъ снова расчищать мѣсто, да строить хижины изъ мха, досокъ и упадшихъ капителей, достигая вѣками, долгимъ трудомъ — паденія. Шекспиръ не даромъ сказалъ, что исторія скучная сказка, разсказанная дуракомъ»... Если человѣчество играетъ безмысленную роль бѣлки въ колесѣ, продолжаетъ Галаховъ, то вотъ мы и «опять возвратились къ Рѣ, безпрерывно рождающей въ страшныхъ страданіяхъ дѣтей, ко-

* Въ цитате исправлены мелкие недочеты по изданию Гёте. — Прим. ImWerden.

торыми закусывает Сатурнъ... Какая цѣль всего этого? Вы обходите этотъ вопросъ, не рѣша его; стоить ли дѣтямъ родиться для того, чтобы отецъ ихъ съѣль, да вообще стоитъ ли игра свѣтъ?»

Прежде всего — за свѣчи не вы платите, ядовито отвѣчаетъ Герценъ всѣмъ объективнымъ телеологамъ въ лицѣ Галахова. Иными словами это значитъ: *parlez pour vous* и не думайте, что для всѣхъ, какъ для васъ, жизнь безъ объективнаго смысла не имѣеть цѣны. Объективнаго смысла жизни нѣть, но жизнь имѣеть субъективный смыслъ; объективной цѣли въ будущемъ ни жизнь человѣчества, ни жизнь человѣка не имѣютъ, но такой цѣлью является настоящее, является каждый данный моментъ. И Герценъ блестяще развиваетъ тѣ мысли, которыя онъ высказывалъ еще въ своемъ дневникѣ 1842-го года. «Настоящее есть реальная сфера бытія, — писалъ тогда Герценъ: — ...цѣль жизни — жизнь. Жизнь въ той формѣ, въ томъ развитіи, въ которомъ поставлено существо, т.-е. цѣль человѣка — жизнь человѣческая» (28 іюня 1842 г.). И еще: «проклятое невниманіе наше къ настоящему дѣлаетъ то, что мы только умѣемъ воспоминать утраченное... Ловить настоящее, одѣйствоворить въ себѣ всѣ возможности на блаженство — подъ нимъ я разумѣю и общую дѣятельность, и блаженство знанія такъ же, какъ блаженство дружбы, любви, семейныхъ чувствъ — а тамъ, что будетъ, то будетъ; на мнѣ отвѣтственность не лежить; тотъ отвѣтить, кто скрылъ талантъ въ землю, чтобы его не украли... Всѣ стороны, составляющая живой духъ человѣка, должны слитно, гармонически участвовать въ его дѣяніи, иначе выйдетъ односторонность...» (16 дек. 1844 г.). Впрочемъ, заключаетъ Герценъ, «на эту тему можно написать цѣлую тетрадь...» Онъ и написалъ ее тремя годами позднѣе: на эту тему написана, какъ мы знаемъ, вся первая глава «Съ того берега».

Цѣль — въ настоящемъ, категорически заявляетъ теперь Герценъ, ибо жизнь «ничего личнаго, индивидуального не готовить впрокъ, она всякий разъ вся изливается въ настоящую минуту». Оттого-то и «каждая историческая фаза имѣеть полную дѣйствительность, свою индивидуальность, каждая — достигнутая цѣль, а не средство»; «оттого каждый историческій мигъ полонъ, замкнуть по-своему, какъ всякий годъ съ весной и лѣтомъ, съ зимой и осенью, съ бурями и хорошей погодой. Оттого каждый періодъ новъ, свѣжъ, исполненъ своихъ надеждъ, самъ въ себѣ носить свое благо и свою скорбь, настоящее принадлежить ему»... И это ничуть не противорѣчить тому, что всю исторію человѣчества связуетъ воедино красная нитка прогресса, этого непрерывнаго родового роста человѣчества. Ибо «этотъ родовой ростъ не цѣль, какъ вы полагаете, а свойство преемственно продолжающагося существованія поколѣній. Цѣль для каждого поколѣнія — оно само»... «...Изъ этого ясно одно, что надобно пользоваться жизнью, настоящимъ; не даромъ природа всѣми языками своими безпрерывно манитъ къ жизни и шепчетъ на ухо всему свое *vivere memento*».

Вотъ почему нѣть ничего нелѣпѣ, какъ искать какія-то объективныя цѣли въ концѣ жизненнаго пути человѣка или человѣчества и приходить въ отчаяніе при мысли, что никакихъ конечныхъ цѣлей нѣть, что существуютъ только наши, субъективныя, человѣческія цѣли. «Смотрѣть на конецъ, а не на самое дѣло — величайшая ошибка», замѣчаетъ Герценъ. Объективные телеологи ужасаются, что конечная цѣль можетъ не существовать: если нѣть конечной цѣли, то въ чёмъ же тогда смыслъ и цѣль нашей жизни? «Какая цѣль всего этого? Вы обходите этотъ вопросъ», говорилъ Галаховъ Герцену. Но Герценъ какъ-разъ и подходитъ къ самому центру этого вопроса: «а какая цѣль пѣсни, которую поетъ пѣвица?» — спрашиваетъ онъ въ свою очередь. Пѣсню надо слушать и наслаждаться ею, какъ настоящимъ, а не ждать отъ нея чего-то въ будущемъ; точно также и наша жизнь сама себѣ цѣль, цѣль есть каждый данный моментъ, какъ для жизни человѣка, такъ и для жизни человѣчества. Жизнь и исторія есть въ каждый данный моментъ достигнутая цѣль, а не средство для достиженія какой-либо цѣли. «То-есть, просто, цѣль природы и исторіи — мы съ вами?» — иронически во-

прошаетъ Галаховъ. «Отчасти, да илюсь настоящее всего существующаго, — отвѣчаетъ ему Герценъ; — тутъ все входитъ: и наслѣдіе всѣхъ прошлыхъ усилій, и зародыши всего, что будетъ... и гармонія всей солнечной системы»...

Испытавъ неудачу на всѣхъ пунктахъ, объективные телеологи хватаются за «красную нитку прогресса», чтобы доказать фактъ существованія объективной цѣли въ жизни человѣчества: разъ существуетъ постепенное развитіе человѣчества, то, стало быть, есть и цѣль, къ которой направляется это развитіе. Но Герценъ рѣзко возстаетъ противъ попытки осмыслить настоящее будущимъ, настоящую безмыслицу жизни будущимъ блаженствомъ, земнымъ или небеснымъ — для него все равно: онъ одинаково безпощаденъ и къ мистической и къ позитивной теоріи прогресса. Онъ разсказываетъ (въ главѣ «Consolatio») объ одной матери, потерявшей двухъ дѣтей отъ скаратины: «я ихъ хорошо помѣстила, — утѣшала себя несчастная мать: — они возвратились чистыми... Имъ будетъ хорошо!» И когда Герцену указываютъ, что между этой слѣпой вѣрой въ небесное блаженство и вѣрой человѣка въ людей, въ земное устроеніе громадная разница, то онъ готовъ согласиться только съ тѣмъ, что эта вѣра въ прогрессъ «не грубая религія des Jenseits, которая отдаетъ дѣтей въ пансионъ на томъ свѣтѣ, а религія des Diesseits, религія науки, всеобщаго, родового, трансцендентального разума, идеализма». Другой разницы между ними нѣтъ. «Объясните мнѣ, пожалуйста, отчего вѣрить въ Бога смѣшно, а вѣрить въ человѣчество не смѣшно; вѣрить въ царство небесное — глупо, а вѣрить въ земныя утопіи — умно? Отбросивши положительную религию, мы остались при всѣхъ религіозныхъ привычкахъ, и, утративъ рай на небѣ, вѣримъ въ пришествіе рая земного и хвастаемся этимъ»....

Но если даже земной рай не утопія, не иллюзія, то какъ онъ можетъ все же оправдать и осмыслить человѣческую жизнь? Задолго до Ивана Карамазова Герценъ даетъ на этотъ вопросъ карамазовскій отвѣтъ: никакіе «пансионы на томъ свѣтѣ», никакіе Zukunftstaat'ы на этомъ свѣтѣ не могутъ придать объективный смыслъ жизни человѣка. Потому что: «если прогрессъ — цѣль, то для кого мы работаемъ? Кто этотъ Молохъ, который, по мѣрѣ приближенія къ нему тружениковъ, вмѣсто награды пытится и, въ утѣшеніе изнуреннымъ и обреченнымъ на гибель толпамъ, которыхъ ему кричать: morituri te salutant, только и умѣеть отвѣтить горькой насмѣшкой, что послѣ ихъ смерти будетъ прекрасно на землѣ».... Но даже и это утѣшеніе — ложь, такъ какъ прогрессъ безконеченъ; и именно потому, что онъ безконеченъ, что конечной цѣли нѣтъ — цѣль эта лежитъ передъ нами, она въ нашихъ рукахъ, ибо эта цѣль — мы сами. «Каждая эпоха, каждое поколѣніе, каждая жизнь имѣли, имѣютъ свою полноту».... Цѣль въ настоящемъ — къ этому снова возвращается Герценъ. Вмѣсто того, чтобы покланяться кумиру прогресса, говорить онъ, «не проще ли понять, что человѣкъ живеть не для совершенія судебъ, не для воплощенія идеи, не для прогресса, а единственно потому, что родился и родился для (какъ ни дурно это слово) для настоящаго, что вовсе не мѣшаетъ ему ни получать наслѣдство отъ прошедшаго, ни оставлять кое-что по завѣщанію» («Робертъ Оуэнъ»).

Такъ подъ ударами Герцена обрывается въ рукахъ объективныхъ телеологовъ та «красная нитка прогресса», за которую они ухватились-было. Теперь они хватаются за послѣднюю соломинку: выставляютъ противъ теоріи имманентнаго субъективизма знакомый намъ фантомъ Случая. Въ лицѣ Галахова они обвиняютъ возврѣніе Герцена въ логической «распущенности» и заявляютъ, что міровоззрѣніе это бессильно противъ выставляемаго ими фантома: мы не имѣемъ-де при такомъ возврѣніи никакой гарантіи въ устойчивости жизни человѣчества, «исторія можетъ продолжаться вовѣки вѣковъ или завтра окончиться». А послѣднее предположеніе для объективныхъ телеологовъ настолько нелѣпо, что имъ подписывается, по ихъ мнѣнію, смертный приговоръ возврѣнію имманентнаго субъективизма.

Герценъ смѣло поднимаетъ брошенную перчатку. «Безъ сомнѣнія, — отвѣчаетъ онъ, — ...исторія можетъ продолжаться миллионы лѣтъ. Съ другой стороны, я ничего не имѣю противъ окончанія исторіи завтра. Мало ли что можетъ быть! Энкіева комета зацѣпить земной шаръ, геологическій катаклизмъ пройдетъ по поверхности, ставя все вверхъ дномъ, какое-нибудь газообразное испареніе сдѣлаетъ на полчаса невозможнымъ дыханіе — вотъ вамъ и финалъ исторіи»... Но эта истина, какъ она ни проста, не умѣщается въ головахъ объективныхъ телеологовъ: «стоило бы очень развиваться три тысячи лѣтъ съ пріятной будущностью задохнуться отъ какого-нибудь сѣроводородного испаренія! — возмущается Галаховъ: — какъ же вы не видите, что это нелѣпость?» Удивительные, право, люди, эти объективные телеологи! Каждый божій день на глазахъ у нихъ проходитъ подобная нелѣпость — гибель человѣческаго микрокосма, каждый день какой-нибудь камень разбиваетъ голову вступающему въ жизнь человѣку — и тутъ они не спрашиваютъ себя: стоило ли человѣку развиваться двадцать лѣтъ съ пріятной будущностью случайно попасть подъ падающей съ крыши камень? Этого они не спрашиваютъ! За нихъ этотъ вопросъ ставятъ тѣ «субъективисты», которые, подобно Л. Шестову, вслѣдъ за Герценомъ понимаютъ, что «смерть одного не менѣе нелѣпа, какъ гибель всего рода человѣческаго»... Такъ отвѣчаетъ Герценъ, такъ отвѣчаетъ имманентный субъективизмъ. Смерть человѣка нелѣпа — и все-таки человѣческая жизнь имѣеть субъективный смыслъ; гибель человѣчества будетъ не менѣе нелѣпа — и все же жизнь человѣчества субъективно осмыслена. Надо только помнить, что никакой объективной цѣли въ будущемъ нѣтъ, что цѣль въ настоящемъ — и все остальное приложится.

Опять-таки подчеркиваемъ: все это — мысли, выношенныя годами, постепенно уяснявшіяся передъ умственнымъ взоромъ Герцена. И именно фантомъ Случая, выставляемаго объективными телеологами противъ Герцена въ качествѣ *ultimae rationis*, привелъ Герцена къ его взгляду на прогрессъ, на жизнь, на смыслъ ея: достаточно взглянуть въ его дневникъ, на записи отъ 1-го іюля 1842 г., 23-го іюля и 6-го августа 1844 г. и др. Мы не будемъ на нихъ останавливаться, приведемъ только одну выдержку: «кто поручится за то, что какая-нибудь перемѣна въ солнцѣ вызоветъ катаклизмъ во всю поверхность земного шара, и тогда мы съ звѣрьми и растеніями погибнемъ и наше мѣсто явится новое населеніе, приложенное къ новой землѣ. Страшная вещь, а отвѣтить нельзя. Одно настоящее наше, а его-то цѣнить не умѣемъ» (23-го іюля 1844 г.). Мы видѣли, какъ эту же мысль Герценъ выразилъ тремя годами позднѣе; онъ сказалъ: гибель человѣчества возможна, но настоящее — наше, а потому его надо цѣнить, въ немъ надо видѣть цѣль всего существующаго.

Мы закончимъ про Герцена ссылкой на его извѣстный споръ съ Хомяковымъ, имѣвшій мѣсто еще 20-го декабря 1842 г. Споръ этотъ описанъ Герценомъ въ «Быломъ и Думахъ» и онъ для насть такъ интересенъ, что мы позволимъ себѣ привести его цѣликомъ. Однимъ разумомъ, говорилъ Хомяковъ, «не дойдешь до того, чтобы понять природу иначе, какъ простое безпрерывное броженіе, не имѣющее цѣли, и которое можетъ и продолжаться, и остановиться. А если это такъ, то вы не докажете и того, что исторія не оборвется завтра, не погибнетъ съ родомъ человѣческимъ, съ планетой?»

— Я вамъ и не говорилъ, — отвѣтилъ я ему, — что я берусь это доказывать, я очень хорошо зналъ, что это невозможно.

— Какъ? — сказалъ Хомяковъ, нѣсколько удивленный, — вы можете принимать эти страшные результаты свирѣпѣшай имманенции и въ вашей душѣ ничего не возмущается?

— Могу, потому что выводы разума независимы отъ того, хочу я ихъ, или нѣтъ.

— Ну, вы, по крайней мѣрѣ, послѣдовательны; однако, какъ человѣку надобно свихнуть себѣ душу, чтобы примириться съ этими печальными выводами нашей науки и привыкнуть къ нимъ!

— Докажите мнѣ, что *не-наука* ваша истиннѣе, и я приму ее также откровенно и безбоязненно, къ чему бы она меня ни привела.

— Для этого надобно вѣру.

— Ну, Алексѣй Степановичъ, вы знаете: «на нѣть и суда нѣть» *).

Этимъ замѣчательнымъ діалогомъ мы можемъ заключить споръ Герцена, какъ представителя новаго міровоззрѣнія, съ объективными телеологами, стоящими то на почвѣ позитивной теоріи прогресса (какъ Галаховъ), то на почвѣ мистической теоріи прогресса (какъ Хомяковъ). И съ этими и съ другими его борьба была одинаково побѣдоносна; и тѣ и другіе, въ концѣ концовъ, принуждены были хвататься за *вѣру* въ объективную осмысленность жизни. На этой плоскости дальнѣйшій споръ уже, конечно, невозможенъ: вы вѣрите, а я нѣть, и спорящимъ остается только разойтись и сформулировать возможно точнѣе свои воззрѣнія. Герценъ и сдѣлалъ это въ своей геніальной книжѣ «Съ того берега»; въ ней мы имѣемъ передъ собою цѣльное и стройное міровоззрѣніе, то самое, которое мы назвали «имманентнымъ субъективизмомъ», а Хомяковъ когда-то обзывалъ *свирипѣйшей имманенціей*...

IV.

Мы вынуждены ограничиться этимъ короткимъ эпизодомъ изъ исторіи русской мысли тридцатыхъ-сороковыхъ годовъ. Читатель видѣть, что затронутая тема настолько обширна, что исчерпать ее невозможно не только въ двухъ главахъ, но и въ двухъ томахъ. Но задача наша — не исчерпать вопросъ, а только поставить его и намѣтить исторически испробованные общіе пути рѣшенія.

Такихъ путей три: мистический, позитивный и имманентно-субъективный. Конечно, это только вполнѣ условная терминологія, ибо и мистическая теорія прогресса можетъ быть субъективной, и позитивная теорія является имманентной. Но и мистическая и позитивная теоріи видѣть оправданіе и смыслъ жизни въ будущемъ, внѣ данной реальной личности — и въ этомъ смыслѣ мы ихъ назвали трансцендентными; и мистическая и позитивная теоріи утверждаютъ въ то же время объективный смыслъ жизни, а потому мы и противопоставляемъ имъ воззрѣніе имманентнаго субъективизма.

Когда и какъ появилось это воззрѣніе въ исторіи русской общественной мысли — это мы видѣли выше. Мы видѣли, что геніальнымъ родоначальникомъ его былъ Герценъ, и тутъ же должны прибавить, что въ Герценѣ мы имѣемъ не только начало имманентнаго субъективизма, но и высшую точку его развитія. Послѣ Герцена позитивная теорія прогресса вновь вступила въ свои права въ эпоху нашего *Sturm und Drang Period'a* шестидесятыхъ годовъ; а нигилизмъ конца шестидесятыхъ годовъ былъ типичнымъ вырожденіемъ теоріи имманентнаго субъективизма. Рѣзко отрицательное отношеніе Герцена къ нигилизму всѣмъ извѣстно и намъ нѣть необходимости останавливаться на этомъ вопросѣ.

Потомъ пришло народничество семидесятыхъ годовъ, теоретиками которого являются сперва Лавровъ, а затѣмъ Михайловскій. Въ другомъ мѣстѣ мы подробно прослѣдили связь міровоззрѣній Герцена, Лаврова и Михайловскаго **); здѣсь отмѣтимъ только, что въ семидесятыхъ годахъ была исправлена существеннѣйшая ошибка Герцена, совершенно отрицавшаго всякую телеологію, всякую цѣлесообразность: отрицая вслѣдъ за Герценомъ всякую объективную телеологію, Михайловскій и Лавровъ признали законность субъективнаго телеологизма. Но признаніе это, совершенно справедливое по существу, фатальнымъ образомъ приблизило русское народничество къ позитивной теоріи прогресса, столь ненавистной для Герцена: снова стали оправды-

*) Въ «Дневникѣ» отъ 21-го декабря 1842 г. этотъ споръ изложенъ подробнѣе и съ несколькии иными оттѣнками, показывающими, что Герценъ въ то время далеко еще не стоялъ на своей позднѣйшей точкѣ зрѣнія «свирипѣйшей имманенціи». — Все предыдущее ср. съ «Ист. русск. общ. мысли», т. I, стр. 359 — 365.

**) «Ист. русск. общ. мысли», т. II, стр. 128-133.

вать и осмысливать настояще будущимъ; снова будущій земной рай, хотя бы какъ осуществленіе нашего субъективнаго идеала, сталъ оправдывать горе и ужась настоящаго. Имманентный субъективизмъ заглушался въ замѣчательномъ міровоззрѣніи Михайловскаго обычными позитивными теченіями мысли; въ позднѣйшемъ народничествѣ эти теченія стали преобладающими, такъ что въ этомъ отношеніи народничество не могло ничего противопоставить по существу объективной телесофіи марксизма съ его *Zukunftstaat'om*. Одинъ только Глѣбъ Успенскій (въ своихъ блестящихъ очеркахъ «Крестьянинъ и крестьянскій трудъ») пробовалъ связать общіе взгляды народничества съ основнымъ положеніемъ имманентнаго субъективизма: цѣль въ настоящемъ; но эта попытка осталась случайной и неподдержанной.

Такимъ образомъ общая схема различныхъ отвѣтовъ на вопросъ о смыслѣ жизни является въ исторіи русской мысли XIX-го вѣка приблизительно слѣдующей: въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ мы имѣемъ передъ собой *мистическую теорію прогресса*, опирающуюся на различные формы нѣмецкаго философскаго идеализма той эпохи; въ сороковыхъ годахъ на смѣну приходитъ *позитивная теорія прогресса*, исходящая изъ принциповъ соціализма и вообще «соціальности», съ ихъ вѣрою въ Человѣчество. Однако и эта теорія къ концу сороковыхъ годовъ перестаетъ удовлетворять своихъ адептовъ — по крайней мѣрѣ наиболѣе выдающихся изъ нихъ, и тогда, въ пятидесятыхъ годахъ (1848 — 1855) окончательно формируется и формулируется міровоззрѣніе *имманентнаго субъективизма*, выражителемъ котораго является Герценъ. Въ шестидесятыхъ годахъ происходитъ процессъ популяризациіи и вульгаризациіи этого міровоззрѣнія, получающаго широкую извѣстность въ крайне упрощенныхъ формахъ утилитаризма; въ нигилизмѣ конца шестидесятыхъ годовъ эти взгляды приходятъ къ самовырожденію. Въ семидесятыхъ годахъ мы видимъ частичный возвратъ къ воззрѣніямъ Герцена и дальнѣйшее развитіе ихъ у Лаврова и Михайловскаго; но чѣмъ дальше, тѣмъ больше русская общественная мысль снова проникается положеніями *позитивной теоріи прогресса*, которая достигаетъ своего апогея въ девяностыхъ годахъ, въ русскомъ марксизмѣ. Тогда въ концѣ девяностыхъ годовъ и въ началѣ девятисотыхъ снова возрождается и одно время царить (*«Проблемы идеализма»*) *мистическая теорія прогресса*, проявляющаяся сперва въ формахъ философскаго идеализма, а затѣмъ быстро принимающая религіозныя формы. Наконецъ, въ послѣдніе годы снова замѣтно усиленіе идей *имманентнаго субъективизма* — на этотъ разъ болѣе въ области художественного творчества, чѣмъ въ области философско-критической мысли. Фиксировать въ послѣдней области эти взгляды — одна изъ задачъ лежащей передъ читателемъ книги.

Что же касается до области художественного творчества, то мы не имѣемъ здѣсь ни малѣйшей возможности хотя бы вскользь прослѣдить за отраженіемъ въ ней отмѣченныхъ выше взглядовъ на міръ, на жизнь, на человѣка. Это громадная тема. Одному Пушкину пришлось бы посвятить особую статью, чтобы намѣтить отвѣты его творчества на вопросъ о смыслѣ жизни, о цѣли, о человѣкѣ и человѣчествѣ. Но и безъ этихъ подробныхъ изслѣдований мы имѣемъ возможность заключить a priori, что имманентный субъективизмъ — не какъ теорія, а какъ полуусознанное чувство — имѣть большое значеніе въ области интуитивнаго художественного творчества: мы увидѣли бы это на томъ же Пушкинѣ, если бы могли остановиться на немъ подробнѣ *). То же самое справедливо и относительно Л. Толстого: послѣ всего того, что мы слышали о немъ отъ Л. Шестова, намъ нѣть надобности доказывать, что въ «Войнѣ и мирѣ» Л. Толстой, самъ того не сознавая, выразилъ въ рядѣ художественныхъ образовъ воззрѣніе о цѣли въ настоящемъ. Еще болѣе яркій примѣръ — Достоевскій: онъ велъ ожесточенную борьбу съ позитивной теоріей прогресса, а противъ своей воли наносилъ удары и

*) См. на эту тему статью автора: «Евгений Онѣгинъ», въ изд. «Пушкинъ» Брокгаузъ-Ефрана, т. III, стр. 205-234.

мистической теорії прогресса. Въ типѣ Ивана Карамазова и его устами онъ съ геніаль-
ной проникновенностью высказалъ сокрушающіе доводы противъ земного и небеснаго Zukunftstaat'a. Иванъ Карамазовъ — величайшій союзникъ Герцена на протяженіи
всего XIX вѣка.

Одного этого достаточно для того, чтобы мы могли считать имманентный субъективизмъ тѣмъ воззрѣніемъ, прошлое которого даетъ намъ вѣру въ его будущее. А потому мы и закончимъ этимъ нашъ краткій историко-литературный обзоръ. Мы могли бы еще остановиться на мотивахъ имманентнаго субъективизма у Тургенева, у Чехова; на враждебной всему этому объективной телеологии М. Горькаго съ его вѣрой въ человѣчество, въ «народушко». Мы могли бы еще разъ подробнѣе остановиться на объективной телеологии мистической теорії прогресса нашихъ нео-идеалистовъ и нео-мистиковъ въ родѣ Мережковскаго, Бердяева; на своеобразномъ преломленіи идеи имманентнаго субъективизма обѣ объективной безсмысленности жизни человѣка и человѣчества въ интересной трагедіи В. Брюсова «Земля»; на пьесѣ А. Блока «Балаганчикъ»; на попыткѣ найти новый путь къ отвѣту въ книгѣ Н. Минскаго «При свѣтѣ совѣсти. Мечты и мысли о цѣли жизни». Мы могли бы... Но все это завлекло бы насъ слишкомъ далеко и не привело бы насъ къ новымъ выводамъ, а только подтвердило бы уже добытыя положенія. Мы предпочтаемъ поэтому указать только на тѣхъ трехъ писателей, изученіе которыхъ помогло намъ ориентироваться въ вопросѣ о смыслѣ жизни. Но и здѣсь мы, не входя въ подробности, ограничимся только общимъ указаніемъ на связь основныхъ идей творчества Ф. Сологуба, Л. Андреева и Л. Шестова съ основными положеніями имманентнаго субъективизма. Пріятіе міра и признаніе цѣли въ настоящемъ у Ф. Сологуба; этотъ же мотивъ, осложненный горькимъ признаніемъ объективной безсмысленности жизни и міра у Л. Андреева; эти же мотивы, соединенные съ признаніемъ субъективной целесообразности и субъективной осмысленности жизни у Л. Шестова, — все это показываетъ намъ, что какъ ни далеко отошли мы отъ Герцена, но до сихъ поръ его философія остается жизнетрепещущей, способной съ тѣхъ или иныхъ сторонъ отразиться въ творчествѣ талантливѣйшихъ изъ современныхъ писателей. А потому, не призываю никого «назадъ къ Герцену», мы все же думаемъ, что «впередъ отъ Герцена» лежитъ вѣрный путь; это путь того имманентнаго субъективизма, сжатой характеристикой котораго мы дадимъ нашъ отвѣтъ на вопросъ о смыслѣ жизни, чѣмъ и заключимъ настоящую книгу.

А теперь еще два слова о Герценѣ, чтобы не возвращаться къ нему въ дальнѣйшемъ и чтобы избѣжать нѣкоторыхъ возможныхъ недоразумѣній. И прежде всего намъ хотѣлось бы особенно подчеркнуть, что въ философіи исторіи Герцена мы видимъ отнюдь не окончательное рѣшеніе вопроса о смыслѣ жизни, а только вѣрный путь, вѣрное направлѣніе. Имманентный субъективизмъ Герцена — не торная дорога, которая ведетъ въ разъ навсегда построенную твердыню истины, а только направлѣніе, указываемое стрѣлкой компаса. Слѣдуя этому направлѣнію, мы должны сами прорубать себѣ дорогу черезъ чащи и дебри, мы сами должны *творить*, а не слѣдовать за однажды избраннымъ путеводителемъ. «Не ищи рѣшеній въ этой книгѣ — ихъ нѣть въ ней» — сказалъ самъ Герценъ на первой страницѣ «Съ того берега»; не будемъ же искать готовыхъ отвѣтовъ ни въ этой книгѣ, ни въ какой-либо другой.

Если читатель согласится со всѣмъ этимъ, то онъ уже не будетъ удивленъ тѣмъ обстоятельствомъ, что пессимистическая концепція книги Герцена заменилась бодрымъ и оптимистическимъ настроениемъ возрождающагося имманентнаго субъективизма. Философія исторіи Герцена сложилась у него задолго до событій 1848-го г.: мы прослѣдили за ея постепеннымъ ростомъ еще съ эпохи «новгородского сидѣнія» Герцена, т.-е. съ 1842-го г.; разобранная нами первая глава «Съ того берега» была написана до событій февральской революціи — въ декабрѣ 1847-го года. Но, несмотря на все это, несомнѣнно, что всѣ европейскія впечатлѣнія Герцена, и до-революціонныя и

по-революціонныя, придали этой его філософії исторії вполнѣ опредѣленную пессимистическую окраску: книга Герцена была порождена великимъ отчаяніемъ, эта фраза стала общимъ мѣстомъ. Этимъ общимъ мѣстомъ затемнялось до сихъ поръ то обстоятельство, что філософія исторії Герцена только вполнѣ случайно получила окраску пессимизма, что между имманентнымъ субъективизмомъ съ одной стороны и пессимизмомъ съ другой нѣть рѣшительно никакой неразрывной логической связи, что связь эта была только историческая. И въ настоящее время мы, принимая въ общихъ чертахъ герценовскую філософію исторії, безконечно далеки отъ пессимистического настроенія; міровоззрѣніе имманентного субъективизма является бодрымъ, активнымъ, жизненнымъ, субъективно осмысливающимъ жизнь человѣка и жизнь человѣчества.

Въ вашемъ міровоззрѣніи, — говорилъ Герцену Галаховъ, — много смѣлости, силы, правды, но у васъ никогда не будетъ послѣдователей... Мнѣніе это было вполнѣ естественно въ устахъ объективного телеолога, впервые столкнувшагося съ насыщеннымъ отрицаніемъ всякой объективной телеологии: слишкомъ неожиданно было это отрицаніе, оно выбивало изъ проторенной мыслью колеи, оно казалось еретическимъ и ни подъ какимъ видомъ не приемлемымъ. Но мы знаемъ теперь, что Галаховъ ошибся. Правда, у Герцена никогда не было «учениковъ», которые бы слѣпошли по пятамъ учителя; но у него были послѣдователи, которые пошли по указанному имъ направлению не только въ области соціально-политическихъ идей, но и въ области соціально-філософскихъ вопросовъ. Нѣкоторые изъ этихъ послѣдователей извратили имманентный субъективизмъ Герцена, другіе сильно видоизмѣнили основные пункты герценовской філософіи исторії, третыи независимо отъ Герцена съ громадной силой развили родственныя ему мысли, — какъ бы то ни было, но зерно, посѣянное Герценомъ, никогда не умирало въ исторіи русской общественной мысли. И — это можно съ увѣренностью сказать — оно никогда не умреть. Оно никогда не умреть, ибо представляетъ собою вполнѣ обособленное, не совпадающее ни съ мистической, ни съ позитивной теоріями прогресса рѣшеніе вопроса о смыслѣ жизни человѣка и человѣчества. Оно никогда не умреть, потому что имманентный субъективизмъ является особымъ типомъ міровоззрѣнія и его будутъ держаться тѣ, которыхъ одинаково не удовлетворяетъ и позитивное осмысливаніе жизни раемъ земнымъ и мистическое осмысливаніе жизни раемъ небеснымъ.

Такіе люди всегда были; они всегда будуть. Въ этомъ отношеніи Герценъ далеко не одинокъ и даже далеко не первый на указанномъ пути: стоитъ назвать Штирнера и Л. Фейербаха, если ограничиться только современными Герцену мыслителями. И нѣть сомнѣнія, что знаменитая книга Фейербаха «Das Wesen des Christentums» (которая была для Герцена, по его же признанію, толчкомъ къ разрыву и съ мистическими теоріями, и съ гегеліанской філософіей), нѣть сомнѣнія, говоримъ мы, что книга эта помогла Герцену выяснить сущность своего міровоззрѣнія. «Моя задача, — говорилъ Фейербахъ, — открыто и честно, ясно и опредѣленно вскрыть и высказать тайну религії: жизнь есть Богъ, наслажденіе жизнью есть божественное наслажденіе, истинная полнота жизни есть истинная религія... Каждый данный моментъ осуществляется въ себѣ всю полноту и цѣльность бытія, цѣль котораго — въ немъ самомъ, въ безпредѣльномъ самоутвержденіи человѣческой реальности; каждый мигъ мы пьемъ до дна чашу бессмертія, опять и немедленно наполняющуюся да краевъ, какъ волшебный кубокъ Оберона». Эти слова Герценъ могъ бы поставить эпиграфомъ ко всему своему міровоззрѣнію. Религію Бога Герценъ отвергъ, религію Человѣчества Герценъ не захотѣлъ принять — и сталъ проповѣдникомъ религіи человѣка, религіи жизни. Иного пути, кромѣ этихъ трехъ — нѣть. И съ тѣхъ поръ какъ существуетъ філософія — а это значитъ: съ тѣхъ поръ какъ существуетъ человѣкъ — по этимъ тремъ путямъ съ безчисленными развѣтвленіями упорно идетъ человѣческая мысль. Путь, выбранный

Герценомъ — не моложе другихъ: вѣдь за много вѣковъ до нашего времени Эпикуръ предвосхитилъ приведенные нами выше слова Фейербаха...

Изъ этого, конечно, не слѣдуетъ, что міровоззрѣніе Герцена было «эпикуреизмомъ». Нѣть, оно было само по себѣ — и для насъ важно то, что оно было въ исторіи русской мысли первымъ и геніальныемъ самостоятельнымъ опытомъ анти-мистического и анти-позитивного философского построенія. Говорю: *самостоятельнымъ опытомъ*, потому что каково бы ни было вліяніе Фейербаха, не надо все же забывать тѣхъ словъ, которыми Герценъ начинаетъ «Съ того берега»: «...я старался уразумѣть жизнь..., мнѣ хотѣлось что-нибудь узнать, мнѣ хотѣлось заглянуть подальше; все слышанное, читайное не удовлетворяло, не объясняло, а, напротивъ, приводило къ противорѣчіямъ или къ нелѣпостямъ».

Онъ это и сдѣлалъ, мы видѣли — какъ. Этимъ знакомствомъ съ геніальными историческими и философскими воззрѣніями Герцена мы и закончимъ предпринятое на предыдущихъ страницахъ «генетическое оправданіе имманентнаго субъективизма». Читатель видить теперь, что не случайной бутадой мысли, не «плѣнной мысли раздраженемъ» является проводимое въ настоящей книгѣ воззрѣніе; оно тѣсно связано со всѣмъ прошлымъ русской общественной мысли. Мы дорожимъ этой нашей связью съ прошлымъ, такъ какъ въ ней лежитъ залогъ широкаго будущаго дорогихъ для насъ убѣжденій; широкое будущее предстоитъ тѣмъ идеямъ, которыя при первомъ же своемъ зарожденіи въ исторіи русской мысли достигли такой силы, такой яркости и съ тѣхъ поръ не умираютъ среди русской интеллигенции; будущее еще передъ ними. «Мыувѣрены, — позволю себѣ привести свои же слова, — что въ ближайшемъ будущемъ русская интеллигенция придетъ къ тому философско-историческому индивидуализму (имманентному субъективизму), который одинъ только даетъ возможность немедленнаго разрешенія проблемы индивидуализма для каждого отдельного лица (цѣль — въ настоящемъ); но обѣ этой нашей субъективной увѣренности было бы неумѣстно распространяться въ настоящемъ мѣстѣ»... («Ист. русск. общ. мысли», II, 519). Задачу эту — построеніе имманентнаго субъективизма — мы и разрешаемъ по мѣрѣ силъ въ настоящей книгѣ.

Историческая постановка этой задачи намъ уже извѣстна; теперь намъ осталось только дать краткую характеристику этого міровоззрѣнія, собрать въ одинъ фокусъ всѣ тѣ попутные выводы и заключенія, къ какимъ мы пришли при изученіи творчества Щ. Сологуба, Л. Андреева и Л. Шестова. Это будетъ служить въ то же время отвѣтомъ на главный вопросъ этой книги — вопросъ о смыслѣ человѣческой жизни. Вѣдь всяко міровоззрѣніе и есть въ конечномъ счетѣ только отвѣтъ на вопросъ о смыслѣ человѣческаго существованія.

V.

Прежде всего надо подчеркнуть вотъ что: мы оставляемъ въ сторонѣ вопросъ о гносеологическихъ основахъ имманентнаго субъективизма. Это совершенно особый вопросъ, требующій для своего разрешенія специальной работы. Здѣсь мы можемъ только отмѣтить, что въ основѣ имманентнаго субъективизма должна лежать теорія познанія *имманентной философіи*, какой является и трансцендентальный идеализмъ Канта, и эмпиріо-критицизмъ Авенаріуса, и въ узкомъ смыслѣ «имманентная школа» Шуппе, Шубертъ-Зольдерна и др. Въ другомъ мѣстѣ (см. «Ист. русск. общ. мысли», I, 19) намъ приходилось намѣтить вкратцѣ свои взгляды по этому вопросу; при случаѣ надѣемся развить ихъ подробнѣе; здѣсь же мы вынуждены пройти мимо этого очень интереснаго и очень сложнаго вопроса.

Но зато мы не можемъ не остановиться подробнѣе на другой философской проблемѣ, а именно на вопросѣ о цѣлесообразности. Ближайшая и тѣснѣйшая

связь этого вопроса съ вопросомъ о смыслѣ жизни ясна сама по себѣ; выше читатель встрѣчался на каждомъ шагу съ понятиями объективной и субъективной цѣлесообразности, цѣли въ настоящемъ и т. п. Необходимо поэтому поставить на твердую философскую почву эти основныя воззрѣніи имманентнаго субъективизма, необходимо обосновать нашъ взглядъ на субъективность цѣлесообразности. Сдѣлать это тѣмъ легче, что въ данномъ вопросѣ мы стоимъ въ общемъ на почвѣ кантовской «Критики способности сужденія».

Всякій причинно-обусловленный рядъ мы рассматриваемъ какъ рядъ телологически-обусловленный, если звеномъ этого ряда является человекъ, — сказали мы выше ([стр. 39](#)). Болѣе того, Кантъ неоспоримо доказалъ, что телологическое воззрѣніе неизбѣжно въ томъ случаѣ, когда звеномъ причиннаго ряда является вообще организмъ, жизнь въ природѣ. И тотъ же Кантъ былъ основателемъ *теоріи субъективизма естественной цѣлесообразности*; возставая противъ теорій Лейбница о предустановленной гармоніи и объективныхъ цѣляхъ природы, Кантъ показалъ, что объективная цѣлесообразность природы есть только необходимое представление нашего разсмотрѣнія и оцѣнки природы; но эта внутренняя цѣлесообразность не имѣеть ни малѣйшаго *реальнаго* значенія, т.-е., иначе говоря, она существуетъ только въ нашемъ представлѣніи, а не въ самомъ процессѣ природы. Телеологизмъ есть только наша точка зрењія на природу, а не принципъ творчества природы; согласно терминологии Канта, целесообразность есть не конститутивный, а регулятивный, эвристической принципъ, указывающей нашей мысли направленіе въ области явленій жизни въ природѣ. Такимъ образомъ «естественная целесообразность» и вообще понятіе цѣли имѣютъ исключительно субъективное значеніе, а какая бы то ни было познаваемость естественныхъ цѣлей (по нашей терминологии: «объективная целесообразность») есть совершеннѣйшая невозможность. Эти глубокія мысли Канта остались до сихъ поръ совершенно непоколебленными; на нихъ мы строимъ наше воззрѣніе имманентнаго субъективизма.

Но пойдемъ дальше. Въ области явленій жизни мы вынуждены рассматривать эти явленія, какъ вѣнчне и внутренне цѣлесообразныя. Внѣшняя целесообразность («подъ вѣнчнѣй целесообразностью я понимаю такую, когда одна вещь природы служить другой, какъ средство цели» — Кантъ, «Крит. способн. сужд.», § 82) есть просто-напросто некоторая «полезность», и не о ней идетъ рѣчь у Канта, а о внутренней целесообразности, приводящей въ конце концовъ къ мысли, что каждое явленіе есть цель, что «въ ряду соподчиненныхъ другъ другу членовъ на каждый изъ нихъ надо смотреть какъ на цель, средствомъ для которой была его ближайшая причина» (*ibid.*, § 63). Определить конечную цѣль міра можно было бы только при условіи познаваемости естественныхъ целей, только въ случае объективизма естественной целесообразности; иначе говоря — это совершенно невозможно. Но субъективно мы можемъ признать последней целью такое явленіе, которое можетъ считаться самоцелью; человѣкъ — самоцѣль, таковъ основной принципъ этическаго индивидуализма. Мы имеемъ достаточныя причины, говорить Кантъ, считать человека конечною целью, ибо только человекъ «можетъ составить себѣ понятіе о целяхъ и изъ агрегата вещей составить систему целей посредствомъ своего разума» (*ibid.*, § 82). «Человекъ — единственное существо на земле, имеющее разсудокъ, а значитъ и способность ставить субъективныя цели. Но хотя человекъ и «царь природы», хотя онъ и конечная цель природы (если смотреть на природу, какъ на систему целей), однако все это иметь только условное значеніе; это значитъ, именно, что человекъ сознаетъ свою самоцельность и независимо отъ природы определяетъ самъ свои цели, которыя могли бы его удовлетворить, определять и свою конечную субъективную (которую надо искать не въ природѣ) цель» (*ibid.*, § 83).

Мы не пойдемъ дальше за Кантомъ; достаточно всего сказанного выше, чтобы понять смыслъ субъективной целесообразности, о которой мы такъ часто говорили, а также, чтобы понять причины невозможности объективной целесообразности, о чёмъ у насъ тоже часто шла речь.

Объективная целесообразность есть, согласно выясненному выше, *contradictio in adjecto*, ибо целесообразность имѣть только субъективное значеніе. Ни къ какимъ объективнымъ цѣлямъ ни природа, ни человѣчество не идутъ и не могутъ идти, по крайней мѣрѣ такія цѣли лежать въ предѣловъ нашей познавательной способности. Допустимъ даже, что бесконечный причинный рядъ *sub specie* телеологии и имѣть какую-либо объективную конечную цѣль (какъ ни нелѣпо такое предположеніе), если встать на нумеральную, трансцендентную точку зрењія — подобную, напримѣръ, мистической теоріи прогресса; быть можетъ, эту цѣль быль бы въ состояніи познать какой-нибудь кантовскій всеобъемлющій «интуитивный разсудокъ» или пресловутый сверхъ-человѣческій геній Лапласа. Но въ томъ-то и дѣло, что мы категорически отказываемся стоять на подобной сверхъ-человѣческой точкѣ зрењія, какъ отказывался стоять на ней Герценъ, какъ отказывался Иванъ Карамазовъ.

Напомню, кстати, иронический разсказъ Ивана Карамазова про одного раскаявшегося грѣшника, который въ концѣ концовъ *пришелъ* къ этому трансцендентизму и въ переносномъ смыслѣ — духовно, и въ прямомъ — *per pedes apostolorum...* Дѣло въ томъ, что грѣшникъ сей не признавалъ будущей жизни, не признавалъ поэтому и объективной осмысленности своего существованія. Но вотъ онъ умеръ «и думалъ, что прямо во мракъ и смерть, ань передъ нимъ — будущая жизнь. Изумился и вознегодовалъ: «это, говорить, противорѣчить моимъ убѣжденіямъ». Вотъ его за это и присудили..., чтобы прошелъ во мракѣ квадрилліонъ километровъ, и когда кончитъ этотъ квадрилліонъ, то тогда ему отворять райскія двери и все простятъ»... Заупрямился-было сначала осужденный и упрямился цѣлую тысячу лѣтъ, но потомъ подчинился и пошелъ. Шелъ билліонъ лѣтъ и, наконецъ, дошелъ до райскихъ вратъ. «И только-что ему отворили и онъ вступилъ въ рай, то не пробывъ еще двухъ секундъ... воскликнулъ, что за эти двѣ секунды не только квадрилліонъ, но квадрилліонъ квадрилліоновъ пройти можно, да еще возвысивъ въ квадрилліонную степень»...

Это старая исторія — объяснять объективную безсмысленность человѣческой жизни различными доводами трансцендентного порядка. На трансцендентной почвѣ все понятно и раскаявшійся грѣшникъ сразу воскликнулъ «правъ Ты, Господи!» Но мы рѣшительно отказываемся становиться на эту почву, мы остаемся «нераскаянными грѣшниками» и вмѣстѣ съ Иваномъ Карамазовымъ заранѣе отказываемся воскликнуть «правъ Ты, Господи!», отказываемся становиться на сверхъ-человѣческую точку зрењія. Мы хотимъ оставаться и остаемся на человѣческой точкѣ зрењія, въ предѣлахъ нашей познавательной способности. А въ этихъ предѣлахъ понятіе объ объективной цѣлесообразности и объективной осмысленности — такая же точно сказка, какую мы только-что слышали отъ Ивана Карамазова.

Итакъ, объективная цѣлесообразность, объективная конечная цѣль — это сказка, которой обманываетъ себя человѣчество, это иллюзія, лежащая за пределами нашей, познавательной способности. Намъ доступна только субъективная цѣлесообразность, мы можемъ ставить и осуществлять только свои субъективныя цѣли. (Это ясно выразилъ еще Михайловскій въ своей системѣ «субъективнаго антропоцентризма», хотя и безъ философскаго обоснованія своихъ взглядовъ). Исходя изъ этого, мы можемъ говорить и о конечной цѣли, если разъ навсегда условимся видѣть въ ней исключительно субъективный идеалъ. Таковыемъ для насъ и является этическій индивидуализмъ, признающей человека самоцѣлью и требующій своего осуществленія въ жизни человѣка и жизни человѣчества.

Но здѣсь мы далеко расходимся съ кантіанствомъ, для котораго принципъ этическаго индивидуализма выражается въ формѣ категорического императива и имѣть объективное, этически-общеобязательное значеніе; отсюда неизбѣженъ выходъ къ имманентно-объективной телеологии. Для нась же этическій индивидуализмъ есть *не безусловная нравственная норма*, но лишь *несомнѣнныи психологический фактъ*, проявленіе непосредственного чувства. Отсюда ясно, что за своимъ воззрѣніемъ мы не признаемъ никакой объективной санкціи истины; но такой санкціи нѣтъ и у нашихъ противниковъ, какъ ни шумятъ они объ «общеобязательности» своего взгляда. Вотъ почему — читатель помнить — мы не опровергали этическихъ воззрѣній подпольного человѣка, а только противопоставили его подпольной психологіи свою «надпольную психологію». Сравнительная оцѣнка ихъ возможна только на исторической почвѣ, на которой мы можемъ построить генетическое оправданіе этическаго индивидуализма въ общественной средѣ.

Но если этическій индивидуализмъ не есть общебязательная нравственная норма, если таковой вообще не существуетъ — *а это значитъ, что не существуетъ и объективнаго смысла жизни* — то въ такомъ случаѣ «все дозволено», не такъ ли? — спрашиваютъ насъ господа объективисты. Въ такомъ случаѣ, иронически продолжаютъ они, будьте последовательны до конца, считайте позволительнымъ взорвать на воздухъ земной шаръ, или заразить все человѣчество чумой, или даже Ѳсть котлеты изъ человѣческаго мяса и «превратить воспитательные дома въ учрежденія для надлежащего откармливанія дѣтей на убой», какъ мило острить одинъ профессоръ-кантіанецъ (см. прим. на стр. 52). На все это мы уже дали свой отвѣтъ, говоря о подпольной философіи Л. Шестова: мы видѣли, что подпольная психологія неуязвима логически, что противъ какого-нибудь профессора Хребтова, заражающаго чумою человѣчество, можно выставить только *argumentum baculinum*; но этотъ аргументъ отнюдь не логической, а чисто практической... Теоретически же мы бессильны противъ подпольного человѣка, насколько и онъ бессиленъ противъ насъ. Щсть котлеты изъ человѣческаго мяса, заражать человѣчество чумой и т. п. намъ не позволяетъ вовсе не логической доводъ, не этическая норма, но исключительно *непосредственное чувство*. Опять-таки повторю: этическій индивидуализмъ зиждется на почвѣ психологіи, а не логики; въ немъ нѣтъ ничего общебязательнаго; онъ объединяетъ только тѣхъ людей, непосредственное чувство которыхъ обще въ признаніи человѣка самоцѣлью. Этическій индивидуализмъ становится общимъ субъективнымъ идеаломъ этихъ людей, ихъ общей субъективной цѣлью; но это вовсе не придаетъ ему никакой ни логической, ни этической общебязательности.

« — И вы можете принимать эти страшные результаты свирѣпѣйшей имманенціи и въ вашей душѣ ничего не возмущается?

— Могу, потому что выводы разума независимы отъ того, хочу я ихъ или нѣтъ»...

VI.

Каковы же эти «выводы разума», къ которымъ мы теперь пришли? Нашъ основной выводъ — доказательство немыслимости объективной цѣлесообразности; иначе говоря, мы обосновали часто повторявшееся нами выше утвержденіе объ отсутствіи объективнаго смысла въ человѣческой жизни. А отсюда, какъ производный выводъ, логически связанный съ первымъ — отрицаніе общебязательности этическихъ нормъ. Выводы эти, какъ видите, выражены въ отрицательной формѣ: мы *не* признаемъ объективной целесообразности, *не* признаемъ объективнаго смысла жизни, *не* признаемъ этической общебязательности; но отсюда съ очевидностью выясняются и наши положительные взгляды и воззрѣнія, къ которымъ мы теперь и обратимся.

Прежде всего мы признаемъ субъективную цѣлесообразность окружающаго, а потому и утверждаемъ, что, говоря словами Канта, «въ ряду соподчиненныхъ другъ другу членовъ на каждый изъ нихъ надо смотрѣть, какъ на цѣль», ибо объективной конечной цѣли нѣтъ и не можетъ быть. Субъективно такой конечной цѣлью, а значитъ и самоцѣлью, мы признаемъ человѣка — въ этомъ заключается принципъ этическаго индивидуализма. Но если человѣкъ есть самоцѣль, а не средство для достиженія какихъ бы то ни было объективныхъ цѣлей, то въ такомъ случаѣ цѣль эта реализуется въ каждомъ данномъ моментѣ и цѣлью жизни человѣка является жизнь человѣческая. Цѣль — въ настоящемъ: эта основная мысль Герцена находить полное философское обоснованіе на почвѣ субъективнагоteleologizma. «Каждое данное звено причинно-teleологического ряда, каждое я есть слѣдствіе и цѣль и въ то же время причина и средство; въ каждый данный моментъ я есть пунктъ пересѣченія этихъ четырехъ элементовъ. Мы ищемъ цѣли въ опредѣленномъ пунктѣ пути, а между тѣмъ не замѣчаемъ, что цѣлью является каждый данный моментъ, что цѣль не въ будущемъ, что цѣль въ настоящемъ» (см. выше, стр. 61).

Цѣль — въ настоящемъ. Выше намъ приходилось такъ подробно останавливаться на этомъ основномъ положеніи имманентнаго субъективизма, что теперь мы можемъ считать это положеніе достаточно яснымъ. Но все-таки необходимо еще и еще разъ отстранить тѣ недоразумѣнія, которыя обыкновенно накапливаются около имманентнаго субъективизма. Одно изъ главныхъ заключается въ наивномъ пониманіи «цѣли въ настоящемъ»: если цѣль — въ настоящемъ, то, выражаясь вульгарно, наплевать мнѣ на будущее; я живу и буду жить въ свое удовольствіе, буду ъсть, пить, веселиться, а до будущаго мнѣ дѣла нѣтъ — послѣ меня хоть трава не расти.

Не надо закрывать глаза на эту опасность для имманентнаго субъективизма выродиться въ самое поверхностное гедоническое міропониманіе. Мы знаемъ, какъ стада жвачныхъ двуногихъ извратили философію Нитцше; мы знаемъ, что и къ Л. Шестову примазываются теперь чехардисты мысли, у которыхъ семь пятницъ на недѣль и нѣть царя въ головѣ. Не будетъ ничего удивительного и въ томъ, если за имманентный субъективизмъ Герцена ухватятся различные представители жвачныхъ идеаловъ. Поэтому хотѣлось бы заблаговременно обнести ученіе имманентнаго субъективизма оградой, чтобы въ него не пробрались свиньи, говоря словами Нитцше.

Несомнѣнно, въ міровоззрѣніи имманентнаго субъективизма находятся гедонические и эвдемонические элементы; не мораль долга лежить въ основѣ нашей этики, а, такъ сказать, мораль чувства. Но тутъ же надо отмѣтить то обстоятельство, что, вопреки гедонизму и утилитаризму, мы не считаемъ цѣлью жизни ни удовольствіе, ни счастіе. Цѣль жизни и критерій субъективной осмысленности ея — *полнота бытія*, полнота жизни, жизнь всѣми фибрами души и тѣла, жизнь «во-всю». Критерій этотъ какъ-разъ противоположенъ гедонистическому идеалу «атараксії», т.-е. душевнаго и тѣлеснаго покоя, невозмутимости, отсутствія страданій: *тѣлоί είναι μήτε ἀλγειν κατά σώμα μήτε ταράττεσθαι κατά ψυχήν* (цѣль жизни заключается въ отсутствіи страданій тѣла и порывовъ души). Какъ-разъ наоборотъ: пусть страдаетъ тѣло, лишь бы вѣчно и вѣчно порывалась впередъ душа, лишь бы осуществлялась въ жизни человѣка та полнота бытія, которая составляеть субъективную цѣль его жизни, лишь бы человѣкъ страданіями тѣла и души сумѣль достичнуть широты, глубины и интенсивности своего существованія. И эта полнота бытія будетъ тогда лучшимъ оправданіемъ его жизни, будетъ тѣмъ субъективнымъ идеаломъ, который такъ ясно показанъ намъ въ дивныхъ стихахъ Баратынского:

..... ничто не оставлено имъ
Подъ солнцемъ живымъ безъ привѣта:
На все отзывался онъ сердцемъ своимъ,
Что просить у сердца отвѣта...

Все духъ въ немъ питало: труды мудрецовъ,
Искусствъ вдохновенныхъ созданья,
Преданья, завѣты минувшихъ вѣковъ,
Цвѣтушихъ временъ упованья...
Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,
Ручья разумѣль лепетанье,
И говорѣ древесныхъ листовъ понималъ,
И чувствовалъ травъ прозябанье;
Была ему звѣздная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна.
Извѣданъ, испытанъ имъ весь человѣкъ!
И ежели жизнью земною
Творецъ ограничилъ летучій нашъ вѣкъ
И нась за могильной доскою,
За міромъ явленій, не ждеть ничего —
Творца оправдаетъ могила его.

Воть величайшій субъективный идеалъ, стоящій передъ каждымъ человѣкомъ; его мы и выразили въ короткихъ словахъ: полнота бытія. Это безконечно далеко отъ всѣхъ утилитарныхъ и эвдемоническихъ построеній, и пусть лучше за эту ограду не пытаются перебираться тѣ, для которыхъ началомъ и концомъ всего являются жвачные идеалы.

Жизнь человеческая должна быть широка, глубока, интенсивна; и чѣмъ она шире, глубже, интенсивнѣе — тѣмъ она осмысленнѣе. Изъ всего предыдущаго ясно, что «смысль жизни» есть понятіе, способное быть выраженнымъ въ сравнительной степени: жизнь одного можетъ быть осмысленнѣе, чѣмъ жизнь другого, если въ переживанія первого вполнѣ входять основныя цѣнности человѣческаго существованія. Если слѣдовать за Виндельбандомъ (см. его «Прелюдіи»), то такихъ цѣнностей четыре: гедоническая, эстетическая, этическая и интеллектуальная. Согласимся, что правда-ощущеніе, правда-красота, правда-справедливость и правда-истина обнимаютъ всю человѣческую жизнь; въ такомъ случаѣ жизнь каждого изъ насъ будетъ тѣмъ осмысленнѣе, тѣмъ вполнѣ, чѣмъ въ большей суммѣ входять въ нашу жизнь элементы этихъ четырехъ цѣнностей. Недостижимый идеалъ абсолютной полноты бытія заключается въ полной суммѣ всѣхъ элементовъ всѣхъ этихъ цѣнностей; чѣмъ ближе подходимъ мы къ этому идеалу, тѣмъ субъективно-осмысленнѣе наша жизнь.

Таковъ смыслъ основного принципа имманентнаго субъективизма о цѣли въ настоящемъ. Намъ осталось сдѣлать еще послѣдній шагъ и дополнить всѣ полученные выше выводы элементомъ времени, т.-е. понятіемъ человѣческой дѣятельности. Этимъ мы окончательно оградимъ дорогое намъ возврѣніе отъ вторженія представителей жвачной философіи.

Цѣль — въ настоящемъ; изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что прошлое намъ не нужно, а будущее не существенно. Моя жизнь объединена единствомъ сознанія, мое я со-знаетъ себя въ прошломъ и предвидитъ свое будущее; каждый данный моментъ тутъ же дѣлается моимъ прошлымъ и тутъ же замѣняется будущимъ. Такимъ образомъ и съ прошлымъ и съ будущимъ мое настоящее связано самой тѣсной, самой неразрывной связью; я учусь у прошлаго и я творю свое будущее. Я являюсь въ то же время звеномъ безконечнаго причинного иteleологического ряда; я являюсь въ каждый моментъ точкой пересѣченія причины и слѣдствія, средства и цѣли. А потому, хочу я этого или не хочу, но я являюсь неизбѣжнымъ звеномъ «красной нити прогресса», я не могу оторвать себя ни отъ прошлаго, ни отъ будущаго человѣчества.

Жизнь человѣчества не приводить ни къ какой объективной цѣли; и несмотря на это, все же человѣческая исторія есть не процессъ, а прогрессъ. Ошибка герценовской философіи исторіи, исправленная позднѣе Лавровымъ и Михайловскимъ, именно и

состояла въ томъ, что Герценъ не считалъ исторический процессъ телеологическимъ, т.-е. не признавалъ его прогрессомъ, не оцѣнивалъ его съ точки зрѣнія своего субъективнаго идеала, а бралъ его только въ поперечномъ сѣченіи настоящей минуты *). Мы знаемъ теперь, что исторический процессъ неизбѣжно является телеологичнмъ, ибо иначе какъ *sub specie teleologiae* мы не можемъ, не умѣемъ рассматривать любой причинный рядъ, имѣющій звеньями проявленія жизни. Исторический процессъ есть безконечный телеологический рядъ; онъ является прогрессомъ, потому что мы оцѣниваемъ съ точки зрѣнія нашего субъективнаго идеала каждое звено этого ряда. «Прогрессъ есть постепенный (и безконечный) ростъ индивидуальности въ широту и глубину» — такими словами охарактеризовали мы въ другомъ мѣстѣ нашъ субъективный идеалъ, оцѣнивающій и процессъ жизни человѣка и процессъ жизни человѣчества **). Связь этого взгляда съ требованіемъ широты, глубины и интенсивности субъективно-осмысленной жизни слишкомъ очевидна, чтобы останавливаться на ней подробнѣе.

А на этой почвѣ выясняется и та *активность* философіи имманентнаго субъективизма, о которой намъ приходилось упоминать на предыдущихъ страницахъ. Въ числѣ указанныхъ выше основныхъ цѣнностей человѣческой жизни были упомянуты цѣнности этическія; это наши субъективные идеалы правды-справедливости, идеалы, проводимые всѣми нами въ жизнь. Идеалы эти не общеобязательны этически; но чѣмъ дальше, тѣмъ больше становятся они общеобязательными психологически. Психологія подпольного человѣка, мы знаемъ это, иная; и пусть онъ остается при ней. Но для насъ она непріемлема, потому что противъ нея возстаетъ наше непосредственное чувство соціальности.

Чувство социальности — психологический фактъ. Чувство это можетъ быть болѣе широкимъ или менѣе широкимъ, иногда можетъ ограничиваться сознаніемъ человѣка своей связи съ нѣкоторой общественной ячейкой (семьей, родомъ, группой, классомъ), иногда расширяется до предѣловъ чувства единства съ космосомъ; но и въ томъ и въ другомъ случаѣ оно остается психологическимъ фактомъ, высшей реальностью. Это чувство выводить меня изъ границъ моего обособленного я; это чувство ведеть меня къ обособленному *ты*; это чувство соединяетъ насъ въ общей борьбѣ за наши субъективные идеалы. Цѣль каждого изъ настѣ — въ настоящемъ, наша цѣль — полнота бытія; но именно во имя этой полноты бытія мы и будемъ бороться за будущее, за осуществленіе въ этомъ будущемъ нашихъ идеаловъ правды-справедливости. Однако это грядущее осуществленіе идеаловъ нисколько не осмысливаетъ объективно моей настоящей жизни, какъ это ошибочно предполагаетъ позитивная теорія прогресса; жизнь моя субъективно осмысливается только полнотой переживаній, въ томъ числѣ и переживаній процесса борьбы за осуществленіе моихъ идеаловъ правды-справедливости, во имя могучаго чувства социальности. Ибо борьба эта въ громадной степени увеличиваетъ полноту бытія, она безгранично расширяетъ кругозоръ моей жизни. Безъ этого чувства соціальности я неминуемо осужденъ на принятіе мучительной философіи подпольного человѣка, лишенного цѣлаго ряда драгоцѣнныхъ переживаній; съ этимъ чувствомъ моя жизнь становится богаче, полнѣе, шире, интенсивнѣе.

Еще разъ повторяю, однако: никакое грядущее блаженство будущихъ поколѣній не въ силахъ оправдать чью бы то ни было жизнь, придать ей объективный смыслъ и значеніе. Особенно настаиваю на этомъ потому, что здѣсь пунктъ расхожденія имманентнаго субъективизма и съ позитивной и съ мистической теоріей прогресса. Никакіе *Zukunftstaat'*ы, никакія райскія кущи не могутъ объективно осмыслить мое существованіе; оно имѣть только субъективный смыслъ, заключающійся въ полнотѣ моихъ переживаній. Иного смысла въ жизни человѣческой нѣть, не было и не будетъ.

*) См. «Ист. русск. общ. мысли», т. I, стр. 360-365 и т. II, стр. 129-131.

**) См. «Ист. русск. общ. мысли», т. II, стр. 198.

Конечно, это «свирѣпѣйша имманенція»... Кто не въ силахъ перенести ее, передъ тѣмъ разстилается широкая дорога въ область «кrotчайшей трансценденції» (выражаясь по аналогії), дорога кроткой и умиротворяющей вѣры во всеблагого Бога или во всеблаженное Человѣчество... Скатертью дорога!

VII.

Вотъ основныя положенія и основные выводы того міровоззрѣння, которое мы назвали имманентнымъ субъективизмомъ. Название это показываетъ, что, съ одной стороны, мы отказываемся искать смысла жизни въ области трансцендентнаго, отказываемся признавать нашу жизнь объективно-осмысленной, а съ другой стороны — что мы признаемъ за нашей жизнью субъективную осмысленность.

Но все это время мы молчаливо допускали — читатель, вѣроятно, это замѣтилъ — одну предпосылку, на которой теперь и должны остановиться; а именно, все время мы исходили изъ догматического принятия міра. Мы не доказывали, что міръ долженъ быть принятъ нами, потому что жизнь человѣческая субъективно осмыслена; какъ-разъ наоборотъ: мы сперва молчаливо приняли міръ, а потомъ убѣдились въ субъективной осмысленности жизни. Иными словами: если жизнь обладаетъ субъективной осмысленностью, то міръ можетъ быть принятъ нами; но отсюда еще далеко до утвержденія, что онъ долженъ быть принятъ нами. Доказать этого нельзя; здѣсь логика безсильна; здѣсь опять область психологіи, а не логики.

Если бы жизнь имѣла объективный смыслъ, то тогда и только тогда была бы возможность оправданія мірового зла. Это прекрасно понимаютъ всѣ сторонники мистической теоріи прогресса. Они разсуждаютъ такъ: для того, чтобы міровое зло могло быть оправдано, жизнь человѣка и человѣчества должна имѣть объективный смыслъ, выявляющійся въ области нумenalнаго; слѣдовательно, жизнь имѣеть объективный смыслъ... Почему «слѣдовательно»? Потому, что міровое зло должно быть оправдано — такова твердая вѣра послѣдователей мистической теоріи прогресса. Мы не обладаемъ этой вѣрой, а потому и выводы наши получаютъ совсѣмъ иное направленіе. Мы приходимъ къ мысли о субъективной осмысленности жизни, а отсюда и къ ясному сознанію, что міровое зло не можетъ быть оправдано.

Жизнь субъективно осмыслена; цѣль ея въ настоящемъ; цѣль эта и критерій субъективной осмысленности жизни заключается въ полнотѣ бытія. Все это прекрасно, но вотъ передъ нами трупикъ утонувшаго шестилѣтняго мальчика Василія, черненькаго и тихонькаго сына Василія Єивейскаго; вотъ другой мальчикъ, затравленный собаками звѣря-помѣщика; вотъ убитый камнемъ сынъ Человѣка, съ золотыми, какъ солнечные лучи, кудрями; вотъ передъ нами всѣ жертвы случайностей, суевѣрія, инквизиції, Филиппа II; вотъ, наконецъ, всѣ ужасы нашихъ дней, нисколько не уступающіе ни Филиппу II, ни инквизиціи... Чѣмъ все это можетъ быть оправдано? — Ничѣмъ. Надо имѣть мужество прямо взглянуть въ глаза правдѣ и твердо идти до конца по пути «свирѣпѣйшей имманенціи».

Нѣтъ въ мірѣ мысли, нѣтъ въ мірѣ силы, которая могла бы оправдать міровое зло; если бы даже такое оправданіе было возможно въ области трансцендентнаго, то я заранѣе отказываюсь отъ него и почтительнѣйше возвращаю Господу Богу билетъ на право входа въ міровую гармонію: такъ говорилъ Иванъ Карамазовъ. Вмѣстѣ съ нимъ мы разъ навсегда категорически отказываемся отъ трансцендентныхъ угашеній и остаемся въ области «свирѣпѣйшей имманенції». Зло имманентно человѣческой жизни, его нельзя оправдать, его можно только принять или не принять. А это какъ-разъ и есть область чувства, а не разсудка, психологіи, а не логики.

Міръ можно или принять — т.-е. жить, или не принять — т.-е. умереть. Логические доводы и въ томъ и въ другомъ случаѣ безсильны; здѣсь мы имѣемъ передъ собою

два различныхъ психологическихъ типа. Представителя одного изъ нихъ мы найдемъ у Достоевскаго; съ представителемъ другого изъ нихъ читатель знакомъ изъ настоящей книги.

Сначала о людяхъ, не принимающихъ міра. «...Я міра этого Божьяго не принимаю, и хоть и знаю, что онъ существуетъ, да не допускаю его вовсе, — говоритъ Иванъ Карамазовъ Алешѣ. — Я не Бога не принимаю, пойми ты это, я міра Имъ созданнаго, міра-то Божьяго не принимаю и не могу согласиться принять». — «Это бунтъ», отвѣчаетъ ему Алеша, на что Иванъ замѣчаетъ: «бунтъ? Я бы не хотѣлъ отъ тебя такого слова... Можно ли жить бунтомъ, а я хочу жить»... На этотъ разъ правъ, однако, не Иванъ, а сююкающій младенецъ Алеша: дѣйствительно, мысли и чувства Ивана — бунтъ противъ всего существующаго, непріятіе міра. Логическій исходъ такого бунта — самоистребленіе, и самъ Иванъ Карамазовъ это глубоко чувствуетъ и понимаетъ: бунтомъ жить нельзя, говорить онъ. Да, бунтомъ жить нельзя: не принимая міра, можно только умереть. Я знаю, продолжаетъ Иванъ, что простая и горькая земная правда заключается въ томъ, что страданіе есть, что виновныхъ нѣть, но жить по этой правдѣ я не могу согласиться: «что мнѣ въ томъ, что виновныхъ нѣть и что все прямо и просто одно изъ другого выходитъ и что я это знаю — мнѣ надо возмездіе, иначе вѣдь я истреблю себя. И возмездіе не въ безконечности гдѣ-нибудь и когда-нибудь, а здѣсь уже на землѣ»... Но возмездія нѣть, Иванъ это знаетъ, а значитъ ему остается только истребить себя, потому что бунтомъ жить нельзя.

Однако Иванъ не истребляетъ себя, не доходитъ до логического конца; вмѣсто него это совершаеть надъ собою болѣе послѣдовательный безымянныи NN, отъ имени котораго Достоевскій помѣстилъ письмо въ свое «Дневникъ писателя» (1876 г., № 10). Это письмо самоубійцы, объясняющаго, почему онъ истребляетъ себя. Почему же? Потому, что онъ не принимаетъ міра, подписываетъ ему смертный приговоръ, твердо доходитъ до логического конца. «Какое право имѣла эта природа производить меня на свѣтъ, вслѣдствіе какихъ-то тамъ своихъ вѣчныхъ законовъ? Я созданъ съ сознаніемъ и эту природу созналъ: какое право она имѣла производить меня, безъ моей воли на то, сознающаго? Сознающаго, стало быть, страдающаго; но я не хочу страдать — ибо для чего бы я согласился страдать?» — такъ начинаетъ онъ свое письмо. Во имя чего ему страдать? Во имя гармоніи цѣлаго? Но какое ему дѣло «останется ли это цѣлое съ гармоніей на свѣтѣ послѣ меня, или уничтожится сейчасъ же вмѣстѣ со мною»... Да къ тому же черезъ нѣсколько мгновеній вѣчности непремѣнно погибнетъ человѣчество, непремѣнно умретъ земля — во имя чего же страдать? «Въ этой мысли (о грядущей гибели міра) заключается какое-то глубочайшее неуваженіе къ человѣчеству, глубоко мнѣ оскорбительное и тѣмъ болѣе невыносимое, что тутъ нѣть никого виноватаго». Но наиболѣе «невыносимо возмутительной» является для него мысль о безмысленныхъ страданіяхъ безъ всякаго возмездія, о тысячелѣтнихъ, безмысленныхъ истязаніяхъ человѣка... Всего этого онъ не можетъ вынести, онъ не принимаетъ міра, онъ провозглашаетъ бунтъ, непріятіе міра, его уничтоженіе: «я присуждаю эту природу, которая такъ безцеремонно и нагло произвела меня на страданіе — вмѣстѣ со мною къ уничтоженію. А такъ какъ природу я истребить не могу, то истребляю себя одного»...

Непріятіе міра есть самоистребленіе. И противъ этого безсильны всѣ логические доводы. Существуютъ ли безмысленные, неоправданныя страданія? Да, существуютъ; мы видѣли, говоря о Л. Шестовѣ, что почти всегда осмысленная трагедія одного является элементомъ безмысленной драмы для другого. Трупикъ утонувшаго мальчика, растерзанный собаками ребенокъ, случайно убитый камнемъ человѣкъ — все это нелѣпья, безмысленные, неоправданныя страданія. «Страданіе есть, виновныхъ нѣть» — вотъ земная, человѣческая, тяжелая правда; кто не можетъ, подобно Ивану Карамазову, согласиться жить по этой правдѣ, кто, слѣдовательно, не принимаетъ

міра, тому остается только истребить себя, какъ это и сдѣлалъ безымянnyй самоубійца — а намъ остается только молча обнажить голову передъ этимъ фактъмъ и признать свое безсиліе переубѣдить такихъ людей логическими доводами.

Но не въ логическихъ доводахъ тутъ дѣло, а въ непосредственномъ чувствѣ, которое сильнѣе всѣхъ разсужденій и которое даже взбунтовавшихся заставляетъ фактически примириться съ міромъ. Отчего, дѣйствительно, такъ рѣдко истребляютъ себя люди на основаніи однихъ логическихъ доводовъ? Отчего не истребилъ себя Иванъ Карамазовъ, вполнѣ ясно понимая, что страданіе есть, а виновныхъ и возмездія нѣть? Отчего? Оттого, что непосредственное чувство оказалось сильнѣе его бунта, оттого, что онъ не принималъ міра умомъ, а не чувствомъ. И самъ онъ это сознавалъ. «...Не вѣруй я въ жизнь, — говорить онъ Алешѣ, — разувѣрься... въ порядкѣ вещей, убѣдись даже, что все, напротивъ, беспорядочный, проклятый и, можетъ быть, бѣсовскій хаосъ, порази меня хоть всѣ ужасы человѣческаго разочарованія, — а я все-таки захочу жить и ужъ какъ припадъ къ этому кубку, то не оторвусь отъ него, пока его весь не осилю! ...Центростремительной силы еще страшно много на нашей планетѣ, Алеша. Жить хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логикѣ. Пусть я не вѣрю въ порядокъ вещей, но дороги мнѣ клейкіе, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорогъ иной человѣкъ, котораго иной разъ, повѣришь ли, не знаешь за что и любишь, дорогъ иной подвигъ человѣческій... Клейкіе весенніе листочки, голубое небо люблю я, вотъ что! Тутъ не умъ, не логика, тутъ нутромъ, тутъ чревомъ любишь»... И младенецъ Алеша соглашается съ Иваномъ, что «всѣ должны прежде всего на свѣтѣ жизнь полюбить». — «Жизнь полюбить больше, чѣмъ смыслъ ея?» — спрашиваетъ Иванъ. — «Непремѣнно такъ, полюбить прежде логики, какъ ты говоришь, непремѣнно, чтобы прежде логики, и тогда только я и смыслъ пойму»...

Вотъ путь принятія міра, путь оправданія міра. Объективнаго смысла жизни нѣть, міровое зло не можетъ быть оправдано — и все-таки мы принимаемъ міръ силой непосредственного чувства; и опять-таки это непосредственное чувство — неопровержимый психологический фактъ. Конечно, онъ не общеобязателенъ: у кого центробѣжная сила пересиливаетъ центростремительную, тотъ оторвется отъ земли, отъ жизни, отъ міра, тотъ истребить себя; для того одна неоправданная слеза отравить всю жизнь всего міра. Но — центростремительной силы еще страшно много на нашей планетѣ; и эта центростремительная сила — жажда той самой полноты бытія, которая является критеріемъ субъективной осмысленности жизни. Страданія есть, виновныхъ нѣть — такъ всегда было, такъ всегда будетъ; и мы должны или умереть, или согласиться жить по этой тяжелой человѣческой правдѣ. И разъ мы живемъ, то уже этимъ однимъ мы принимаемъ міръ, принимаемъ неоправданное міровое зло.

Третьяго выхода нѣть. Есть, впрочемъ, одинъ самообманъ, еще одна попытка выхода: вспомните амор fati въ толкованіи Л. Шестова. Съ одной стороны онъ хочетъ не только принять міръ и міровое зло, но и любить ихъ, восхвалять и воспѣвать всѣ ужасы жизни, слагать гимны уродству, разрушению, безумію, хаосу, тьмѣ; а съ другой стороны онъ увѣряетъ, что такая любовь къ міровому ужасу — только маска, подъ которой живеть и готовить страшную месть старая вражда («Апоѳеозъ безпочвенности», стр. 158 и 72). Но и то и другое — въ своемъ мѣстѣ мы это отмѣтили — только фразы, только слова безъ содержанія; извѣстно вѣдь съ давнихъ поръ, что

.....wo Begriffe fehlen,
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein...

Какую «страшную месть» можемъ мы готовить міровому злу, неоправданнымъ страданіямъ, ужасамъ жизни, слѣпой природѣ? Это съ одной стороны; а съ другой — какъ можемъ мы благословить жизнь за разрушеніе, за безуміе, хотя бы, напримѣръ,

за трупикъ утонувшаго ребенка, за куски тѣла разорваннаго собаками мальчика? И то и другое одинаково невозможно, и то и другое свыше нашихъ силъ, и то и другое только бессильный самообманъ подпольного человѣка, который не можетъ примириться съ міромъ и въ то же время чувствуетъ, что жить бунтомъ нельзя. А между тѣмъ третьяго выхода нѣтъ и это сознаетъ самъ подпольный человѣкъ; но онъ не хочетъ твердо прйтти ни къ одному изъ первыхъ двухъ выводовъ. «Съ совершившимся фактомъ мириться нельзя, не мириться тоже нельзя, а середины нѣтъ», — говоритъ онъ намъ устами чеховскаго старого профессора, устами Л. Шестова («Начала и концы», стр. 14). Что же остается? Остается «колотиться, безъ конца колотиться головой о стѣну» (*ibid.*, стр. 67) — объ эту мертвую, молчащую, каменную необходимость, которую мы встрѣчали такъ часто у Л. Андреева. Подпольный человѣкъ хочетъ колотиться головой объ эту стѣну, мечтая видѣть въ этомъ своемъ проявленіи жгучаго отчаянія залогъ новаго, нечеловѣческаго творчества, творчества изъ ничего (*ibid.*). Но и это только слова, слова... И раньше или позже подпольный человѣкъ все же вынужденъ избрать одну изъ двухъ дорогъ, указанныхъ выше: либо перестать колотиться головой о стѣну — принять міръ; либо разбить себѣ объ эту стѣну голову, истребить себя, не принять міра. И мы видѣли, что подпольный человѣкъ въ концѣ концовъ не только перестаетъ колотиться головой о стѣну, но даже начинаетъ благословлять ее, слагать ей гимны, думая этимъ перехитрить міровую необходимость...

Мы принимаемъ «стѣну», мы принимаемъ жизнь, мы принимаемъ міръ. И принимаемъ мы эту «стѣну» не такъ, какъ тѣ «непосредственные люди», надъ которыми иронизировалъ Достоевскій (см. выше, [стр. 57](#)). Помните? «Передъ стѣною непосредственные люди искренно пассуютъ. Для нихъ стѣна не отводъ, не предлогъ воротиться съ дороги. Нѣтъ, они пассуютъ со всей искренностью. Стѣна имѣеть для нихъ что-то успокоительное, нравственно разрѣшающее и окончательное, пожалуй, даже что-то мистическое»... Конечно, «стѣна» эта не имѣеть для нась ничего мистическаго, ничего окончательнаго и нравственно разрѣшающаго, ничего успокоительнаго; но, дѣйствительно, мы «пассуемъ» передъ этой стѣной. Въ поискахъ дороги мы подошли къ этой «стѣнѣ», къ этой міровой необходимости и прочли на ней слова тяжелой, мучительной человѣческой правды: «страданія есть, виновныхъ нѣть; міровое зло безсмысленно»... Если эта правда для нась тяжелѣе жизни, то намъ остается разбить голову о стѣну; если же мы найдемъ въ себѣ силы вынести эту правду, остататься жить, принять міръ, то мы вынуждены молча признать эту стѣну, *какъ фактъ*. Мы не будемъ демонстративно колотиться, безъ конца колотиться головой о стѣну — это ни къ чему не приведетъ; но для нась эта стѣна и не отводъ, не предлогъ воротиться съ дороги. *Ибо другой дороги нѣть*: куда бы мы ни пошли — «и тамъ есть стѣна... вездѣ стѣна» (вы помните эти слова одного изъ героевъ *Θ. Сологуба?*). Да, вездѣ стѣна и нигдѣ нѣтъ прохода, нигдѣ нѣтъ воротъ съ надписью: «міровое зло осмыслено, человѣческія страданія оправданы»... Правда, можно попытаться перелетѣть черезъ эту стѣну на мыльномъ пузырѣ трансцендентныхъ утѣшеній; такой полетъ и совершаютъ всѣ сторонники мистической теоріи прогресса. Пусть себѣ летаютъ и утѣшаютъ себя мыслью, что имъ удастся перелетѣть черезъ стѣну, оправдать человѣческія страданія, осмыслить міровое зло... Мы разъ навсегда отказались отъ всякихъ трансцендентныхъ иллюзій и стоимъ на имманентной почвѣ, не пугаясь никакой «свирипѣйшей имманенціи».

И стоя на этой почвѣ, я долженъ сказать себѣ слѣдующее: зло имманентно человѣческой жизни и не можетъ быть осмыслено; всегда были и всегда будутъ безсмысленные, безвинные человѣческія страданія. Черезъ сотни, черезъ тысячи лѣтъ — всегда, всегда будутъ въ мірѣ безсмысленные случайности; трагедія и драма неуничтожимы въ человѣческой жизни. Мы будемъ бороться за лучшее будущее человѣчества, мы побѣдимъ раньше или позже все соціальное зло, мы уничтожимъ всѣ болѣзни, мы сдѣлаемъ всѣхъ людей долголѣтними и здоровыми, мы уничтожимъ все зависящее отъ

нась горе на землѣ: — да будетъ! Но и тогда не одинъ разъ будетъ безумно рыдать мать надъ трупомъ утонувшаго ребенка, и тогда не одинъ разъ случайно упавшій камень разобьетъ жизнь молодого и полнаго силь существа, и тогда не уничтожится безвинная человѣческая мука. Безвинныя страданія всегда будутъ, міровое зло никогда не будетъ оправдано. Эту правду тяжело сознать, тяжело сказать, но все же ей надо смотрѣть прямо въ глаза. Если правда эта для меня тяжелѣ жизни, то я не могу болыше жить, не могу принять міра; если же я принимаю міръ, то я долженъ принять и эту тяжелую человѣческую правду. Это тяжело, но это необходимо, если я хочу жить.

Остается послѣдній вопросъ: но имѣю ли я право жить, разъ рядомъ со мной остается въ мірѣ навѣки неоправданное страданіе? Да, я имѣю это право, потому что и самъ я являюсь носителемъ этого безвиннаго человѣческаго страданія; потому что и на мою голову падаютъ тяжелые удары случайности; потому что не изъ прекраснаго далека принимаю я неоправданное зло, услаждаясь своею «полнотой бытія»; потому что въ эту полноту бытія входятъ и тяжелыя переживанія безвинной человѣческой муки, своей и чужой... Своей или чужой, это все равно! — повторимъ мы еще разъ знакомыя уже намъ слова. И если послѣ этого я принимаю міръ, принимаю жизнь, то это значитъ, что я имѣю право ихъ принять; это значитъ, что хотя объективнаго оправданія міра нѣть, но существуетъ объективное оправданіе жизни. Въ чёмъ заключается это субъективное оправданіе — выяснить это должно было возврѣніе имманентнаго субъективизма.

VIII.

Мы пришли къ концу намѣченнаго пути. Это не значитъ, конечно, что мы считаемъ до конца рѣшенными поставленные нами вопросы: окончательное, общеобязательное рѣшеніе этихъ вопросовъ совершенно невозможно, не будетъ дано никогда и никѣмъ. Всегда будутъ люди вѣрующіе и невѣрующіе, романтики и реалисты, мистики и позитивисты; различіе въ психологическихъ типахъ дѣлаетъ разъ навсегда невозможнымъ общее рѣшеніе вопроса о смыслѣ жизни. Мы намѣтили только одно изъ возможныхъ рѣшеній этой проблемы, обязательное только для людей одинакового психологическаго типа — для тѣхъ людей, которые не желаютъ обольщать себя никакими трансцендентными утѣшениями, которые не вѣрятъ во всемирную гармонію, въ конечную цѣль историческаго и мірового процесса, которые вершиной міра признаютъ чувствующую и страдающую человѣческую личность. Для этихъ людей возврѣніе имманентнаго субъективизма являлось и является психологически необходимымъ, представляя собою въ то же время только одно изъ возможныхъ рѣшеній, ни для кого не общеобязательное логически или этически; то же самое относится и къ другимъ рѣшеніямъ поставленныхъ вопросовъ — къ позитивной или мистической теоріямъ прогресса.

Но мы не только не претендовали дать окончательное рѣшеніе поставленной проблемы, но даже не считаемъ выраженнымъ до конца и возврѣніе имманентнаго субъективизма. Читатель имѣеть передъ собой только вполнѣ опредѣленную точку зрѣнія, но вовсе не рѣшеніе безконечнаго ряда частныхъ вопросовъ. Къ развитію возврѣнія имманентнаго субъективизма по различнымъ частнымъ вопросамъ пишущій эти строки надѣется еще не разъ возвращаться при случаѣ; здѣсь же намѣчено только опредѣленное направление пути. Повторимъ еще разъ свое сравненіе: нѣть никакой твердыни имманентнаго субъективизма, въ которую бы мы вводили читателя, провозглашая — «вотъ истина!» Мы намѣчаемъ только направленіе пути, который мы всѣ должны прокладывать сквозь чащи и дебри; «мы всѣ» — т.-е. люди одного психологическаго типа. Развѣтвленія пути могутъ быть различны, но направленіе ихъ будетъ одно, и это единство направленія придаетъ цѣльность и опредѣленность всему міровоззрѣнію.

Итакъ, «аще что недописахъ, ли переписахъ» — не въ этомъ дѣло, а въ томъ, чтобы ясна была общая концепція, чтобы вполнѣ опредѣленно указывалось общее направлениe. Это, думается намъ, въ достаточной степени достигнуто всѣмъ изложеннымъ выше, для того чтобы мы могли считать рѣшенной поставленную проблему.

Въ заключеніе — нѣсколько словъ къ нашимъ возможнымъ противникамъ. Эти возможные противники — не сторонники мистической или позитивной теоріи прогресса, съ которыми мы расходимся не только въ возможности, но и въ дѣйствительности; нѣть я говорю теперь не о нихъ, а о тѣхъ, которые еще не пришли ни къ какой доктринѣ, которые еще ищутъ отвѣтовъ на кардинальные вопросы и которые хотятъ во что бы то ни стало найти на эти вопросы общеобязательный отвѣтъ, а значитъ, найти и объективный смыслъ жизни. Всѣмъ имъ мнѣ хотѣлось бы сказать слѣдующее:

Ваши поиски тщетны — поймите это разъ навсегда: вась обманываетъ миражъ, иллюзія. Вы умираете отъ жажды смысла жизни въ пустынѣ мірового бытія, и вашему напряженному взору представляются обманчивые миражи — оазисы въ пустынѣ, зеленѣющія деревья, озера и рѣки живой воды. Все это иллюзіи вѣры — и если вы повѣрите въ эти кажущія отраженія, то вѣчно будете стремиться утолить свою жажду въ недосягаемыхъ, ибо несуществующихъ, источникахъ. Поймите это разъ навсегда — и вы увидите, какъ иллюзіи и миражи разсъются и растаютъ подобно утреннимъ туманамъ.

Вы боитесь этого, боитесь, что безъ этихъ миражей вы останетесь въ палящей безводной пустынѣ, вамъ страшно стать лицомъ къ лицу съ дѣйствительностью, вы пугаетесь «свирипѣйшей имманенціи»... Если вы настолько слабы духомъ, что самообманъ вамъ дороже правды, то продолжайте уговаривать себя иллюзіями; если же вы хотите правды, а не душевнаго спокойствія, то прежде всего перестаньте пугаться «свирипѣйшей имманенціи», перестаньте искать источникъ воды за предѣлами человѣческаго горизонта. Оглянитесь — и вы увидите, что вы ловили собственную тѣнь; вы увидите, что тутъ же около вась бѣть ключъ живой воды, мимо котораго вы проходили съ пренебреженіемъ. Вы увидите тогда вокругъ себя не палящую безводную пустыню, а цвѣтущую, зеленѣющую, кипящую ключемъ жизнь; вы поймете тогда, что и сама эта пустыня мірового бытія — только миражъ, только иллюзія вашего раздраженнаго зрѣнія.

И тогда вась уже не испугаетъ «свирипѣйшая имманенція» того взгляда, который отрицаетъ объективную осмысленность жизни; вы не будете тогда вѣчно бѣжать за будущимъ, цѣпляясь за фалды Божества или Человѣчества. Не на будущее, а на настоящее вы тогда обратите свое вниманіе; вы поймете, что единственный смыслъ нашей жизни — въ полнотѣ ея переживаній, въ широтѣ, глубинѣ и интенсивности бытія. И понявъ это, вы откроете свою душу всему человѣческому. Вы будете жадно впивать въ себя красоту человѣческаго творчества и будете творить, если не поэмы, то самую жизнь, будете, по слову Эпикура, *ποιήματα ἐνεργειν, οὐκ αν ποιήσαι*, не писать поэмы, а переживать ихъ. Вы будете цѣнить завоеванія человѣческой мысли, безконечно углубляющія жизнь человѣчества и ведущія къ несомнѣнной победѣ человѣка надъ міромъ, надъ лишеніями, болѣзнями, надъ соціальнымъ зломъ; вы почувствуете себя тѣсно связанными своими непосредственными переживаніями со всѣми людьми и будете вмѣстѣ съ ними бороться за свои субъективные цѣли и идеалы, за воплощеніе въ мірѣ правды-справедливости, правды-истины, правды-красоты. И эта полнота бытія будетъ единственнымъ смысломъ вашей жизни, другого не ищите; чѣмъ полнѣе, ярче, шире будетъ ваша жизнь, тѣмъ она будетъ осмысленнѣе.

И тогда, умирая, вы не потребуете еще новыхъ заоблачныхъ переживаній для осмысливанія своей минувшей земной жизни: ваша земная жизнь должна была сама оправдать себя. «Мы страдали, мы хотѣли, мы любили. Мы совершили весь нашъ путь.

Не ждемъ ни радости, ни печали»... И если, умирая, мы услышимъ злорадный и насмѣшилівый шопотъ Старухъ, напоминающихъ намъ объ объективной безсмысленности всей нашей минувшей жизни, то каждый изъ насть скажеть себѣ: «моя жизнь имѣла ясный субъективный смыслъ. Я жилъ широкой, я жилъ полной жизнью. Я любилъ и ненавидѣлъ, я хотѣлъ, я страдалъ, я боролся, побѣждалъ и погибалъ; въ полнотѣ этихъ переживаній — весь смыслъ человѣческой жизни. Другого смысла мнѣ не надо, если бы даже онъ и былъ. И если жизнь моя дѣйствительно была широкой, яркой и полной, то пусть моя могила служить символомъ оправданія человѣческой жизни»...

Только жизнью можетъ быть оправдана смерть. Пусть жизнь каждого изъ насть будетъ такимъ оправданіемъ, пусть будетъ наша жизнь яркой, красочной, широкой — и тогда вопросъ о смыслѣ жизни будетъ рѣшенъ нами въ самой жизни, въ вѣчно-текучей дѣйствительности. Для этого надо каждую минуту, каждый мигъ отвѣтить на призывъ жизни, на тотъ ея призывъ, который еще Герценъ выразилъ словами: *vivere memento!*